

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

---

**ВОПРОСЫ  
ЯЗЫКОЗНАНИЯ**

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В ЯНВАРЕ 1952 ГОДА

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

*Издается под руководством  
Отделения историко-филологических наук РАН*

**6**

**НОЯБРЬ–ДЕКАБРЬ**

---

" НА У К А "

МОСКВА - 2004

## СОДЕРЖАНИЕ

Е.Л. Березович (Екатеринбург). К этнолингвистической интерпретации семантических полей .....	3
О.А. Радченко, Н.А. Закуткина (Москва). Дialeктная картина мира как идиоэтнический феномен .....	25
И.Ф. Рагозина (Дубна). О доказательстве-опровержении в русских и французских высказываниях (опыт контрастивного исследования) .....	49
Е.В. Урысон (Москва). Союзы <i>и</i> и <i>но</i> и фигура говорящего .....	64
Т.А. Михайлова (Москва). "Пиктские" этнонимы на карте Птолемея: эпидии .....	84
П.Н. Донец (Харьков). К вопросу об исследовательской единице межкультурной коммуникации .....	93

## КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

### Обзоры

М.В. Колтунова (Москва). Конвенции как прагматический фактор диалогического общения .....	100
---	-----

### Рецензии

Я.Г. Тестелец (Москва). <i>А.Е. Кибрик</i> . Константы и переменные языка .....	116
Е.В. Падучева (Москва). <i>С.Г. Татевосов</i> . Семантика составляющих именной группы: кванторные слова .....	121
П.М. Аркадьев, С.А. Бурлак (Москва). <i>А. Carstairs-McCarthy</i> . The origins of complex language. An inquiry into the evolutionary beginnings of sentences, syllables, and truth .....	127
П.В. Петрухин (Москва). <i>R. Benacchio</i> . I dialetti sloveni del Friuli tra periferia e contatto .....	134
Т.В. Михайлова (Москва). <i>E.Y. Chirkova</i> . In search of time in Peking Mandarin .....	138
А.К. Оглоблин (Санкт-Петербург). <i>Т.В. Дорофеева</i> . История письменного малайского языка (VII – начала XX вевов) .....	140
Д.О. Добровольский (Москва). <i>С.И. Лубенская</i> . Большой русско-английский фразеологический словарь .....	142

## НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки .....	149
Указатель статей, опубликованных в журнале "Вопросы языкознания" в 2004 г. ....	153

## РЕДКОЛЛЕГИЯ:

*Ю.Д. Апресян, И.М. Богуславский, А.В. Бондарко,*

*В.А. Виноградов* (зам. главного редактора), *Т.В. Гамкрелидзе, В.З. Демьянков, В.А. Дыбо, В.М. Живов, А.Ф. Журавлев, Е.А. Земская, Вяч.Вс. Иванов, Н.Н. Казанский, Ю.Н. Караулов, А.Е. Кибрик* (зам. главного редактора), *М.М. Маковский* (отв. секретарь), *А.М. Молдован, Т.М. Николаева* (главный редактор), *В.А. Плунгян, Е.В. Рахилина*

Зав. отделами: *М.М. Маковский, Г.В. Строчкова, М.М. Коробова*

Зав. редакцией *Н.В. Ганнус*

Адрес редакции: 119019, Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2,

Институт русского языка им. В.В. Виноградова

Редакция журнала "Вопросы языкознания"

Тел. 201-25-16

© 2004 г. Е. Л. БЕРЕЗОВИЧ

**К ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ  
СЕМАНТИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ\***

Задача реконструкции языковой картины мира в связи с культурной и этнической самобытностью ее носителей, являющаяся одной из базовых задач этнолингвистики (и лингвокультурологии)<sup>1</sup>, требует поиска таких источников этнокультурной информации, которые бы позволяли представить последнюю наиболее полно и системно. Логика этого поиска (как можно судить по отечественной лингвистике последних трех десятилетий) есть логика постепенного углубления, "интериоризации" анализа – не только в смысле совершенствования качества самих аналитических процедур, но и в смысле обнаружения более глубоких внутрисистемных индикаторов этнокультурного своеобразия.

Поначалу естественна была лингвокультурология (чаще называвшаяся лингвострановедением) "от *кваса и сарафана*" (*vs. колхоза и спутника*) – наиболее очевидных, любовых (вследствие своей безэквивалентности), но вместе с тем самых лингвистически пустых этнокультурных сигналов, означающих уникальные явления материальной культуры. Постепенно популярным стал более "рафинированный" пласт безэквивалентной лексики, связанной уже не с материальной культурой, но с уникальными явлениями духовной культуры или общественной жизни (ср. слова вроде *соборность* или *совок*). На смену им пришли "культурные слова": *дружба, милосердие, воля, душа* и т.п., не имеющие печати культурного своеобразия в своем "необходимом и достаточном" значении, но обнаруживающие специфическую конфигурацию коннотативного уровня семантики. Именно здесь стало возможным собственно лингвистическое приращение анализа, базирующегося на всестороннем изучении системных связей слова.

\* Поддержка данного проекта была осуществлена АНО ИНО-Центр в рамках программы "Межрегиональные исследования в общественных науках" совместно с Министерством образования Российской Федерации, Институтом перспективных российских исследований им. Кеннана (США) при участии Корпорации Карнеги в Нью-Йорке (США), Фондом Джона Д. и Кэтрин Т. МакАртуров (США). Точка зрения, отраженная в данной публикации, может не совпадать с точкой зрения вышеперечисленных благотворительных организаций.

Приношу искреннюю благодарность членам проблемной группы "Язык и мир" под руководством М.Э. Рут (филологический факультет Уральского госуниверситета), помогавшим вырабатывать и апробировать высказываемые здесь положения, а также С.М. Толстой за ценные замечания и рекомендации при подготовке статьи.

<sup>1</sup> В данном случае не имеет значения популярное в последние годы в отечественном языкознании разграничение этнолингвистики и лингвокультурологии по отношению к диахронии/синхронии (и "диалектности"/"литературности"). К примеру, в польской традиции, где этнолингвистические исследования ведутся активно и масштабно, такое разграничение не производится – и анализ языкового воплощения концептов современной культуры тоже считается задачей этнолингвистики (см. об этом в [Бартминский 2001]).

Изучение "культурных слов" далеко не исчерпало себя, оно нуждается в объективации данных путем расширения дискурсивного пространства, привлечения контрастивного аспекта исследования *etc.*, однако оно остается работой на уровне микросемантики – уровне отдельных слов и значений. Исследование микросемантики – пусть даже самое дотошное и филигранное – не спасает лингвокультурологические штудии от обвинений во вкусовщине и "диванности"<sup>2</sup>. Придание отдельному слову статуса "ключевого" для данной лингвокультуры нуждается в строгом обосновании, в рассмотрении его семантического своеобразия на фоне всего массива лексических единиц, выражающих сходные или противоположные смыслы. Очевидно, что отмеченная выше логика последовательного углубления сфер анализа требует выхода в макросемантику, оперирующую большими пространствами смыслов – семантическими полями<sup>3</sup>. Настоящая статья посвящена методике этнолингвистического исследования таких полей, в силу обзорного характера статьи словесный материал (преимущественно факты русской диалектной лексики) будет использован в ней фрагментарно, в виде отдельных иллюстраций.

При изучении отдельного слова этнолингвистический анализ, как уже говорилось, подразумевает выявление его коннотативного спектра. Совмещение в коннотации таких странно уживающихся свойств, как несущественность (более того – капризность и непредсказуемость) и устойчивость [Апресян 1995: 159, 172], объясняется чаще всего субъективным выбором носителя языка, ее порождающего. Разумеется, при этом не стоит забывать, что выбирает не только субъект, но и сама языковая система, которая во многих случаях властно вмешивается в процесс образования коннотаций. Так некоторые возможности ответа на законный и важный вопрос В.А. Плуногьяна и Е.В. Рахилиной о том, почему похожие языковые единицы разным образом ведут себя по отношению к коннотации [Плуногьян, Рахилина 1993: 126], таятся в самой иллюстрации к вопросу, приводимой авторами: в паре лексем *пол* и *потолок* первая кажется свободной от концептуальной нагрузки, тогда как со второй связан отчетливый концепт предела, исчерпанных возможностей" [Там же]. Но *пол* не может концептуализироваться так, как *потолок*, ибо этому мешают внутрисистемные свойства слова – включенность в ряд омонимов, отвергающая сочетаемость вроде *\*пол моих возможностей* (такое сочетание может быть понято скорее в "количественном или даже в гендерном" ключе, нежели в связи с семантикой, противоположной *потолку*)<sup>4</sup>.

Помня об отсистемных факторах такого рода, следует рассматривать коннотацию в первую очередь как семантическое следствие культурных предпочтений носителя языка, как проявление культурной идиоматичности – невыводимости особых эффектов семантики из сугубо отражательных, объективированных, логически выровненных смыслов (подробнее см. в [Березович 2003а: 19]). Такое понимание коннотации может быть распространено на большие, чем семантика одного слова, смысловые пространства, но при работе с ними необходимо понимать, что концептуальные смыслы в данном случае не сконцентрированы в одном языковом "носителе", но рассеяны

---

<sup>2</sup> Ср. противопоставление корпусной' и 'диванной лингвистики, введенное Ч. Филлмором и развиваемое П.Б. Паршиным: если "корпусный лингвист располагает множеством фактов и занят подсчетом эмпирических закономерностей, то диванный представляется «лежащим обхватив голову с закрытыми глазами и изредка подскакивающим с криком 'Какой потрясный факт!'"» [Паршин 1996: 35].

<sup>3</sup> Ср. положение Т.И. Вендиной о значимости обнаружения регулятивных принципов семантической организации всего лексикона языка, когда во внимание принимается не одно слово, а весь массив слов, в котором и проявляется языкотворческая позиция человека, его ориентация в мире существей" [Вендина 2002: 311].

<sup>4</sup> Однако сила 'концептуальной симметрии' столь велика, что искомая коннотация *пола* начинает проявляться в языке, ср. новейший рекламный слоган *Цены ниже пола*.

по всей семантической "территории", включены в саму логику ее организации, что требует особой техники реконструкции. Изучая проявления культурной идиоматичности в больших смысловых пространствах, следует осуществлять соотносительную оценку различных семантических феноменов – рассматривать, допустим, не столько саму семантическую структуру слова или особенности семантической деривации на его базе, сколько логику появления именно такой структуры реализации именно таких моделей деривации на фоне семантических "соседей" данного слова, не столько сам состав семантического поля сколько закономерности, определяющие маркировку одного элемента и лауну на месте другого при логической равноценности понятий и т.п. Один небольшой пример семантико-словообразовательная деривация на базе слов *лень* *лениться*, *лентяй* и т.п. может дать наименования предметов, которые языковое знание трактует как "способствующие лени": простореч *лентяйка* 'швабра', диал. *лентяйка* 'коса-стойка' [ЛК ТЭ], литер *ленивый* 'приготовленный более быстрым способом (о кушаньях *ленивые голубцы*, *ленивые вареники*, *ленивые щи* и т.п.)', ср также *Ленивка* – фабричное наименование пледа (одновременно служит покрывалом) и др. Мотивирующее значение предмет, способствующий лени логически казалось бы, может быть перевернуто и трансформировано в смысл "предмет, облегчающий труд" действительно, мытье пола с помощью швабры-лентяйки – а тем паче кошение косой-стойкой – отнюдь не предполагают лень. Однако слова *труд* и *работа* принципиально не способны на подобную логику семантической деривации, поскольку культурное сознание носителя языка (и далеко не только русского) настаивает на том что труд должен носить тяжелый, мучительный, физически изнуряющий характер (см [Толстая 1998, Еремина 2003: 25–27, 233] и др.), – иначе это лень.

Рассмотрим подробнее структуру того смыслового пространства, которое станет ареной для этнолингвистической интерпретации, – семантического поля. Представляется, что анализ семантических полей можно вести на трех уровнях – собственно семантическом, мотивационном и уровне культурной символики.

**Собственно семантический уровень** образуется исходя из значений слов, состав единиц, которые следует рассматривать при работе на этом уровне, определяется в конечном счете логическими отношениями между понятиями. **Мотивационный уровень** поля предполагает "группировку слов на основе общности их мотивационной модели (мотивационного признака)" [Толстая 2002. 116]. При такой группировке лексический материал может быть рассмотрен "ретроспективно" (с точки зрения моделей мотивации, которые легли в основу данных слов) и "перспективно" (исходя из способности слов данного поля становиться источником семантической или семантико-словообразовательной деривации). Объединение этих двух уровней в единую смысловую структуру даст возможность разносторонне проанализировать изучаемую группу слов – и в плане закономерностей организации поля, его внутренней структуры, и в плане мотивационных возможностей. Вообще, если говорить о логике смыслопорождения, эти два уровня дают не просто взаимосвязанную, но "генетически" единую информацию, поскольку закономерности комбинирования смыслов в значении лексемы (если рассматривать его комплексно – и концептуальное ядро значения, и коннотации) продолжают в процессах семантической деривации, приводящих эти смыслы в движение и способствующих их филиации. Иными словами, собственно семантический и мотивационный аспект изучения поля могут быть охарактеризованы в категориях статики и динамики.

Если рассматривать смысловое пространство, связанное с традиционной народной культурой, то оба указанных уровня в некоторых случаях продолжают третьим – **уровнем культурной символики**. Последний оказывается не рядоположенным им, но располагается как бы в культурной надстройке", ср размышления Н И и С М Толстых относительно того, что слова естественного языка могут приобрести

в языке культуры дополнительную, культурную семантику<sup>5</sup>, т.е. «особые символические значения», которые «надстраиваются» над всеми прочими уровнями значения» [Толстые 1995а: 291] и закономерно с ними связаны<sup>6</sup>. Таким образом, уровень культурной символики продолжает собственно семантический уровень, включая культурно обусловленные значения, развивающие денотативные или общеязыковые значения слов.

В то же время он продолжает и мотивационный уровень: при выходе за рамки языковой системы, в сфере текстов и в сфере ритуала, «прямым "продолжением" (или расширением) лингвистического понятия мотивации оказывается... понятие кода, широко используемое в этнолингвистических и антропологических исследованиях. Как и мотивация, код предполагает "вторичное" использование знаков, уже имеющих закрепленное за ними "первичное" значение, но при этом знаки могут иметь не только языковую природу (звуковую субстанцию), но и внеязыковую – это могут быть вещи, действия, природные объекты и другие реалии жизни или ментальные сущности» [Толстая 2002: 124]<sup>7</sup> Таким образом, мотивационный ряд в лексике, являющийся фактом языка может стать в то же время культурным кодом – и это произойдет в том случае, если его элементы приобретут символические значения в языке культуры.

Охарактеризовав в общем виде соотношение различных уровней семантического поля, опишем особенности этнолингвистического исследования применительно к каждому из них.

### Собственно семантический уровень

1. При работе на данном уровне этнолингвистический анализ предполагает характеристику **структурной дистрибуции семантического поля, его внутренней "топографии"**. При этом следует обратить внимание на следующие параметры.

**А. Логика выделения смысловых участков, секторов данного поля (сектора объединяют единицы, противопоставленные по какому-либо признаку ядерному элементу [см Гак 1993 22]), их место в структуре поля, объем и относительная заполненность.**

Закономерности членения поля на смысловые зоны отражают общую структуру представлений о соответствующем фрагменте действительности, о параметрах неко-

---

<sup>5</sup> Здесь мы имеем дело с особой трактовкой термина "культурная семантика", заставляющей думать о том, что современная лингвистическая традиция знает как минимум две "культурные семантики" Отличие "культурной семантики 1" от "культурной семантики 2" определяется различной трактовкой базового понятия "культуры" (точнее, актуализацией разных смыслов в представлении о культуре) Если понимать последнюю с "когнитивным акцентом" (грубо говоря, как комплекс окрашенных национальной спецификой представлений о мире), то "культурная семантика 1" должна трактоваться как система культурных коннотаций, т.е. семантических следствий, вытекающих из культурных предпочтений носителя языка Если же понимать культуру с "семиотическим акцентом" (как внеязыковую семиотическую систему, включающую в себя подсистемы в известной мере противопоставленные языку по своей символической природе и целевой направленности), то "культурная семантика 2" есть круг значений, который присущ культурным знакам в контексте традиционной обрядности, верований и фольклора Эти две семантики, разумеется, тесно взаимодействуют и переплетаются, однако разграничение их небесполезно.

<sup>6</sup> Например, «отгонная культурная семантика слова *веник* (или *метла*) строится на магическом и мифологическом осмыслении таких признаков обозначаемого словом бытового предмета, как "контакт с мусором, нечистотой", "выметание, устранение, очищение" и т.п., которые входят либо в ядерное, лексическое значение (дефиницию), либо в лексическую коннотацию, либо в экстралингвистическую зону коннотация» [Толстые 1995а: 291–292]

<sup>7</sup> К примеру, в рамках растительного кода свадебного обряда функционирует не только фитоним *калина* (*калина* 'название песни, исполнявшейся на свадьбе', *ломать калину* 'лишить девственности' etc.), но и соответствующий предмет (ветками и ягодами калины украшали каравай, наряд невесты и т.п.) [Толстая 2002 124–125].

торой мыслительной ситуации, стоящей за этим полем, о доминантных линиях, осуществляющих дискретизацию смыслового пространства. Говоря об относительной лексической заполненности секторов, мы получаем более конкретное представление о том, какие смыслы получают номинативное оформление, а какие остаются без такового, образуя лакуну. Кроме того, здесь же следует учитывать симметричность/асимметричность заполнения логически однотипных или "парных" секторов (допустим, отражающих представления об уме и глупости, скупости и щедрости, трудолюбии и праздности etc.). Такая характеристика, как объем, предполагает оценку количества единиц, представленных в каждой смысловой зоне семантического поля<sup>8</sup>.

Развернутая иллюстрация к этим (и последующим) рассуждениям будет приведена ниже, а сейчас ограничимся небольшим примером. Семантическое поле, представляющее черты характера человека по отношению к другим людям, по-разному структурировано в литературном языке и русских народных говорах (анализ проводился на материале лексики уральских говоров, представленной в [КЭИС], сопоставление с литературным языком осуществлялось по [РСС, ТСРЯ]). Если говорить о 'положительной' зоне такого поля, описывающей позитивно оцениваемые качества человека, проявляющиеся в межличностных отношениях, то в уральских говорах это смысловое пространство имеет ярко выраженную ядерную часть: центральное место здесь занимает лексика, дающая обобщенную характеристику способности человека "жить в людях" – соответствовать социально закрепленным нормам взаимоотношений, складывающимся как в процессе общей работы, так и в традиционном общезитии. Данный смысл выражается разнообразно и доминирует по количеству языковых реализаций (25% всей "межличностной" лексики уральских говоров с позитивной оценкой, которая зафиксирована в [КЭИС]): *людивый, людный, людской, народный мирской, общой, соседливый, спарчивый, товаристый, фамильный, сробливый, артельной* и т.п. – *Он людивый, а понятней-то – народный, общой, Я роблю с деушкой такой спарчивой, дружелюбна она, со всемя сойдется. Он парень мирской, всё как надо сделает как положено, могилу выкопат и денег не возьмёт* [КЭИС] (ср. также показательный контекст к слову *людской* 'такой, как все люди' – *Шофер не взял, проклятый. Вздыхнула руку – так не взял, а он порозний едет, хохочет. Ведь людской был бы, остоялся "Садись, старушонка"* [СРГК 3: 169]). К словам такого рода трудно подобрать литературные эквиваленты (словарные дефиниции здесь зачастую неточны и "скатываются" на более конкретные смыслы вроде 'дружелюбный, приветливый'). Самый близкий смысл в литературном языке имеет слово *человеческий* 'такой, какой должен быть у людей, какой подобает людям', однако оно не употребляется как 'онтологическая', постоянная качественная характеристика человека, обладающая статусом черты ха-

---

<sup>8</sup> Количественный параметр наиболее эффективен при работе с ономастической лексикой поскольку в ономастиконе каждой номинативной единице соответствует свой объект действительности, то номинация каждого из этих объектов предполагает отдельный акт познания а количество одинаковых наименований говорит о степени значимости соответствующего конкретного значения в рамках определенного смыслового поля. Для нарицательной лексики количественный фактор не является столь однозначным в ряде случаев идея 'целиком' укладывается в одно слово, а не распределяется между несколькими словами, – и это не должно рассматриваться как признак незначимости соответствующей семантики. Кроме того, количество реализаций определенного значения ощутимо зависит от наличия/отсутствия у него некоторого эмоционального фона – и, соответственно, от эмотивности 'обслуживающей' это значение лексики экспрессивная лексика всегда склонна к самозаражению, проявляющемуся в постоянном увеличении количества номинативных единиц на единицу смысла (ср. обвальное" количество языковых реализаций смысла 'глупый человек, дурак'). Но все-таки некоторая целесообразность в 'номинативной бухгалтерии' есть трудно отрицать значимость определенного круга значений, если номинатор вновь и вновь возвращается к их номинативной отработке, закрепляя во внутренней форме разные разные номинативные признаки, используя единицы разной частеречной принадлежности, привлекая как целнооформленные лексемы, так и идиоматику etc.

рактера, оно описывает преимущественно внешние обстоятельства жизни (*человеческие условия, человеческая обстановка*) и отдельные поведенческие проявления (*человеческие слова, человеческий поступок, вести себя по-человечески*, ср. *по-людски* в этом же смысле). "Онтологические" же характеристики, представленные в литературном языке, дают некоторое смещение акцентов: слова вроде *дружелюбный, открытый, коммуникабельный, общительный, отзывчивый, внимательный, человечный, заботливый, тактичный* и т.п. рисуют, во-первых, более конкретные личностные проявления, при этом каждое из этих слов занимает свою смысловую нишу (одни семантически ближе друг к другу, другие дальше). Во-вторых, литературные слова со сходной семантикой не имеют осязаемого смыслового подтекста негласной "общественной нормы", у них не столько социально опосредованное, сколько "частное" звучание (человек может быть *внимателен* и *отзывчив* по отношению к кому-то, но *мирским* или *соседливым* он должен быть "вообще"), что подчеркивается их близостью к чувствам, ср. *чувство такта; чувствовать чье-либо внимательное отношение* и т.п.<sup>9</sup> Таким образом, можно говорить о разной логике структуризации рассматриваемого смыслового пространства, являющейся следствием высокой степени "социализации" традиционного сознания.

**Б. "Этажность" значений слов в составе данного поля и особенности детализации, модификации смыслов.** Этот параметр хорошо изучен в семантике и предполагает характеристику глубины разработки, специфики внутреннего "рисунка", степени детализации того или иного смысла или группы смыслов (особенно наглядна такая детализация на иноязычном фоне), выводящую на особенности категоризации действительности (ср. хрестоматийную ситуацию с детализацией видов снега у эскимосов). К примеру, в диалекте понятие рассеянности, забывчивости может иметь показательную конкретизацию – 'такой, кто забывает запереть вовремя двери, ворота', ср.: *дыропашник* [ЛК ТЭ], *пустоворот* [КСГРС], *полодырай, полоротница* [ДСРГСУ: 435–436] (соответствующим образом оцениваются интеллектуальные способности таких людей, ср. *калитка отворёна* 'о придурковатом человеке' [КСГРС]). Распахнутая калитка является особо выделенным и значимым проявлением рассеянности, поскольку она может привести к таким серьезным последствиям, как потеря урожая, который будет вытопан зашедшей в огород или на поле скотиной.

Помимо собственно глубины, "этажности", значима внутренняя конфигурация значения – особенно дейктические "узоры" в его составе. В качестве примера приведем ряд диалектных слов, содержащих поведенческие и речевые характеристики, семантика которых содержит дейктический компонент 'как в городе', 'по-городскому', предполагающий ценностно окрашенное противопоставление города деревне (этот компонент не всегда отражен в словарных дефинициях, однако может "наводиться" прозрачной внутренней формой лексем). При этом у дейктических значений, как правило, имеются немаркированные корреляты ('девочка, капризная "по-городскому"' и "'просто" капризная девочка'): *москвичка* 'высокомерная девушка, ведущая себя подобно жительнице города' [ЛК ТЭ], *обнитереться* 'приобрести городские манеры, лоск; стать бесцеремонным, наглым' [СРНГ 22: 189], *горожаха* 'капризная, избалованная девочка' [КСГРС], *суцкой (чуцкой)*<sup>10</sup> 'интеллигентный' (*Был в-горади, приехал оттуда, суцкой стал*) [СРДГ 3: 150], *начеркачиться* 'усвоить говор и манеры горожан' [СРДГ 2: 176], *петроградка* 'модница, франтиха' [СРГК 4: 493], *нитерка* 'лентяйка' [КСГРС]; *выщёлкивать* 'говорить быстро, "по-городскому"' [КСГРС], *заитёкать* 'заговорить по-городскому (о произношении слова "что")' [СРГК 2: 242], *зачвакать* 'заговорить на литературном языке' [СРГК 2: 236], *по-городскому* 'так,

<sup>9</sup> Естественно, сказанное не означает, что средствами диалектной лексики не может выражаться эквивалентная литературной семантика отзывчивости, приветливости и т.п.

<sup>10</sup> Очевидно, здесь следует восстановить *чудской* (к *чудо*; в сознании носителей языка, возможно, к *чужой*).



как на языке горожан (более правильно, нормативно); на литературном языке' [ПОС 7: 128] и др.

При работе с этими параметрами, определяющими внутреннюю "топографию" поля, показательность и богатство результатов зависят от различных обстоятельств: например, от степени универсальности vs. культурной специфичности той ментальной сферы, которую охватывает лексика данного поля (к примеру, представления о свойствах человека по отношению к интеллекту в известной мере универсальны, в то время как характеристики по отношению к собственности отличаются более ощутимой культурной спецификой); от глубины того среза, на котором осуществляется анализ (рассмотрение самой общей структуры поля дает наименее богатые результаты, которые, несмотря на определенную значимость, нередко ожидаемы и логически вычислимы, – более интересны внутренние "силовые линии", определяющие дальнейшее членение секторов поля).

2. Для этнолингвистической интерпретации семантического поля большую роль играет характеристика данного поля по его взаимодействию со смежными полями (образующими, по выражению В.Г. Гака, "ближнее зарубежье" семантического поля [Гак 1993: 23]).

Семантическое поле не имеет, как известно, жестких границ и обменивается смысловой энергией со смежными, соседними полями, создавая плавную цепь взаимопереходов и перекрывающиеся друг друга ареалы. Нередко смыслы, логически принадлежащие различным соседним полям, могут быть объединены, комбинированы в рамках одного значения. В данном случае для этнолингвистического анализа интерес представляет как сам список "ближних соседей" данного поля, так и логика смысловых пересечений между ними.

К примеру, показательно взаимодействие полей 'трудолюбие' и 'скупость', в результате которого соответствующие смыслы могут быть совмещены в семантике отдельных лексем: *аред* 'злой, жадный до какого-либо дела человек' [СРНГ 1: 272], 'очень трудолюбивый, жадный на работу человек' (*Ой ты, аред! – скажем с похвалой или презрением. – Что тебе – больше всех надо?*) [СГРС 1: 21], 'жадный (до работы)' (*Этот аред, говорят, всё ему мало, работает, ночь его не загонит*) [СРГК 1: 21]; *омех* 'человек, чрезмерно много работающий ради накопительства, из жадности' (*Омех – все больше человеку надыйть захватывать, зависной человек*) [СРНГ 23: 202], *добыча* 'очень трудолюбивый, но жадный человек' [ЛК ТЭ] (ср. также внутреннюю форму слов *корней*, *корнека* 'скопидом, скряга' [СРНГ 14: 371] < *корпеть*) и др. Почему же не приветствуется такое, казалось бы, ценное человеческое качество, как "повышенное" трудолюбие? Очевидно, бытующее в традиционном сознании представление о скупости трудолюбивого человека является следствием коллективного характера труда, вырабатывающего общественно утвержденную норму труда. Превышение этой нормы очень заметно (положим, все ушли с покоса, а кто-то остался) и раздражает окружающих.

Еще пример: достаточно регулярно в семантике диалектного слова объединяются смыслы, принадлежащие полям 'интеллект' и 'трудолюбие': *гусар* 'смекалистый, работающий человек', *ловенький* 'умелый, ловкий; находчивый, догадливый', *вытньный* 'умный, деловой', *делец* 'деловой умный человек', *проворый* 'сообразительный, смекалистый, умелый, деловой' и т.п. [Леонтьева 2003: 32]. Стремление представить сообразительного человека одновременно умелым и деловым говорит о том, что народная культура не думает о "чистом" уме, а пытается найти ему практическое применение. Примерно в эту же сторону работает еще одно наблюдение Т.В. Леонтьевой над закономерностями комбинирования смыслов в поле 'интеллект': "специфичны для говоров толкования, которые содержат две или несколько рядоположенных характеристики (*глупый* и – *ленивый; неумелый; неразговорчивый; суетливый; медлительный; болтливый; неопрятный; несерьезный*), по которым можно условно составить пред-

ставление о причинно-следственных отношениях между членами ряда (*глупый*, потому что *упрямый*; *крикливый*, следовательно, *глупый*)" [Леонтьева 2002: 279].

Приведем более развернутую иллюстрацию, задействующую разные параметры этнолингвистического анализа собственно семантического уровня поля, упоминавшиеся выше.

В диалектной лексике весьма определенно и детально "прописано" лексико-семантическое поле 'характеристика человека по отношению к еде' (как и в случае с межличностными характеристиками человека, анализ проводился на материале [КЭИС], сравниваемом с данными [РСС; ТСРЯ]). В литературном языке это поле выражено гораздо слабее: ситуация приема пищи, "качества" аппетита и т.п. находят свое лексическое воплощение, а вот "пищевые" характеристики человека здесь раритетны. Диалект "онтологизирует" их, практически придавая свойствам такого рода статус черт характера, подвергает оценке и вводит в систему таких "характерных" параметров, которые связаны с межличностными отношениями. Аксиологизация отношения к еде не случайна: как известно, прием пищи в народной традиции является далеко не "физиологическим" актом, а жестко регламентирован социальными нормами и традиционными обычаями, нередко являясь составной частью семейных, календарных, хозяйственных и окказиональных обрядов [СД 2: 176–178]. В рамках этого поля представлены следующие сектора: 'характеристика человека по отношению к аппетиту (с хорошим – плохим аппетитом)' – 53% языковых фактов; 'индивидуальные пристрастия в пище' – 25% (в том числе 'пищевые пристрастия в связи с отношением к собственности' – 10%), 'разборчивость – неразборчивость в еде' – 16%; характеристика по времени принятия пищи – 6%. Если литературный язык, оценивая качества человека в связи с аппетитом, номинативно закрепляет только значение 'человек, который много ест, обжора', то в системе говоров (только уральских!), помимо 'обжоры', выделяются семемы 'человек с хорошим аппетитом', 'такой, которого трудно накормить досыта', 'такой, который быстро начинает вновь испытывать чувство голода', 'человек, который часто испытывает голод', 'женщина, которая плохо ест' [КЭИС]. Общей оценке подвергается не только "количественный", но и "качественный" аспект питания (разборчивость в еде), при этом значение 'привередливый, разборчивый в еде человек', реализуемое в говорах активно и разнообразно, отчасти накладывается на литер. *гурман* и *гастроном*, но если в изображении литературного языка соответствующее качество не подвергается отрицательной оценке и выдается за своеобразное и вполне простибельное хобби, то в диалекте привередливость в еде однозначно негативна (*Лебезинка по-нашому: я то не хошу, друго не хошу, ему это послашше, то конфетишки, то сварит послашше; Хто ты боле, как не притчевата, когда так ломася, не ешь, чё тебе дадут; А он, чипчунька, чё подашь на стол, всё разбирает* и т.п. [КЭИС]).

Особым "рисунком" характеризуется значение 'пищевые пристрастия в связи с отношением к собственности', не реализуемое средствами литературного языка, ср.: *травоеда* 'человек, который из скупости ест много овощей, не позволяя себе есть мясо' [ЛК ТЭ], *кишечник* 'жадный человек, скряга, кто ест кишки, хотя бы мог есть и говядину' [СРНГ 13: 249], *водолюб* 'человек, не употребляющий ни вина, ни чаю, ни кофе из скупости' [СРНГ 4: 347], *недосластка* 'скупая женщина' [СРНГ 21: 31], (ср. также *ботвинник* 'скряга' [СРНГ 3: 134], *мякинник* 'о скупце' [СРНГ 19: 78]) и т.п.<sup>11</sup> В этом значении, вводящем "пищевые" характеристики в сферу межличностных отношений, прослеживается своеобразная линия "народного контроля", присущая диалектным характеристикам человека: особенности потребления пищи или распоряжения собственностью

<sup>11</sup> Вместе с тем пищевые излишества и кутежи, разумеется, тоже не приветствуются, связываясь с мотовством или ленью (*сахар (медович)* 'о том, кто неразумно тратит, проматывает деньги, имущество: мот, расточитель' [СРНГ 36: 153]; *банкетать* 'праздно сидеть' [СРГК 1: 38], *пробанкетовать* 'провести время за пустыми разговорами' [КСГРС]).

не являются "личным делом" каждого, но подвергаются общественной проверке и оценке.

Специального комментария требуют также лексические и фразеологические единицы, реализующие идею несвоевременного принятия пищи, нарушения регламента питания (эта идея практически не подвергается номинативной разработке средствами литературного языка): *безвремяе* 'человек который ест не вовремя' [Воробьев 1999: 36], *безвытнный* 'не признающий очередности, сроков принятия пищи' [СГРС 1: 85], *бестередица*, *бесчередица* 'несоблюдение порядка принятия пищи (еда не со всеми, еда не в очередь из общей миски и т.п.)' [СГРС 1: 109–111], *кусовник* 'человек, который ест на ходу, когда попало, не соблюдая установившегося порядка' [СРНГ 16: 157], *выти не знает*<sup>12</sup> 'не соблюдать должных промежутков времени между приемами пищи', *не вытью есть* 'есть не вовремя' [СГРС 2: 268], *в вытях не мешайся* 'соблюдай время приема пищи' [АОС 8: 315] и т.п. Комментарии информантов демонстрируют однозначно негативное отношение к такому режиму питания: *Безвытнный не признаёт обед не обед, как здумает, так и ест* [СГРС 1: 85]; *Раньше, пока все за стол не сядут, не ели, а теперь одна бестередица: кто когда хочет, тот и ест, не ждут обеда* [СГРС 1: 109]; *Выть от выти вытерпеть не можот – кусок от роту не идёт!* [АОС 8: 315]; *Седет ись, дак он ес-ес, как бутто он толку не знат и выти некакой не знат, ес-ес и не наесса, вот не наед-от* [Воробьев 1999: 36–37] и др. Лучше всего негативные смыслы, связанные с неупорядоченностью процедур питания, обнаруживаются в самой логике семантической деривации на базе соответствующих слов: *безвытнный* 'не соблюдающий очереди в еде' → 'неряшливый, не умеющий поддерживать порядок' → 'такой, который пакостничает, приносит вред' [ЛК ТЭ]; *кусоломить* 'есть на ходу, не дожидаясь определенного времени' → 'хулиганить' [ЛК ТЭ]. Регламентация приема пищи не является "личным делом" человека; нарушение порядка в еде становится важным сигналом асоциального поведения (питающийся не вовремя ставит себя вне законов традиционного общежития – а затем закономерно обнаруживаются более опасные в социальном плане черты) и рассматривается как вызов, который человек бросает обществу. Кстати, есть смысл отметить еще следующее обстоятельство: если несоблюдение правильного режима питания влечет за собой проявление иных негативных свойств природы, то, наоборот, способность правильно питаться и хороший аппетит может дать разного рода позитивные с этической точки зрения смыслы: *вытнный* 'положительный, самостоятельный, требовательный' (*Яшка тоже, как вытнный, порядок ведёт*), 'умный, деловой, старательный, добропорядочный', 'дельный, работающий' [СРНГ 6: 40], *солощий* 'жадный до еды', 'жадный до работы' [НОС 10: 116], *едоха* 'человек с хорошим аппетитом', 'знаток, хорошо знающий какое-либо дело человек; мастер' [СРНГ 8: 323–324], *жорло* 'быстрый в работе человек' [СРНГ 9: 217] и др.

### Мотивационный уровень

Мотивационные отношения можно рассматривать в разных аспектах. Первый аспект – тематико-мотивационный, "ассортиментный", "кодовый", определяющий, **что с чем** сопоставляется или что чему соплагается, в каких областях действительности отыскиваются мотивационные источники или наследники данных смыслов. Как указывает С.М. Толстая, "каждое семантическое поле (лексико-семантическая группа) характеризуется двумя показателями: присущими ему и воплощенными в его лексике мотивационными моделями... и теми мотивационными моделями, в которых составляющие его слова участвуют в качестве мотивирующих по отношению к лексике других семантических полей (или, что то же самое, набором и типом других полей, в которые входят слова, мотивированные словами данного поля)" [Толстая 2002: 116].

<sup>12</sup> *Выть* 'прием пищи и время, когда он осуществляется', 'промежуток времени между приемами пищи', 'еда, пища: пропитание' и др. [СГРС 2: 268–269].

Второй аспект – "причинный", устанавливающий, **почему** произошло такое соотношение. Иначе говоря, в данном случае речь идет о собственно мотивации (мотивационной этиологии).

1. Рассматривая ассортимент. **кодовый диапазон мотивационных связей**, этнолингвистическому анализу следует подвергать следующие параметры.

**А. Логика формирования набора кодов** – полей, имеющих мотивационные связи с данным. Следует различать *внешнюю* логику, проливающую свет на причины обращения к данным кодам со стороны носителя языка, и *внутрисистемную* логику, предполагающую наличие межкодовых связей, корреляций.

Внешняя логика обнаруживает четкую связь с "вертикальным контекстом" номинативной деятельности: как правило, сферы отождествления так или иначе проецируются на образ жизни, занятия, бытовые и культурные пристрастия человека. Например, проведенное М.Э. Рут исследование севернорусской образной ономастики показало, что сферы образного отождествления выстраиваются в четкую иерархию концентрических кругов – "человек", "семья", "дом и двор", "деревня", "поле, луг", "непосредственное природное окружение (лес, река)", "внешний мир" (при этом наблюдается постепенное угасание активности образной номинации от внутренних кругов к внешней) [Рут 1992: 52]. Такая логика образного отождествления выводит на концептуальную модель "мир = дом" и свидетельствует о "земледельческом" типе образной номинации, который "характеризуется приоритетом конкретных образцов-моделей, связанных с предметами, орудиями и результатами, продуктами деятельности крестьянина-земледельца" [Там же: 128].

Внутрисистемная логика, позволяющая найти определенные закономерности в кодовом разнообразии, подразумевает соединение тематически различных мотивов в единую "картину" или "сценарий". К примеру, "донорами" для поля интеллектуальной неполноценности становится лексика и фразеология, реализующая мотивы отклонения от дороги либо неумения ее прокладывать и искать (простореч. *съехать*, диал. *на печке блудиться*, *заблуждённый*, *круженьй*, *беспутица*, *дурак непутный* и т.п.), отъезд из дома и странствования, блуждания в темноте (простореч. *тронуться*, жарг. *поплыть*, *поехать*, *домик поехал*, диал. *ходить в потёме*), отсутствия или повреждения жилища (диал. *Алеша*, *ищи квартиру*, жарг. *крыша надломилась*, *чердачное помещение сгорело*, диал. *калитка отворёна*), потери родственников – (простореч. *не все дома* (у кого); диал. *Ванька дома*, *Васьки нет*), особой близости к Богу (*раич*, *божий человек*, *аноха-праведник*) и др. [см. Леонтьева 2003: 241–256; Березович, Леонтьева 2004]. Эти тематически разные мотивы движимы единой логикой: отсутствие дома, полноценной семьи, "вечное странствование" воспринимаются оседлым народом как антинорма; эти же обстоятельства, с другой стороны, лишают человека места на земле, определяют его отрешенность от земного и обращенность к Богу.

**Б. Направление и закономерности межполевого взаимодействия.** В данном случае предполагается выделение полей-доноров и полей-реципиентов, обнаружение различий в мотивационной потенции и продуктивности различных полей<sup>13</sup>, выявление логики донорско-реципиентного распределения, а также логики межполевых переходов для сходных по базовой семантике полей, характеристика интерактивного потенциала той или иной семантической структуры.

Определение вектора межполевого взаимодействия позволяет понять направление освоения действительности, механизм постепенного расширения границ познания, когда старое знание способствует получению нового. Так, показательны выводы

<sup>13</sup> О необходимости выявления различной мотивационной потенции и продуктивности отдельных полей говорит С.М. Толстая, напоминая, к примеру, о том, что «к наиболее продуктивным в этом отношении "донорским" полям принадлежит... соматическая лексика, и это вполне согласуется с антропоцентризмом восприятия мира человеком» [Толстая 2002: 123].

Е.И. Якушкиной, продемонстрировавшей на материале сербохорватской диалектной лексики, что поле этической семантики в мотивационном отношении вторично, для него принципиальна функция реципиента, поскольку этическая лексика "представляет собой метафорическую или метонимическую проекцию значений, принадлежащих другим семантическим полям. Помимо большого числа индивидуальных семантических моделей формирование лексико-семантического поля этики в сербохорватских диалектах подчинено действию нескольких системных способов интерпретации сферы нравственности, важнейшими из которых являются пространственный, гастрономический и анатомический коды" [Якушкина 2003: 149].

Особо следует пояснить такой важный для концептуальной интерпретации фактор, как характеристика интерактивного потенциала семантических структур. Она включает как логику "дальних" межкодовых соотношений, так и описанную выше логику наложения смыслов "соседних" полей (объединения "ближнесоседских" сем в одном значении). Такое рассмотрение позволит охарактеризовать различные семантические поля и их сектора в свете их открытости/замкнутости по отношению к "соседям", их "партнерского потенциала", тяготения к "коллективистскому" или "сепаратному" поведению. В связи с этим можно говорить о существовании двух типов полевых структур. Первый тип – **экстравертированные** семантические структуры. Они максимально открыты для взаимодействия с другими оппозициями, обнаруживая многочисленные ситуации наложения и пересечения. Этот тип оппозиций образует ядерную зону в структуре концептуального поля. Второй тип – **интровертированные** семантические структуры. Они в значительной степени замкнуты на себе и более удалены от центра поля. Конечно, статус "экстраверта" или "интроверта" весьма относителен, об этом можно говорить лишь на уровне тенденции, поскольку партнерские отношения всегда двунаправленны – и если две семантические структуры обнаруживают какие-то ситуации одинакового или сходного языкового поведения, то каждая из них может быть охарактеризована как способная к интеракции (другое дело, что одна может ограничиться раритетными взаимодействиями, а другая – многочисленными).

Думается, что статус экстраверта/интроверта и связанное с ним место в ядре или периферии концептуального поля имеет существенную этнолингвистическую значимость. Так, в рамках макрополя 'пространство' в русском языке своим особым поведением выделяется поле 'дистанция' (характеризующее отношения удаленности – близости), которое вступает в партнерские отношения со многими другими пространственными параметрами.

Наименьшее семантическое расстояние отделяет дистанционный параметр "**далеко – близко**" от такого показателя, как "**охват пространства**". При этом идея удаленности нередко выбирает те же способы выражения, что и идея обширности пространства. Показателен в этом плане образ черта (или других представителей нечистой силы): у *жихоря* 'об очень отдаленном месте' [СРНГ 9: 198], *к семи лешиим* 'очень далеко' [ЛК ТЭ], простореч. *черт-те откуда*, литер. у *черта на куличках* // *черт бежал – ногу переломил* 'о чем-либо, занимающем большое пространство' [Прокошева 1972: 110], *чертовы бега* 'широкий простор', *чертовы версты* 'большое расстояние' [КСГРС] и т.п. Нередко в семантике "чертовых" идиом появляется также смежная по отношению к двум вышеназванным идея **неопределенного** (неизвестного) **направления**: у *лешего* 'неизвестно где' [АС 2: 108], *к лешему на вешалу* 'неизвестно куда' [СПГ 1: 478–479], *на левом плече леший унёс* 'о том, кто ушел неизвестно куда' [СРГК 3: 104]. Более того, данный смысловой субстрат может мотивировать идею **повсеместности**: у *лесного* 'всюду; в разных местах' [СПГ 1: 474].

Для маркировки описываемых идей (удаленности, неопределенного направления, охвата пространства) могут использоваться образы зрительной перцепции: *куда очи (глаза) глядят* 'далеко, куда-нибудь' [СРНГ 8: 253] // литер. *окоём* 'пространство, которое можно окинуть взглядом; горизонт', литер. *глаз достаёт (хватает), куда глаз не хватит, насколько хватает глаз*; кроме того, идея неопределенного направления "материализует" взаимодействие с идеей удаленности в других образах: *на девятом*

суку 'неизвестно где, где-то, далеко' [АОС 10: 402]; с *ветру* 'издалека, неизвестно откуда; неизвестный, пришлый (о человеке)' [Ивашко 1981: 77] и др.

Бином "далеко – близко" взаимодействует также с рядом оппозиций и неопозитивными показателями, обозначающими различные измерения и конфигурации "горизонтального" пространства. Среди них следует назвать, в частности, пару "спереди – сзади" (см. в [Березович 2000: 108]). Фиксируется взаимодействие и с такими параметрами конфигурации, как "широко – узко" (*ширина* 'удаленное место' [АОС 10: 254], *широко* 'далеко' [КЭИС], *узко* 'близко' [Глушченко 2001: 569]), "вокруг, около" (литер. *около, околес* 'близко, рядом' [СРНГ 23: 137]; *окольной полё* 'поле, расположенное вдали от дома' [Прокошева 1972: 78], *околица* 'пашня, отдаленная от села, деревни' [СРНГ 23: 139]), "угол" (*закутьё* 'отдаленное место, находящееся в стороне от чего-нибудь' [СРГК 2: 146], в *углу* 'далеко' [КЭИС], литер. *медвежий угол*, "ряд" (литер. *рядом*). Кроме того, наблюдается взаимодействие с показателями, маркирующими пространственные пределы, – "край" (*украина* 'дальние деревни' [КСГРС], *идти куды вкрай* 'уходить подальше' [КСГРС], *вскрай* 'близ, неподалеку, около' [СРНГ 5: 204], *окрай* 'возле, рядом' [СРГК 4: 188]), "сторона" (*усторонок, устороны* 'глушь, отдаленное поселение' [Грандилевский 1907: 289]), "черта" (*под три черты* 'очень далеко' [СРДГ 3: 192]), а также обозначающими *меры*, т.е. метрологические единицы – как номенклатурные, так и факты наивной метрологии (литер. *за версту, за две версты, два лая* 'очень близко' [КСГРС], литер. *один только шаг*).

Маркируя дистанционные отношения в рамках пространственной горизонтали, пара "далеко – близко" взаимодействует с оппозицией "высоко – низко", описывающей пространственную вертикаль. Ср., к примеру, просторечный фразеологизм *сто верст до небес и все лесом* 'о дальней и трудной дороге', задающий обратимость восприятия горизонтали и вертикали. Показательно также использование одних и тех же образов (и даже идентичных образных выражений) для обозначения как высоты, так и удаленности. ср.: *на девятом кирпиче* 'далеко', 'высоко' [АОС 10: 402]; *на птичий полёт* 'на большое расстояние, далеко' [ФСРГС: 144] // литер. с (*высоты*) *птичьего полета*.

Оппозиция "глубоко – мелко", которая может считаться частным проявлением "вертикальных" отношений, также обнаруживает переключки с "далеко – близко". К примеру, образы курицы и кошки используются в русской топонимии и диалектной лексике для маркировки близости объекта к дому; если *куриные* и *кошачьи* топонимы обозначают гидроекты, то последние, как правило, характеризуются и признаком мелкости [Березович 2000: 96–97]. Отдаленное расстояние – в отличие от близости – проецируется на глубину и может быть обозначено посредством образа черта, занимающегося метрологической деятельностью: *черт мерил да веревку вырвал, черт лаптем мерил* 'об отдаленном расстоянии' // *черт мерил да веревки не хватило* 'об очень глубоком месте' [КСГРС].

Если рассмотренные выше параметры можно считать собственно пространственными, "объективно пространственными" (хотя степень объективности здесь очень разная), то выделяются также такие параметры, которые являются сугубо прагматическими и "завязаны" на осваивающего пространство человека. Это, во-первых, показатели, относящиеся к сфере "социальное измерение пространства". Среди них следует назвать, например, пару "освоенность – неосвоенность", ср. многочисленные языковые факты вроде *медвежий угол, глухомань*, означающие плохо обжитое место, глушь, захолустье, в семантике которых идея удаленности сочетается с идеей неосвоенности. С предыдущей оказывается связанной такая фундаментальная оппозиция, как "свое – чужое". При этом, естественно, дальнейшее осмысляется как чужое: *чужбина* 'дальний лес, глухое место в лесу' [КСГРС], *где наши вороны не летают* 'далеко, в чужих краях' [СПГ 1: 119]; признак близости через смысл "наш, свой, родной" нередко выражается в топонимии [Березович 2000: 94–95]. Во-вторых, среди "пространственно-антропологических" параметров выделяется показатель "доступность – недоступность (труднодоступность)". Для языковой реализации идеи труднодоступности локуса используются образы медведя (*медвежья родина* 'труднопроходимый участок в ле-

су' [КСГРС]) и мужчины (ср. топонимические примеры в [Березович 2000: 95]). Наконец, следует упомянуть о таком показателе, как "духовное освоение пространства", предполагающем ценностную разметку последнего, выделение в нем таких зон, которые связаны с действиями нечистой или крестной силы. При этом идея "нечистого места" оказывается соотношенной с идеей удаленного места, ср. использование образов черта и лешего для маркировки обеих идей (примеры на связь образов этих персонажей с идеей удаленности приводились выше): *чертова даль* 'место, где водит или чудится что-либо', *лешева тропка* 'место, где водит или происходят сверхъестественные события' [КСГРС].

Таким образом, данная оппозиция впитывает в себя как топологию, трехмерность пространства (следует особо подчеркнуть, что описываемая пара "строит" не только пространственную горизонталь, но и вертикаль, а также взаимодействует с параметром формы объекта), так и качественные характеристики последнего. Такое поведение этой оппозиции определяет его статус экстраверта и, соответственно, центральное место, роль организующего начала в концептуальном поле 'пространство'. Если дистанционная семантика "стягивает на себя" многие связи в рамках концептуального поля, то вот семантика пространственной вертикали ("высоко – низко"), к примеру, является значительно более интровертированной по своей организации. Это объясняется, очевидно, преимущественно "плоскостным" характером русского восприятия пространства, а также высокой степенью дейктивности пары "далеко – близко", ее привязанностью к фигуре наблюдателя (пара "высоко – низко" обладает меньшей степенью дейктивности, поскольку возможности субъекта номинации изменять свое местоположение весьма небогаты), имеющего жестко закрепленную позицию, которая совпадает с домом, жилищем.

2. Что касается уровня мотивационной этиологии, то здесь в интерпретационных целях целесообразно оперировать понятием принципа номинации, понятием, которое обобщает типы признаков мотивации и одновременно сопрягает их с установками номинатора, поскольку позволяет оценить общее направление номинативной деятельности. Таким образом, в данном случае следует оценить набор и удельный вес принципов номинации. Эти принципы могут быть выделены на разных основаниях – по отражению в номинации компонентов номинативной ситуации (отобъектный, отсубъектный, отадресатный принцип [см. Рут 1992: 21–22]), по типу номинативно отработанных свойств объекта (качественный, релятивный, функциональный, ситуативный принципы [Гак 1977: 273; Березович 2000: 352–366]), по особенностям ввода в узус (естественная и искусственная номинация [Голомидова 1998]), по когнитивным установкам (здесь возможны разнообразные варианты – к примеру, "бытийный"/"мифологический" и др.). Проиллюстрируем кратко противопоставление "бытийного" ("эмпирического") и "мифологического" принципов номинации. Если сравнить номинативные портреты таких "гадов", как мышь и жаба, обнаруживаются показательные различия. Мышь в языке оказывается преимущественно "бытийной": лидирование "эмпирического" принципа номинации проявляется в задействовании таких мотивационных признаков, как "серый цвет" (литер. *мышастый*, *мышинный*), "маленький размер" (*мышь* 'о человеке небольшого роста' [СРНГ 19: 68]), "наличие длинного тонкого хвоста" (литер. *мышинный хвостик* 'об очень тонкой косичке, тонком пучке жидких волос'), "тихий тонкий писк" (*как мышь из-под копыта* (петь) 'о том, кто поет тихим, писклявым голосом' [ЯОС 5: 12]), "подвижность" (*мышка* 'еловая палка, которую пускают зимой по гладкому месту, потом ловят' [СРНГ 19: 70]), «прозорливость», "грызливость"» (*мышьядина* 'то, что повреждено мышами, крысами' [СРНГ 19: 69]), "плодовитость" (*как мышей развелось* 'о большом количестве, обилии чего-либо' [КСГРС]), "способность оставлять дорожки следов" (*Мышины тропки* 'Млечный путь' [Даль II: 367]) etc. "Мифологические" признаки в портрете мыши немногочисленны, например: "способность проникать внутрь человеческого организма, стимулируя болезни" (*мышками* называются разного рода желваки, опухоли и т.п. (как правило, у животных), которые, по народным поверьям, иницируются проникшей в организм мышью [см. СРНГ

19: 70–71]: разумеется, сюда подключаются и другие признаки – маленький размер и подвижность) и др. В то же время номинативный портрет жабы (лягушки) скорее мифологичен (хотя "эмпирические" мотивировки в нем тоже наличествуют), ср. признаки "способность залезать в тело (рот) человека", "способность инициировать дождь, грозу", "способность инициировать различные болезни – астму, катаракту, бородавки", "наличие антропоморфных черт – как у ведьмы (например, груди)" (подробнее об этом см. в [Березович 2003б]). Возможно, такие различия в соотношении принципов номинации объясняются свойствами объекта номинации: жаба в большей степени удалена от человека, обитает в дикой природе и обладает более необычными, уникальными свойствами – например, совмещением двух стихий обитания, "холоднокровностью".

### Уровень культурной символики

Если считать, что уровень культурной символики надстраивается над собственно семантическим и мотивационным уровнями поля, то встает вопрос о логике взаимоотношений этих "этажей" поля. Такие взаимоотношения можно рассматривать в статике и динамике.

1. **Статический аспект** предполагает сопоставление закономерностей языкового и культурного отбора смыслов в рамках единого смыслового пространства – иными словами, характеристику **дистрибуции в пределах поля собственно языковой и культурной семантики**. При этом, разумеется, важно выявить не только и не столько участки симметричного наложения, сколько лакуны и факты асимметрии, когда обнаруживается, что язык и культура обращают внимание на разные блоки смыслов внутри одной смысловой сферы.

В качестве примера лакуны можно привести следующий. Если проанализировать структуру пространственных оппозиций, важных для языка культуры, то можно отметить ситуацию, обратную той, которую мы наблюдали по отношению к естественному языку: одной из наиболее существенных и проработанных становится "вертикальная" оппозиция "верх – низ", а на месте "горизонтальной" пары "даль – близь", по сути, обнаруживается лакуна ("Славянские древности" сигнализируют о ней, не включая дистанционную пару в свой словарь). Очевидно, это объясняется тем, что "вертикальная" оппозиция таит в себе богатейший мифологический потенциал, поскольку пространственная вертикаль, соединяющая подземный мир с небесным, неоднородна и не может быть освоена человеком, "закрепленным" в ее средней точке (дополнительный импульс для мифологического осмысления – вертикальное положение человеческого тела в пространстве). В то же время горизонталь (не соотносимая, кстати, с пространственным положением тела) является более "бытовой", потенциально осваиваемой: "культурное звучание" горизонтали появляется постольку, поскольку пара "близь – даль" подменяется парой "свое – чужое".

Говоря об асимметрии отношений между культурными и языковыми смыслами, рассмотрим семантическое поле 'хождение в гости', обнаруживающее целый ряд значений, которые имеют культурную проекцию (более того, некоторые единицы этого поля попросту являются культурными словами). Язык и культурная символика идут рука об руку, закрепляя такие широко известные смысловые доминанты гостевания, как угощение (ср. *угощение* ← *гость*), обмен дарами (*гостинец* ← *гость*), регламентированность и очередность ролей гостя и хозяина (*перегащивание*, *перегощенье*, *перегостки* 'посещение гостями друг друга' [СРНГ 26: 65, 72], *перегулка* 'поочередное хождение родственников в праздник друг к другу, сопровождаемое угощением' [СРНГ 26: 75], *загоститься* 'побыивать у кого-либо в гостях, быть обязанным пригласить к себе' [СРНГ 10: 25], *отгащивать* 'гостить у того, кого пригласили до этого к себе в гости' [СРНГ 24: 151]), временной и локативный сценарий гощения (*гостиный* 'такой, в который принимают гостей или ходят в гости (о времени)' [СРНГ 7: 94], *гощёное место* 'место, куда усаживают гостей' – но *негощёное (свойское) место* 'место (на печи),



где не принято сидеть гостям' [ЛК ТЭ], ср. *Кто сидел на печи, тот уже не гость, а свой* [Даль IV: 153]<sup>14</sup>) и т.п. В то же время целый ряд смыслов, связанных с гостеванием, посещением кого-либо (ср. литер. *гость* 'тот, кто навещает, посещает кого-либо'), оказывается невосребованным языком культуры. Как известно, народная традиция четко различает собственно гостей, пришедших в дом по приглашению, и незваных посетителей (см. об этом [СД 1: 531]), ср.: *Званный – гость, а незванный – пес (и черт его нес)* [Даль I: 671], *Не зван гость, не пасена и честь; На незваного гостя не припасена и ложка* [Даль II: 519] etc.; номинативное противопоставление тех и других отражено в лексемах типа *званка*, *званье* 'званные гости' [ЭИС 4: 10] – но *навёртыши* 'случайный гость' [ЭИС 4: 10], *сычи* 'незванные гости на свадьбе' [КСГРС], *налетала*, *налетуша* 'незванный гость' [Даль II: 433] и др. Л.Г. Невская справедливо указывает, что «забвение сакрального смысла "гостя" или сознательный переход на профанический уровень возвращает к негативному смыслу 'чужой, чуждый, враг': *незванный гость хуже татарина*, болг. *без время гость отъ Турчинъ полошь...* и под.» [Невская 1997: 448]. Таким образом, представление о двух категориях гостей отражается в членении соответствующего семантического поля, при этом смысловой комплекс 'званный гость' имеет поддержку на уровне культурной символики, а смысловой комплекс 'незванный гость', описывающий "профанное", неритуальное гощение, оказывается лишенным этой поддержки.

Неритуальное гощение может реализовываться по-разному, но, пожалуй, самая распространенная ситуация такого рода в русской крестьянской культуре – посещение "запросто" дома соседа. В ряде районов Вологодской области представление о таком посещении формирует четко оформленный языковой смысл, который находит воплощение в лексике и идиоматике, включающей слово *другозьба*. Первоначальное значение этого слова, в основе которого сочетание *другая изба*, – 'чужая, не своя изба в этой или соседней деревне; дом соседей или знакомых', ср. *другоизба* 'изба соседа' [СРНГ 8: 210; СВГ 2: 60], *другоизба* 'каждая из двух частей деревенского дома, состоящего из зимней и летней избы, по отношению к другой части' [СВГ 2: 60], *другоизбе-нец* 'живущий в другой избе', *другоизбный* 'соседний (о доме)' [СРГК 2: 5–6]<sup>15</sup>. Это слово оказывается втянутым в устойчивый сценарий "неритуальных посещений": сосед идет к соседу просто "посидеть", узнать новости, обратиться с какой-то просьбой и т.п. При этом *другоизба* трансформируется, как правило, в *другозьбу* (явно под влиянием народно-этимологического "подверстывания" к ряду дериватов *гостить* вроде *перегозьба* 'посещение гостями друг друга' [КСГРС]) и дает разнообразную деривацию и идиоматику: *по друго(й)избам* (обычно с оттенком неодобрительности) 'по гостям' (*Ну, эта пока с роботы идёт, полконца обойдёт всё по другозьбам. Ей и на корову наплевать – пусть стоит до вечера; Смотри работай, а не ходи по другозьбам; Тебе бы по другоизбам толькё ходить, а дома ничего не надо*) [СВГ 2: 60]; *идти (пойти, сходить, уйти, ходить* и др.) *в другозьбу (по другозьбам)* 'идти в гости без определенной цели, "посидеть", "просто так"' (*В другозьбу пошла, пружи пошла, не в гости, а в другозьбу; Лентяки-те по другозьбам ходят*) [КСГРС]; *другозьба, друговизник* (неодобр.) 'любитель посещать чужие дома, проводить время вне собственного дома' (*Другозьба – человек от безделья ходит из дома в дом; Парень у меня – друговизник настоящей: проснёчля, поест, шапку в охапку и до вечеру дома не появляе-чля*) [СВГ 2: 59–60], *другозьба, другозьбница* (неодобр.) 'любительница посещать дома соседей без определенной цели' (*Эта Азнийка другозьба такая, всё ходит, ходит,*

<sup>14</sup> В данном случае гость противопоставляется домочадцам, которые сидят на печи. ср.: *Это запечный (домашний, свой) гость* [Даль I: 614] при *Сын да дочь домашние гости, свои* [Даль I: 466].

<sup>15</sup> Для подтверждения устойчивости модели см. также *друго-деревенцы* 'жители другой (соседней) деревни' [СРНГ 8: 210].

нюхает, у кого что) [КСГРС], *другозъбъ* 'пребывание в гостях' (*Совсем от дома отбилась, только о другозъбе и думает*) [СВГ 2: 60] и др.

Несмотря на то, что иногда просматривается синонимичность "другощениа" и "гощениа"<sup>16</sup>, она скорее наводится сугубо языковыми факторами (уже упоминавшимся народно-этимологическими сближениями), – и "другощениа" весьма принципиально отличается от "настоящего" приема гостей. Во время работы в условиях диалектологических экспедиций нам не раз случалось вести наблюдения над поведением хозяев и людей, пришедших в *другозъбу*: такие наблюдения показывают, что по ряду позиций "другощениа" подчеркнуто неритуально. Если собиратель оказывается для хозяина гостем издалека, если его по правилам гостеприимства угощают, на него "тратят время" и т.п., то вот зашедшая во время чаепития хозяина и дальнего гостя соседка может не удостоиться никакого специального внимания. Ей зачастую не предлагается прийти к столу, не наливается чай (ср., кстати: *А мы в другозъбы всё с сахаром ходим. Там засидимся, то и цяём напойт* [СВГ 2: 60]: появление в "настоящих гостях" со своим сахаром могло бы нанести обиду хозяевам), с ней могут не вступать в беседу и т.п. Такое поведение хозяев вызывало у "законных гостей" недоумение, но соседка, кажется, ничуть не обижалась: время от времени она вставляла в нашу беседу не связанные с ее темой вопросы (*уехал ли Колька? почём брала сахар? откуда у Клавки синяк – не избил ли мужик?* и т.п.) – и, вне зависимости от того, получала ли нужную информацию, через какое-то время удалялась.

Приведенный выше материал обнаруживает негативные стороны "другощениа": просиживание по чужим домам может осознаваться как неоправданная трата времени, склонность к праздношатанию, безделью и любовь к сплетням. Пунктиром прочерченные в лексическом комплексе, связанном с *другозъбой*, эти смыслы становятся более явными в фактах семантической деривации на базе других слов, означающих неритуальное посещение чужих домов.

Весьма выразителен лексический комплекс на базе слова *двор*, внутренняя форма которых рисует перемещение из двора в двор ("между дворами", "по дворам", "за двором", "семь дворов"). Лексемы с такой внутренней формой могут сочетать семантику посещения соседей и лентяйничанья, праздношатания: *задворничать* 'жить не дома, быть постоянно у кого-либо в гостях' [СРНГ 10: 46], *междворник* 'лентяй, любящий шататься по чужим дворам', *междвор*, *междвор*, *междворец* 'бездельник, который ходит от нечего делать по чужим дворам', *междворничать* 'бездельничать, ходить по чужим домам; часто ходить в гости', *междворница* 'женщина, которая не сидит дома, а ходит по соседям; шатунья' [СРНГ 18: 79, 81–82, 90], *подворашник* 'мужчина, который любит без дела ходить по чужим дворам' [СОГ 10: 37], *подворня* 'непоседливая женщина, которая любит ходить по гостям', *подворяга* 'женщина или мужчина, любящие бродить по чужим дворам' [СРНГ 27: 366, 369], *семидворить* 'бездельничать, ходить целыми днями без толку из дома в дом' [ЯОС 9: 25] и т.п. Дальнейшая филиация значений дает более широкую палитру этически негативных смыслов: *дворы* 'сплетни, пересуды' [СРГК 1: 432], *междворка* 'сплетница', *междворить* 'сплетничать' [СРНГ 18: 81–82], *семидворить* 'бегать по деревне, собирая сплетни' [ЯОС 9: 25], *междворница* 'потаскушка' [СРНГ 18: 81]<sup>17</sup>. Кстати, показательно, что этот смысловой

<sup>16</sup> Ср.: в *другозъбу* 'в гости' (*Не всё вам к нам, надо и нам к вам в другозъбу прийти. Пусть-ко нас теперь угоишают*) [СВГ 2: 60].

<sup>17</sup> Отметим, кстати, что, помимо этической сферы, вот такое незакрепленное положение по отношению к двору, избе или отсутствие двора может давать негативную оценку социального статуса человека – семантику отсутствия семьи и нищеты: *бездворовник*, *междвор*, *междворник*, *подворник* 'бобыль' [СРНГ 2: 186; 18: 81, 82; 27: 366], *бездворница*, *междворка* 'бобылка' [СРНГ 2: 186; 18: 82], *по дворам ходить* 'собирать милостыню' [АОС 10: 333; Прокошева 1972: 107], *водиться по избам* 'побираясь, нищенствуя, поочередно питаться в разных домах в деревне' [СРНГ 4: 338] и т.п.

комплекс связывается не с "междомьем", а с "междворьем": если дом является относительно замкнутой, личностно-семейной сферой, то двор – область, открытая вовне, выводящая мир семьи в "большой мир" (через мир "соседей", ср. *ободворок* 'сосед' [СРНГ 22: 155], *судворни* 'соседи, шабры, по смежным дворам, по задворкам' [Даль IV: 355]), и этот статус задается самим расположением двора в пространстве. И еще один важный момент: именно двор является индикатором хозяйственной состоятельности человека<sup>18</sup>, а хозяйственная состоятельность для традиционной народной культуры в значительной степени служит фундаментом морали: отсюда столь негативное осмысление отсутствия двора или "неприкрепленного" к нему положения человека.

Аналогичная "дворовой" лексике логика смыслопорождения присуща дериватам корня *чуж-*: *очужаться* 'часто и без цели посещать соседей' → 'проводить время, занимаясь чем-то безрезультатным', *чужаться* 'сплетничать' [КСГРС]; выразительна здесь семантика корня, категорично указывающая на "чуждость", "инаковость" поведения слоняющегося по чужим дворам человека<sup>19</sup>.

Итак, в семантическом поле "гощения" намечен определенный водораздел между смыслами, связанными с ритуальным и неритуальным гощением. Первые имеют не только языковую, но и культурную маркировку и, соответственно, такую внутреннюю организацию, которая подчинена культурному сценарию – в данном случае ритуалу приема гостей: здесь просматриваются важные для любого ритуала смысловые стержни – пространственно-временная закреплённость ("гостевое место" и "гостевое время"), наличие определенной акциональной программы (сюда входит, в первую очередь, угощение) и предметной символики (гостинцы). Что касается неритуального гощения, то оно определяется смысловыми доминантами иного рода, оказываясь вписанным не в сферу этикета, а скорее в сферу этики<sup>20</sup>. Здесь нет регламентированности культурного сценария, здесь есть плавные переходы от внешней, "поступочной" логики к качественной характеристике человека, переходы, определяемые аксиологической логикой, логикой оценки. Эти переходы могут быть обеспечены присущей языку "волновой" техникой филиации смыслов, когда языковая линия весьма гибко обрисовывает контур движения мысли. Культурный сценарий не фиксирует эту динамику, поскольку семантическое пространство языка культуры более дискретно, здесь знаки связаны друг с другом скорее в рамках статичного культурного фрейма, нежели в потоке смысловой эволюции. Таким образом, статический интерпретационный ракурс исследования в применении к уровню культурной символики (если смотреть на него "снизу вверх" – т.е. по направлению от естественного языка к культурной "надстройке") предполагает сопоставление закономерностей языковой и культурной дистрибуции смыслов.

---

<sup>18</sup> Ср.: *дворовиха* 'женщина, не любящая без дела ходить по чужим дворам' [НОС 2: 78], *одвориться* 'завестись хозяйством, двором' [СРНГ 23: 7], *дворничать* 'постоянно просить у соседей домашнюю утварь, сельскохозяйственный инвентарь и пользоваться ими' [СРНГ 7: 302], *подворье водить* 'вести свое хозяйство' [СРНГ 27: 369] мн. др.

<sup>19</sup> Семантика бесцельного посещения соседей может реализовываться также другими лексическими носителями, ср.: *бузун* 'человек, любящий без дела ходить по чужим домам' [СРНГ 3: 258] *сваишить* 'ходить от одного двора к другому', 'передавать новости, сплетничать' [СРНГ 36: 222], *колядоваться* 'слоняться без дела' [СРНГ 14: 222], *гульная палагея, базарна корова* 'о том, кто ходит без дела из дома в дом' [Воробьев 1999: 41–42] и др.

<sup>20</sup> Отметим, что такое соотношение этикета и этики характерно и для смысловой сферы, связанной с приемом пищи, которая кратко затрагивалась в ходе предшествующего изложения: культурная семантика фиксирует четко регламентированный сценарий приема пищи, формулирует разного рода предписания и запреты, а языковая семантика затрагивает и перетекание этикетных смыслов в этические (ср. перечень "этических последствий" несоблюдения времени приема пищи).

**2. Динамический ракурс** в изучении взаимоотношений между уровнем культурной символики и семантико-мотивационным уровнем подразумевает выявление **направления и закономерностей перекодировок в оппозиции язык ↔ культура**. Возможность таких перекодировок определяется важнейшим постулатом этнолингвистики о том, что культура «представляет собой иерархически организованную систему разных кодов, т.е. вторичных знаковых систем, использующих разные формальные и материальные средства для кодирования одного и того же содержания, сводимого в целом к "картине мира"» [Толстые 1995б: 7]. Так же, как при внутриязыковом взаимодействии полей, процесс перекодировок характеризуется распределением ролей донора и реципиента<sup>21</sup>. При этом естественно предполагать движение информации в направлении **внеязыковые формы культуры → язык и наоборот** (конечно же, это самое грубое и поверхностное представление, которое должно быть многократно углублено с учетом разнообразия жанров культуры и существования различных способов трансляции смысла в языке).

**А. Вектор культура → язык** прорабатывается, например, в том случае, когда фрагменты культурных текстов, сворачиваясь, попадают в языковую систему в качестве прецедентных знаков. Такая вторичная семиотизация свидетельствует о двойном знаковом отборе, что повышает степень аксиологичности отобранных смыслов (помимо такого межкатегориального движения от культуры к языку, феномен вторичной семиотизации может, разумеется, обнаруживаться как внутри языка, так и внутри культуры, ср. наблюдения Н.И. и С.М. Толстых над вторичной функцией обрядового символа, показавшие, что вторичными, вновь отобранными культурой, становятся наиболее существенные, ключевые ее элементы, своего рода архетипические культурные тексты – обряды жизненного и вегетативного циклов [Толстые 1994: 254]). Если рассматривать механизм взаимодействия полей-доноров и полей-реципиентов, то становится очевидно, что принимающая система, трансформируя семантику культурных знаков, располагает их вдоль своих силовых линий смыслообразования, подчиняет закономерностям собственной организации.

Так, образы "злодеев", принадлежащие различным культурным текстам (в первую очередь, библейскому), попадая в лексическую систему русских народных говоров, подвергаются смысловым преобразованиям в соответствии с логикой организации реципиентного поля 'черты характера человека'. При этом невостребованными могут остаться те грани образа, которые нередко являются важнейшими в культурном тексте – допустим, мотив "кровавого преступления", предательства; в то же время появляются магистральные для диалектной семантической системы значения, рисующие не разово-событийный негатив, а такие коммуникативно значимые для традиционного общежития черты, как скупость, сварливость, злобность. Вот, к примеру, перечень культурных героев-"скряг": *шода* 'жадный, скупой человек, скряга' [СРНГ 12: 276], *ирод* 'о жадном человеке' [СРНГ 12: 210], *асмодей* 'злодей, скряга' [СРНГ 1: 286], *аман* 'скряга, скупец' [СРНГ 1: 249], *кощей* 'скупец, скряга' [СРНГ 15: 159], *аспид* 'скупой человек, скряга' [СРНГ 1: 286], *каин* 'жадный человек, скряга' [КСГРС], *аред*, *аред*а 'чрезвычайно скупой человек' [СРНГ 1: 272–273]. Показательно, что в языках, носители которых в силу культурных условий лучше знакомы с прецедентным текстом, образы этих героев могут быть в большей степени приближены к прецеденту. К примеру, польский, украинский и белорусский портреты Амана включают в себя значительное количество языковых фактов, отсылающих к "злодейской сущности" Амана (например, блр. *гаман* 'злодей' [ЭСБМ 3: 39]) и ситуации победы над ним, кото-

<sup>21</sup> Однако во многих случаях эти роли не выделяемы – и это указывает на принадлежность соответствующего факта "пограничной полосе", зоне, где язык смыкается с другими формами культуры (о таком смыкании и конкретных его проявлениях см. в [Толстая 2002: 124–126]). Тогда встает вопрос о различных техниках обработки одного и того же смысла в языке и в разных сферах культуры.

рая затем стала отмечаться как еврейский праздник (укр. *гаман* 'еврейский праздник; персонаж, которого во время этого праздника евреи используют как объект глумления и издевательств', *гаманувати* 'бить кого-то, как Амана, вести себя жестоко, как с Аманом' [ЕСУМ 1: 464], укр. *бити як Гамана* 'безжалостно бить', *товчуть як жиди Гамана, битий як Гаман*, блр. *біці як Гамана, уси кричаць на яго як на Гамана, напали, як на Гамана якогась*, польск. *bity jak Aman, zbili go jak Żydzi Hamana, jak na Hamana krzyzczyć* (*nastawać*) и др. [Лвченко 1999: 185–186], польск. *uszka Hamana* 'маленькие пирожные, которые должны напоминать победу над Аманом (ему отрезали уши)' [устное сообщение М. Якубович]). Такой подбор черт объясняется тем, что соответствующие лингвокультуры в большей степени, чем русская, взаимодействуют с еврейской культурной традицией. Русские же говоры, дав слабый отклик на ситуацию казни Амана (ср. смол. *як гамана прибили* [СРНГ 6: 127]), "подверстывают" его к другим героям-злодеям, изображаемым, как было показано выше, с привлечением актуальных для носителя диалекта черт характера<sup>22</sup>.

Показательны и закономерности трансформации библейских географических названий во вторичном топонимическом употреблении, которое актуализирует зачастую сугубо внешние, "рамочные" и даже "дотекстовые" атрибуты – например, в русской микротопонимии *Иерусалимы* могут выражать мотив удаленности, *Палестины* – мотивы урожайного места vs. неплодородной земли. Таким образом, библейские *tetragrammata* осмысляются примерно так же, как другие чужие земли – *Украина*, *Сибирь* или *Камчатка*. Логика концептуализации действительности, присущая традиционной крестьянской топонимии, определяет перекомпоновку ментальных образов библейских географических объектов в соответствии с магистральной прагматической направленностью топонимического "видения мира". Ср. также выявленные И.В. Родионовой закономерности трансформации образа *Содома*. Если в библейско-христианской традиции *Содом* был символом крайней степени греховности, навлекшей на себя гнев Божий, то в говорах это имя фиксируется в связи с мотивами шума, крика вообще и шумной толпы в частности (*содом* 'шум, крик, гам; шумная толпа', *содомить* 'шуметь, кричать, гамить толпою'), ссоры, брани, ругани (*содомить, содомиться* 'ссориться, браниться, ругаться', *содомщик, содомница* 'сварливый, орала, затейщик ссор'), беспорядка, мусора, грязи (*засодомить* 'запачкать, засорить', *содом* 'мусор', *содомно* 'грязно'); это объясняется неактуальностью для русской народной традиции идеи порока- "содомского греха", вследствие чего "тема бесчинства, нарушения установленного Богом порядка, греховности получила разрешение в других, более релевантных для данной культурной среды вариантах-мотивах суматохи, брани, беспорядка", свидетельствующих о переходе образа в предметно-бытовой регистр (подробнее см. [Родионова 1999: 55–56]).

**Б.** Что касается взаимодействий в направлении **язык → культура**, то они ярко проявляются, к примеру, в связи с феноменом народно-этимологической магии. Полевый подход позволяет обнаружить в лексической системе целые номинативные парадигмы, которые способны "навязывать" культуре серия однотипных ритуальных действий. Так, ряды наименований болезней в ряде случаев провоцируют в сфере медицинской обрядности "рецептуру" лечения, моделируемую по законам языковой магии (кроме того, может моделироваться "анамнез", но обычно причина заболевания и метод лечения взаимосвязаны по принципу *similis simili curatur*). Язык в данном случае оказывается поставщиком определенного номинативного материала, а принимающая система ритуала переосмысляет его в соответствии с магистральным для ритуала принципом магического воздействия (в данном случае он конкретизируется как принцип "рецептурного" восприятия названия болезни, дающего ключ к методике ее лече-

<sup>22</sup> Общей для разных славянских языков является также попытка "демонизации" Амана, ср., к примеру, польск. *gamán* 'дикий великан, чудовище' [Warsz. II: 11], рус. *гаман* 'дьявол' [СРНГ 6: 127].

ния), нередко результаты переосмысления "бумерангом" возвращаются в язык, деформируя исходную языковую материю. Ср. некоторые названия глазного ячменя и продуцируемые ими действия (в скобках отмечены случаи формальной "эксplikации" народной этимологии, ведущие к переоформлению первоначального наименования): *ячмень, жито* → лечится *ячменным (житным)* зерном или хлебом; *жито, житина* (+ *жича, жичина* 'шерстяная нить' = *жича*) → лечится обвязыванием пальца шерстяной нитью; *жито* (+ *жигать* 'прижигать' = *жига*) → лечится прижиганием горячим хлебом'; *песий ячмень, песец, песьяк* → "заносится" собакой (псом), лечится путем "отдавания" *собаке*; *песьяк* (+ *печь* = *печень, печь-ячмень*) → лечится *печением*: прикладыванием *печеного* лука, *печины* (печной глины), *печного* угля, хлебом из *печи* и т.п.); *песьяк* (+ *писать* = *письяк*) → появляется у того, кто видел, как *оправляется* собака, лечится собачьей мочой; *песьяк* (+ *пест* = *пестяк*) → лечится толчением хлеба с помощью *песта*; *песьяк* (+ *сечь* = *посека*) → лечится "сечением" с помощью топора; *сучья титька* (+ *сук* = *сучий сучок, сучок*) → болезнь "отсылается" в сук и др. (подробнее см. в [Березович 2001]).

Таким образом, при работе с уровнем культурной символики – коль скоро эта работа разворачивается "от языка" – следует выявить логику распределения "языковых" и "культурных" смыслов, обнаруживающих как общие зоны, так и специфические, а также закономерности взаимовлияния языковой и внеязыковых форм культуры.

Перечень обозначенных в настоящей статье параметров этнолингвистической интерпретации семантических полей, безусловно, является неполным и открытым. Мы лишь хотели предъявить его к обсуждению. Думается, что поиск новых параметров следует вести исходя из некоторых общих принципов исследований такого рода. Эти принципы предполагают "панорамное" рассмотрение изучаемых семантических феноменов, их сопоставление и оценку. При этом должны решаться следующие вопросы:

КАКОЙ ЛОГИКОЙ РУКОВОДСТВУЕТСЯ ЯЗЫК (ИЛИ ИНАЯ ЗНАКОВАЯ СИСТЕМА) ПРИ ОБОРЕ ЯВЛЕНИЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ СЕМАНТИЗАЦИИ (т.е. что подвергнуто маркировке, а где отмечаются лакуны)?

КАКОЕ МЕСТО ЗАНИМАЮТ РАЗЛИЧНЫЕ СМЫСЛЫ И ГРУППЫ СМЫСЛОВ В ОБЩЕЙ СИСТЕМЕ И КАКОВ ИХ 'УДЕЛЬНЫЙ ВЕС' (какова дистрибуция смыслов, какие из них подвергаются означиванию чаще и разнообразнее, чем остальные)?

КАК ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ РАЗРАБОТАННОСТЬ СМЫСЛА ИЛИ ГРУППЫ СМЫСЛОВ ОТНОСИТЕЛЬНО ДРУГИХ (т.е. какова конфигурация, контуры, глубина, нюансировка, степень детализации, "этажность" смыслов в системе)?

КАК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ДАННОЙ ЗНАКОВОЙ СИСТЕМЕ ПЕРЕХОД ОТ ОДНИХ СМЫСЛОВ К ДРУГИМ (т.е. каково направление, вектор филиации смыслов; в каких случаях наблюдается их обратимость)? НАСКОЛЬКО СООТНОСИМЫ РЯДЫ СМЫСЛОВ ДРУГ С ДРУГОМ (как можно спроецировать один смысловой ряд на другой)?

В КАКИЕ БОЛЕЕ ОБЩИЕ КАТЕГОРИИ МОГУТ БЫТЬ ОБЪЕДИНЕНЫ ДАННЫЕ СМЫСЛЫ (т.е. как определяется принцип словообразования)?

Дальнейшие исследования позволят получить не отдельные иллюстрации к высказанным здесь предположениям, а системное этнолингвистически ориентированное описание русской лексики.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Апресян 1995 – Ю.Д. *Апресян* Избранные труды. Т. II: Интегральное описание языка и системная лексикография М., 1995.
- АОС – Архангельский областной словарь. М., 1980–. Вып. 1–.
- АС – Словарь говора д. Акчим Красновишерского района Пермской области (Акчимский словарь). Пермь. 1984–. Вып. 1–
- Бартминский 2001 – Е. *Бартминский* Некоторые спорные проблемы этнолингвистики // Язык и культура. Проблемы современной этнолингвистики: Материалы Международной научной конференции. Минск, 2001

- Березович 2000 – *Е.Л. Березович* Русская топонимия в этнолингвистическом аспекте. Екатеринбург, 2000
- Березович 2001 – *Е.Л. Березович*. Этимологическая магия как стимул мотивационного заражения (на материале русских народных названий глазной болезни *ячмень*) // *Этимологические исследования*. Екатеринбург, 2001. Вып. 7.
- Березович 2003а – *Е.Л. Березович*. Топонимическая этносемантика // *Славянское языкознание XIII Международной конференции славистов. Доклады российской делегации* М., 2003.
- Березович 2003б – *Е.Л. Березович* К интерпретации некоторых диалектных дериватов рус *жаба, лягушка* // *Общеславянский лингвистический атлас: Материалы и исследования 1997–2000* М., 2003.
- Березович, Леонтьева 2004 – *Е.Л. Березович, Т.В. Леонтьева* Языковой образ дурака: этнолингвистический аспект // *Язык культуры: Семантика и грамматика. К 80-летию со дня рождения акад. Н.И. Толстого (1923–1996)*. М., 2004.
- Вендина 2002 – *Т.И. Вендина*. Средневековый человек в зеркале старославянского языка М. 2002
- Воробьев 1999 – *Б.Д. Воробьев* От *абалтуса* до *угланчика*, и кто такой "яд" (Словарь синонимов, характеризующих человека в уральских говорах). Екатеринбург, 1999
- Гак 1977 – *В.Г. Гак* К типологии лингвистических номинаций // *Языковая номинация. Общие вопросы*. М., 1977.
- Гак 1993 – *В.Г. Гак*. Пространство мысли (Опыт систематизации слов ментального поля) // *Логический анализ языка. Ментальные действия*. М., 1993.
- Гак 1998 – *В.Г. Гак* Языковые преобразования. М., 1998.
- Глущенко 2001 – *О.А. Глущенко*. Наречия образа действия в архангельских народных говорах Дис. . канд. филол. наук М., 2001
- Голомидова 1998 – *М.В. Голомидова* Искусственная номинация в ономастике Екатеринбург, 1998.
- Грандильевский 1907 – *А. Грандильевский* Родина Михаила Васильевича Ломоносова. Областной крестьянский говор. СПб., 1907
- Даль – *В.И. Даль* Толковый словарь живого великорусского языка. 2-е изд. СПб.; М., 1880–1882. Т I–IV.
- ДСРГСУ – Дополнения к Словарю русских говоров Среднего Урала. Екатеринбург, 1996.
- Еремина 2003 – *М.А. Еремина* Лексико-семантическое поле "отношение человека к труду" в русских народных говорах: этнолингвистический аспект: Дис. ... канд. филол. наук. Екатеринбург, 2003
- ЕСУМ – *Этимологичний словник української мови*. Київ, 1982–. Т. 1–.
- Ивашко 1981 – *Л.А. Ивашко* Очерки русской диалектной фразеологии. Л., 1981.
- Івченко 1999 – *А.О. Івченко*. Українська народна фразеологія: Ономастологія, ареали, етимологія Харків, 1999
- КСГРС – *Картотека Словаря говоров Русского Севера* (кафедра русского языка и общего языкознания, Уральский университет)
- КЭИС – *Картотека Этноидеографического словаря русских говоров Свердловской области* (кафедра русского языка и общего языкознания, Уральский университет).
- Леонтьева 2002 – *Т.В. Леонтьева* Опыт установления границ концептуального поля "интеллект" в лексике русских народных говоров // *Материалы и исследования по русской диалектологии I (VII)*. М., 2002.
- Леонтьева 2003 – *Т.В. Леонтьева*. Интеллект человека в зеркале русского языка: Дис. . . канд филол. наук. Екатеринбург, 2003.
- ЛК ТЭ – *Лексическая картотека топонимической экспедиции УрГУ* (кафедра русского языка и общего языкознания, Уральский университет)
- Невская 1997 – *Л.Г. Невская*. Концепт *гость* в контексте переходных обрядов // *Из работ московского семиотического круга*. М., 1997.
- НОС – *Новгородский областной словарь*. Новгород, 1992–1995. Вып. 1–12
- Паршин 1996 – *П.Б. Паршин* Теоретические перевороты и методологический мятеж в лингвистике XX века // *ВЯ* 1996 № 2.
- Плунгян, Рахилина 1993 – *В.А. Плунгян, Е.В. Рахилина* БЕЗУМИЕ как лексикографическая проблема (К анализу прилагательных *безумный* и *сумасшедший*) // *Логический анализ языка. Ментальные действия* М., 1993.
- ПОС – *Псковский областной словарь с историческими данными*. Л., 1967–. Вып. 1–.

- Прокошева 1972 – Материалы для фразеологического словаря говоров Северного Прикамья / Сост К Н Прокошева Пермь, 1972
- Родионова 1999 – *И В Родионова* К вопросу о трансформации библейско-христианской традиции в народной картине мира // *Язык Система Личность* Екатеринбург, 1999
- РСС – Русский семантический словарь Толковый словарь, систематизированный по классам слов и значений М, 1998
- Рут 1992 – *М Э Рут* Образная номинация в русском языке Екатеринбург, 1992
- СВГ – Словарь вологодских говоров Вологда, 1983– Вып 1–
- СГРС – Словарь говоров Русского Севера Екатеринбург, 2001– Вып 1–
- СД – Славянские древности Этнолингвистический словарь В 5-ти томах / Под ред Н.И Толстого М, 1995– Т 1–
- СОГ – Словарь орловских говоров Ярославль, 1989–1991 Вып 1–4, Орел, 1992– Вып 5–
- СПГ – Словарь пермских говоров Пермь, 1999–2002 Вып 1–2
- СРГК – Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей СПб, 1994– Вып 1–
- СРДГ – Словарь русских донских говоров Ростов-на-Дону, 1975–1976 Т 1–3
- СРГСУ – Словарь русских говоров Среднего Урала Свердловск, 1964–1987 Вып 1–7
- СРНГ – Словарь русских народных говоров Л, 1966– Вып 1–
- Толстая 1998 – *С М Толстая* Труд и мука // *Язык Африка* Фульбе Сборник научных статей в честь А И Коваль СПб, 1998
- Толстая 2002 – *С М Толстая* Мотивационные семантические модели и картина мира // *Русский язык в научном освещении* 2002 № 1 (3)
- Толстые 1994 – *Н И и С М Толстые* О вторичной функции обрядового символа (на материале славянской народной традиции) // *Историко-этнографические исследования по фольклору: Сб ст памяти С А Токарева* М, 1994
- Толстые 1995а – *Н И и С М Толстые* Культурная семантика слав \**vesel-* // *Н И Толстой* Язык и народная культура Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике М, 1995
- Толстые 1995б – *Н И и С М Толстые* О слове Славянские древности // *Славянские древности* Этнолингвистический словарь В 5-ти томах/Под ред Н И Толстого Т 1 А–Г М, 1995
- ТСРЯ – *Л Г Саяхова Д М Хасанова В В Морковкин* Тематический словарь русского языка М, 2000
- ФСРГС – Фразеологический словарь русских говоров Сибири Новосибирск, 1983
- ЭИС – *О В Востриков* Традиционная культура Урала Опыт этноидеографического словаря русских говоров Свердловской области Екатеринбург, 2000– Вып 1–
- ЭСБМ – Этымалагічны слоўнік беларускай мовы Минск, 1978– Т 1–
- Якушкина 2003 – *Е И Якушкина* Сербохорватская этическая лексика в этнолингвистическом освещении Дис канд филол наук М, 2003
- ЯОС – Ярославский областной словарь Ярославль 1981–1991 [Вып 1–10]
- Warsz – *J Karłowicz A Krynski W Niedzwiedzki* Słownik języka polskiego Warszawa etc, 1904–1927 (1952–1953) Т I–VIII



© 2004 г. О.А. РАДЧЕНКО, Н.А. ЗАКУТКИНА

## ДИАЛЕКТНАЯ КАРТИНА МИРА КАК ИДИОЭТНИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН

Еще в тридцатых годах XX века в работах немецких диалектологов прозвучала идея о том, что диалект представляет собой особую, более архаичную, по сравнению с общенародным, литературным языком, форму освоения действительности, присущую сплоченным языковым коллективам и отличающуюся рядом конститутивных признаков, в том числе: парцелированием объектов познания, антропоцентризмом, субъективизмом, большей зависимостью от внешних условий бытия, "пессимизмом", консерватизмом. Однако до сих пор остается актуальной задача изучить этот уникальный гносеологический и культурный феномен, определить универсальные и уникальные составляющие, а в результате – определить пути создания новой модели целостного описания диалектной картины мира.

Следуя лингводескриптивной теории и практике Мюнстерской и Боннской школ неогумбольдтианства, вполне возможно не только предположить существование своей картины мира в диалектах существующих языков, но и доказать это на фактическом материале в сопоставительном модусе. Диалектная картина мира отличается от общезыковой своим естественным характером, поскольку она складывается в достаточно замкнутом диалектном коллективе, отражает особенности уклада, быта, близость к природе, характерные черты сельского труда, не искажается и не нивелируется никакой кодификацией, однако служит своего рода субстратом для картины мира общеупотребительного языка. Картина мира диалекта присущи особые социолингвистические характеристики и системные параметры, она проявляется, главным образом, в устной речевой деятельности в определенных сферах коммуникации. Диалектоноситель не только предпочтительно пользуется средствами определенных подсистем лексики и фразеологии, словообразовательными ресурсами, отличающимися по своему богатству и своеобразию от ресурсов общеупотребительного языка, он иначе "ословливает" окружающий мир, рисует иную картину бытия, чем носитель литературного языка, опираясь на возможности своего диалекта и развивая и обогащая их.

Статус диалекта как гносеологического феномена следует рассматривать как зависимую от конкретной диалектной и культурной ситуации в данной стране характеристику. Это позволяет отказаться от распространенных суждений о диалекте как о "подсистеме", "варианте конкретного языка, "вымирающем явлении", "реликте прежних эпох" и т.п. Этим суждениям следует противопоставить рассмотрение каждого диалекта как уникального пути освоения действительности, подлежащего как можно более тщательной фиксации и осмыслению в рамках консервативной диалектографии. В то же время, вызывают сомнения ценность намеренного культивирования диалекта и некоторые методы его содержательно-ориентированного культурологического описания, например, метод "культурных сценариев" А. Вежбицкой.

В настоящее время функционирование диалектов в различных диалектных ситуациях уже давно не рассматривается как тривиальный процесс вымирания "редундантных" форм языка. Более того, процессы ревальвации диалекта (в Швейцарии и Люксембурге), случаи политического давления на носителей диалекта с целью заставить их перейти на государственный язык большинства (во Франции – ситуация в Эльзасе и Лотарингии, в Италии – ситуация в Южном Тироле) заставили лингвистов, педагогов,

политиков, философов проанализировать возможности и границы использования диалекта в общественной жизни.

Консервативное концептуальное описание диалекта, представляющееся наиболее адекватным сущности этого явления, призвано ориентироваться на выявление внутренней, скрытой логики диалектной номинации, с целью создания базы для содержательного сопоставления разнообразнейших "диалектных логик" и приближения тем самым к идеалу сравнения картин мира, провозглашенному в трудах В. фон Гумбольдта. Методологической опорой такого описания может стать *гипотеза диалектной относительности*, являющаяся развитием гипотезы языковой относительности Сепира-Уорфа и лингвофилософской концепции немецкого неогумбольдтианства.

Эта гипотеза включает следующие тезисы: 1) Каждый язык представляет собой один из возможных вариантов языковой концептуализации действительности, перманентно воссоздаваемый и обновляемый в рамках данного коллектива его носителей (языкового сообщества). Уникальность картины мира, содержащейся в системе языковых концептов, идиоматических средств, словообразовательных и других синтагматических ресурсов, обусловлена неповторимыми условиями, в которых осуществляется познавательная деятельность каждого человеческого коллектива. 2) Картина мира, заложенная в литературном (общенациональном, общеупотребительном, "письменном") языке, носит в известной степени искусственный, конвенциональный характер, поскольку она создается путем принятия мер по нормированию, упорядочению, нивелированию ее системных качеств. Этот искусственный характер вуалируется и подкрепляется культурными факторами (письменностью, художественной литературой, прескриптивным характером общеупотребительного языка), а также не ощущается тем поколением языкового сообщества, которое выросло в концептуальных рамках картины мира национального языка. 3) Базой для создания этой картины мира является совокупность естественно созданных систем концептуализации действительности, присущих небольшим языковым коллективам, – диалектам, говорам, наречиям. Картина мира национального языка компилируется первоначально из картин мира диалектов путем их сопоставления и селекции наиболее общих черт, однако с опорой на какой-либо один из них, приобретающий в определенные исторические периоды приоритетный статус. 4) Картины мира диалектов, тем самым, не являются фрагментами картины мира национального языка, а, напротив, будучи субстратом последней, они сохраняют в течение определенного периода времени после создания национального языка особые качества, связанные с их большей близостью к исконным занятиям человека, традиционному образу жизни, натуральному хозяйству. 5) Каждый диалект, будучи связанным общим происхождением и функционированием в единой диалектной ситуации с другими диалектами, тем не менее, обладает не только сходными, но и отличными чертами, определяющимися особенностями гносеологической деятельности данного диалектного сообщества. Тем самым совокупность диалектов представляет собой *континуум естественных картин мира на пространстве одного из вариантов языковой концептуализации действительности (конкретного языка)*.

## 1. Диалект как лингвофилософский феномен

Социальная стратификация современных языков характеризуется строго определенным методологическим подходом к анализу социальных и территориальных разновидностей языков – профессиональных и социальных жаргонов, аргю, территориальных диалектов и наречий, говорам и патуа. Эти разновидности различаются между собой не столько терминологическими системами, сколько самой сущностью мировосприятия носителей данных разновидностей языка, что отражается в лексических системах, предпочтениях в выборе грамматических средств, особенностях дискурса.

В современной лингвистике принято использовать термин "языковая концептуализация мира" (речь идет о том способе, который характерен для процесса языкового освоения мира в условиях данного языкового коллектива). Так, известные специали-

ты по русской языковой картине мира Т.В. Булыгина и А.Д. Шмелев отмечают: «Мы знаем, что ярким отражением характера и мировоззрения народа является его язык и, в частности, его лексический состав. Анализ русской лексики позволяет сделать выводы об особенностях русского видения мира, частично подтверждающие и одновременно дополняющие и уточняющие указанные выводы, и подвести под эти рассуждения о "русской ментальности" объективную базу, без которой такие рассуждения часто выглядят поверхностными спекуляциями» [Булыгина, Шмелев 1997: 481].

Действительно, именно лексический состав языка, взятый в его системном (семантическо-полевом) аспекте, способен в гораздо большей степени, чем анализ иных языковых уровней, позволить заглянуть в процессы этноспецифической номинации, отражающие пути и методы освоения мира данным языковым коллективом, вскрыть присутствующие ему способы "перевода мира в собственность духа" (В. фон Гумбольдт), "языкового освоения и преобразования мира" (*sprachliche Anverwandlung der Welt*) (Й.Л. Вайсгербер).

В 1883 г. в своем докладе о "письменном языке и народном диалекте" Г. Остгофф привел следующую метафору. В одном лесу стоят две молодые ели. Одна из них растет без помех, подвергаясь лишь воздействию природы; другую же выкапывают, пересаживают в сад, ухаживают за ней и формируют искусно. Если сравнить их между собой, говорит Остгофф, "первому дереву положен приз за то, что оно представляет нам истинную суть деревьев и дает возможность наблюдать совершенство природы... Так и письменный язык, рассматриваемый как язык, без сомнения, не может не уступать по своей ценности народному диалекту" [Osthoff 1883: 14]. Если ученого интересуют тонкости развития языка, то вопрошать об этом следует не литературный язык, а "только народные уста, в естественную и неподдельную речь коих нам надлежит внимательно и усердно вслушиваться, дабы исследовать невиданную истину о том, как таинственно бушует и созидает свои ткани дух языка" [Osthoff 1883: 15].

Практические исследования по исследованию духа народного языка были начаты, однако, еще задолго до этих выводов Остгоффа. Так, в конце XVIII века были предприняты первые попытки систематизировать словарь тюрингского диалекта (в графстве Хоэнштайн) [Rosenkranz 1967: 653]. Однако XIX век привнес паузу в эти исследования, переведя магистральные пути диалектологии на исследование звуковой стороны диалектов и в сферу диахронии. Лишь в начале XX века наметился возврат к исконной задаче диалектологии – исследованию того, что получило название "картины мира диалекта".

Конкретную форму этому поначалу романтическому отношению к немецкому языку и к его территориальным разновидностям попытался придать в своих работах Г. Штейнталь, утверждавший: "Всякий язык является изначально одним диалектом среди многих диалектов: так, средневерхненемецкий язык исконно был швабским диалектом, итальянский язык – флорентийским диалектом и т.д. Но по мере того, как этот диалект используется для выражения общих мыслей и чувств одного народа и служит не только тем, для кого он с детства был домашним и разговорным языком, но и всем прочим, говорившим на родственных диалектах, для выражения более высокой общей духовной жизни; по мере того, как он облагородился путем выражения более высоких устремлений, обогатился посредством выражения новых понятий, исключил все низкое, упрочился в связи с потребностью в истине и красоте и с учетом широкого взаимопонимания, он отдалялся от родного диалекта, из которого он начал свое восхождение, так что вскоре после обособления одного диалекта для литературных целей он стал иным, отличным от того и теперь отличался как язык от его более раннего состояния диалекта" [Steinthal 1876: 48].

Штейнталю принадлежит одна из первых "семантических программ" исследования экзотических языков и диалектов. В частности, обращая внимание на необходимость личного обследования областей, в которых распространен тот или иной экзотический язык, Штейнталь предлагал исследователю обстоятельный вопросник. Исследователь должен был, к примеру, выяснить у носителя данного языка обозначения имен родст-

ва. частей тела, элементов прически, внутренних органов (в сочетании с теми эмоциями, которые ассоциируются с ними), обозначения для сна и бодрствования, болезней и лекарств, названия воздуха, земли, неба, природных явлений, домашних и диких животных с учетом различий в возрасте, цвете, поле, характере, обозначения построек, их частей, инструментов и оружия, одежды и украшений с учетом их формы, цвета, размеров, исследование представлений о красивой женщине, прекрасном животном, цветообозначения, масти животных, выражения для ремесел и занятий, качеств человека, глаголы движения, обозначения качеств предметов, числа от 1 до 100, числительные, местоимения, основные наречия, обиходные выражения и формулы общения. К своим рассуждениям Штейнталь также прилагает подробный список выражений по указанным предметным группам, а также подробный вопросник по грамматике и даже по средствам мимики и жестикуляции.

Интересную и весьма сходную точку зрения мы находим в работах русского последователя и современника Штейнталья А.А. Потебни. Полемизируя с уничижителями диалектов, Потебня отмечает: "Именно то, что перевод с литературного языка на областное наречие и с одного областного наречия на другое весьма часто кажется пародией, именно это служит доказательством, что, предупреждая решение науки, верное чутье понимает самые сходные наречия как различные музыкальные инструменты, быть может, иногда относящиеся друг к другу как церковный орган и балалайка, но тем не менее незаменимые друг другом" [Потебня 1905в: 174]. Объяснение этой незаменимости видится Потебне в особенной взаимосвязи ощущений и мышления с родным диалектом: "Есть чувства и мысли, которых не вызвать на общелитературном языке известного народа никакому таланту, но которые сравнительно вызываются на областном наречии" [Потебня 1905в: 175].

Устойчивость языка к внешним влияниям Потебня связывает в первую очередь с лексической системой, которая "способна без перерождения выдерживать напор" этих влияний [Потебня 1905в: 179]. Правда, здесь мы поневоле сталкиваемся с проблемой, которая являлась предметом дискуссий как во второй половине XIX, так и еще в начале XX века: проблеме взаимосвязи богатства языкового материала и степени духовного развития народа-носителя этого языка. В этой проблеме, как обычно, присутствуют две крайности.

Одну из них сформулировал замечательный философ языка, создатель эстетического идеализма как направления в лингвистике К. Фосслер: "Чем более талантлив и чем более цивилизован народ, тем более совершенен его язык, тем яснее и прочнее его грамматика, чем четче его лексикон и тем тоньше его нюансы" [Vossler 1904: 90]. Если следовать логике Фосслера, то и в отношениях между языком и его "наречиями" неизбежно то же соотношение: литературный язык обязательно должен обладать более тонкими нюансами и большей четкостью в организации словаря и грамматического строя. Однако это можно сказать лишь о состоянии и качестве дескриптивного аспекта в исследовании языков и диалектов: несомненно, литературный язык (в частности, немецкий) несравнимо лучше описан и зафиксирован в лингвистической литературе, чем его многочисленные диалекты. Однако существуют многочисленные примеры возникновения нового языка на базе одного из диалектов "культивированного" языка (ср., например, люксембургский язык, сложившийся из мозельско-франкского диалекта с многочисленными французскими вкраплениями), которые, по той же логике, должны быть неизмеримо беднее в лексическом и грамматическом отношении.

Потебня рассматривал эту проблему совершенно с другой стороны, с точки зрения перехода от конкретного к абстрактному по мере развития языка: "Чем далее в прошедшее, тем менее в языке слов отвлеченных и формальных, которым ничто не соответствует в чувственном восприятии. Первобытное слово должно было соответствовать безразличному комплекту вещи и ее действия и качества" [Потебня 1905а: 449–450]. По мысли Потебни, "человечество идет от того состояния, при котором конкретное явление, впечатление текущего мгновения занимает всю ширину и глубину сознания, к тем состояниям, при коих, при помощи все большего и большего отвлече-

ния, все большей и большей стройности в распределении отвлечений, мысль становится способной обнимать все более и более сложные ряды явлений" [Потебня 1905а: 481]. По этой причине упомянутые Фосслером "тонкие нюансы" в лексиконе должны неизбежно утрачиваться, уступая место классификациям и обобщениям. Потебня в данном случае вступает в косвенную дискуссию с Фосслером, приводя доказательства того, что "богатство синонимов вовсе не предполагает высокой степени развития мысли": в русских наречиях более 40 обозначений лошадиных мастей, более 40 глаголов для понятия "говорить", более 30 названий хлеба [Потебня 1905б: 595]. Важно отметить, что Потебня рассматривает историю становления народного своеобразия как удаление от общечеловеческого, универсального: "Приближение к общечеловечности мы можем представить себе лишь позади нынешнего уровня развития человечества... Но по направлению к будущему общечеловечности, в смысле сходства, может только уменьшаться. Она увеличивается лишь в смысле силы взаимного влияния" [Потебня 1905в: 198].

Идея о тесной взаимосвязи духовного своеобразия языкового коллектива и понятийной уникальности его языка, ставшая одной из опор концепции А.А. Потебни, получила распространение среди части российских философов языка и лингвистов в конце XIX – начале XX в. Эта идея отражена, к примеру, в трудах С.П. Шевырева [Шевырев 1884], отдельных работах И.А. Бодуэна де Куртенэ [Baudouin 1929], Г.Г. Шпета [Шпет 1927], представителей Харьковской лингвистической школы. Чрезвычайную ценность диалектов как источника "исконного", "незамутненного" языкового материала подчеркивали и представители немецкого романтизма и младограмматики. В то время и в Германии, и в России с этой идеей связывались преувеличенные романтические ассоциации языка и народного духа, души народа, не подкрепленные лингвистическими исследованиями, серьезными эмпирическими данными. Будучи элементом духовного наследия философии XIX века, идея понятийной уникальности языков оставалась лозунгом, использовавшимся в политических или поэтических целях.

В конце XIX века в европейском языкознании складывается диалектная география, оперировавшая методом составления языковых атласов и выявления с этой целью изоглосс. В 20-х гг. XX столетия формируется "культурно-морфологическое" направление в диалектологии, которое интерпретирует диалектные ареалы как реликты древних административных образований. В работах К. Хаага устанавливается членение всякой диалектной зоны на "ядерную область" (Kerngebiet) и "периферийную область" (Saumgebiet) или "зону вибрации" (Vibrationszone).

Проявление этнопсихологического подхода к диалектам ощущается в работах начала XX века, он превалирует (опять же по политическим причинам) в философии языка Германии в 30–40-х гг. [Walter 1929; Panzer 1937; Witter 1989]. Разбирая многочисленные точки зрения на то, что особенно ценно при таком рассмотрении языка, исследователь этого периода непременно обратит внимание на мысль о том, что языковое освоение окружающей действительности *негомогенно в различных человеческих коллективах*. Используя идею Гумбольдта о внутренней форме и мирозерцании, которые присущи каждому языку, неогумбольдтианцы формулируют тезис о существовании *языковой картины мира* (sprachliches Weltbild). В качестве неотъемлемой составляющей идиоэтнической характеристики языка, наряду с картиной мира, выдвигается существование коллектива носителей данного языка, *языкового сообщества*. Его определение служит основой для трактовки *диалектного сообщества* как одной из специфических составляющих языкового сообщества (о диалектном сообществе см. [Debrunner 1957–1958; Ipsen 1930–1931; 1931; Mutius 1929; Polenske 1933; Sombart 1939; Vierkandt 1931]). Именно с ним связано право человека на родной диалект.

Й.Л. Вайсгербер признавал за диалектным сообществом особую роль, а за диалектом – общественную силу, поскольку "посредством диалекта люди, не связанные тесно друг с другом одной из естественно-обусловленных форм сообщества (семьей, сословием, местожительством), объединяются в довольно обширное сообщество" [Weisgerber 1931: 604]. И хотя на подобном сообществе сказываются и иные взаимо-

связи культурного, политического характера, тяготение людей к одному центру, гораздо более важным является то, что "созданное таким образом сообщество охватывает все сферы жизни и обнаруживает упорство в своем сохранении, даже если исконно действовавшая сила на некоторое время прекращает действовать" [Weisgerber 1931: 604]. Поэтому диалект рассматривается Вайсгербером как самый простой случай проявления надпространственной и надвременной силы языкового сообщества.

Качество, присущее членам такого сообщества, М. Шелер обозначил как "относительно естественное мировоззрение" (*relativ natürliche Weltanschauung*), объединяющее в себе понятия и предметы суждений, не нуждающиеся в доказательствах и рассматриваемые членами данного сообщества как естественно-данные. Именно об этом качестве, хотя и под другим названием, писал Э. Кассирер: "Наивный реализм обычного мировосприятия, как и реализм догматической метафизики, совершает постоянно одну и ту же ошибку. Он вычленяет из совокупности возможных понятий действительности одно единственное и устанавливает его как норму и прообраз для всех прочих. Так определенные необходимые формальные точки зрения, с которых мы пытаемся оценивать, рассматривать и понимать мир явлений, перечеканиваются в предметы, бытие как таковое" [Cassirer 1921: 118]. В то время как Кассирер негативно оценивает эту односторонность познавательных возможностей наивного реализма и считает возможным преодолеть ее при помощи систематической философии, Вайсгербер отождествляет это относительно-естественное мировоззрение с картиной мира данной группы людей и призывает изучить ее как ценный пример одного из возможных путей познания действительности.

Психологическую основу у языкового сообщества вообще и диалектного в частности обнаружил Ф. Каинц. В своей знаменитой монографии, посвященной феномену языкового чутья (*Sprachgefühl*), Ф. Каинц анализирует те случаи, когда языковое чутье ошибается под влиянием плохих образцов, считая наиболее яркими примерами такого проявления провинциализмы и идиотизмы: "Часто именно диалект здесь оказывается смущающим фактором. Неуверенность, с которой некоторые жители Северной Германии различают дательный и винительный падежи личного местоимения "я", связана с тем фактом, что нижненемецкий диалект для "мне" и "меня" располагает только одной формой *mi*" [Kainz 1944: 30]. Гораздо больший размах имеет "гиперкорректное" использование литературного языка носителями диалектов, а также приспособление диалектных форм к недостаточно хорошо известной литературной форме. Все это "проявления языкового чутья, которое зыбко в сфере общего языка, иными словами, – проявление недостаточного знания общеязыковых требований, которое использует свои запасы без уверенности и непосредственности" [Kainz 1944: 32]. Каинц располагает подобные случаи в сфере, лежащей между неуверенным языковым чутьем и его коррекцией при помощи столь же неуверенного знания предписаний литературного языка. Подобное зыбкое чутье языка создает, согласно правилу Каинца, гиперкорректные формы и языковую сверхкомпенсацию в области как литературного языка, так и диалекта.

К примеру, в баварско-австрийском диалекте преобладают аналитические формы прошедшего времени, поэтому носители этого диалекта, говоря на литературном языке, пользуются исключительно синтетическими формами (имперфектом), даже нарушая собственные сферы использования этого времени в литературном языке. Причиной этого явления Каинц считает так называемое "языковое чутье" [Kainz 1944: 33]. Другие случаи сверхкомпенсации, к которым прибегает носитель диалекта, говорящий на литературном языке, – замена сочинительного союза *trotzdem* подчинительным *obgleich*, исключение из употребления союза *nachdem* в темпоральных придаточных предложениях (поскольку в диалекте этот союз используется и в каузальных придаточных, а в литературном языке это исключено), замена *wann* на *wenn*.

Существует, однако, и сверхкомпенсация, к которой прибегают носители одного диалекта, пытающиеся говорить на другом диалекте. Так, жители северной или центральной Германии, переходя на баварский или швабский диалекты, заменяют диф-

тонг *ei* нормативного произношения на *oa* или *oi*, не обращая внимание на ограничения, установленные звуковыми законами. Та же неуверенность и те же ошибки, в особенности в реже употребляемой лексике, допускают дети самих носителей баварского и швабского диалектов. Кайнц объясняет этот факт тем, что "эти дети не являются истинными членами диалектного сообщества", более того, "представители подрастающего поколения все меньше получают возможность в процессе прогрессивного отступления диалекта услышать неподдельный диалект, поскольку он в значительной степени вытесняется наддиалектными формами общения, на которые оказывает влияние литературный язык" [Kainz 1944: 34].

Столь серьезное воздействие языкового чутья на любое проявление языкового знания носителя диалекта связано с самим характером языкового чутья как "ориентации нашего зуза на живые образцы". Тем не менее, несмотря на наличие живых образцов, среди носителей одного и того же языка наблюдается высокая интервариантность, связанная как с личностными качествами самих носителей (в том числе и с характером полученного образования, качеством языкового обучения, использованием для этого художественной литературы, знанием диалекта, наконец, языковыми способностями), так и с языковой вариативностью и отсутствием сплошного нормирования, прежде всего, в области морфологии.

В данном случае дает о себе знать старая проблема диалектографии, весьма важная в случае опоры только на устный материал, – выделение критериев отбора информантов, т.е. выяснение вопроса, кто является, собственно, "настоящим", "чистым" носителем диалекта.

Подобным носителем, согласно традиции, считается немобильный (постоянно проживающий в данной местности), пожилой мужчина, полностью включенный в местный образ жизни (в "городской диалектологии" под этим влиянием позднее сформировался термин NORM – Nonmobile, Older, Rural Male). Такой носитель диалекта избирается из наименее видных членов данного сообщества, чтобы обеспечить представительность языковых фактов для всего сообщества [Chambers, Trudgill 1998: 47].

Так, Э. Пирайнен привлекала к своим опросам только носителей западно-мюнстерландского говора, родившихся в 1905–1935 гг., несмотря на то, что этим говором достаточно компетентно владеет и местная молодежь. Причинами подобного выбора стало то обстоятельство, что пожилые местные жители усвоили этот вариант нижне-немецкого диалекта в качестве родного, первого языка, а лишь позднее изучали стандартный немецкий в школе; они представляют различные профессиональные группы (крестьяне, домохозяйки, ремесленники, служащие, учителя и пр.); их родители практически все были крестьянами; большинство информантов провело свое детство на крестьянском дворе [Dobrovolskij, Piirainen 1992: 144].

Изучение такого информанта всегда связано с "парадоксом наблюдателя": лингвисты желают наблюдать за спонтанной устной речью, которая невозможна, если за человеком наблюдают. Для устранения этой проблемы современные лингвисты пытаются использовать методику языковой переменной [Chambers, Trudgill 1998: 48]. Оптимизация обработки данных анкетирования достигается и применением других современных методов диалектологии, из которых следует особенно отметить диалектометрию – количественный анализ диалектных данных двух соседних регионов, при котором учитываются географическая дистанция между регионами на карте и лингвистическая дистанция, указывающая при помощи дистантной метрики, насколько различны два региона в языковом отношении. Нередко практикуется составление скалограмм – матриц, позволяющих понять, насколько упорядоченны и систематичны диалектные явления, насколько они подчиняются какому-либо правилу. Составляются также мультивариантные статистические программы, которые сводят диалектные данные к набору определенных взаимосвязей [Chambers, Trudgill 1998: 127–148].

Согласно сформулированному Вайсгербером закону языкового сообщества, "человечество делится на языковые сообщества без лакун и в никогда не прерывающейся взаимосвязи" [Weisgerber 1949: 10]. Такой же закон невозможно было бы сформу-

лизовать относительно диалектной принадлежности носителей конкретного языка, поскольку в силу определенных факторов (прежде всего, урбанизации) языковое сообщество все более превращается из "локутного одеяла" диалектного пространства в достаточно унифицированное языковое пространство с диалектными очагами. В данном случае мы наблюдаем одно из социологических различий между литературным языком и диалектом. Кроме того, для каждой страны, очевидно, характерны различные диалектные ситуации с различной степенью важности, которую носители диалекта придают своей "двойной языковой принадлежности". Единственная максима, которую разделяют, по-видимому, все языки, в том числе и искусственные, заключается в том, что не существует языков без диалектного "дополнения".

Будучи частью родного языка, диалект также принимает участие в преобразовании мира в собственность духа, созидании картины мира родного языка, используя свои средства и способы. "Диалект есть языковое освоение родных мест" [Weisgerber 1956: 7], он превращает конкретное экзистенциальное пространство в духовную родину. Средства диалекта распространяются на то, что доступно носителям диалекта в непосредственном опыте: диалект и реальная жизнь деревни, доступная всем пространственная и духовная сфера в значительной степени совпадают. Диалект выступает как особый язык локально-связанных исконных занятий крестьянина, горняка, рыбака, охотника, винодела, ремесленника: "Именно действующие в данном экзистенциальном сообществе способы видения и суждения обретают в их диалектном выражении, вплоть до застывших оборотов и пословиц, жизненное значение и действенность в самом непосредственном смысле слова" [Weisgerber 1956: 7].

Существенной характеристикой диалекта является его роль как "источника омоложения" для национального языка, в частности, хранилища потенциального общепотребительного языкового материала, который по своему характеру был бы гораздо уместнее, чем, к примеру, заимствованная лексика [Weisgerber 1956: 261].

Вайсгербер выступает против той ошибки, "что считали свою задачу выполненной, когда переводили языковые средства из родного или иностранного языка в звуковую форму, соответствующую конкретному диалекту; считалось, что так можно внедрить эти средства в диалект" [Weisgerber 1956: 11]. Между тем, подобная методика была бы оправдана, если бы слова были обычными этикетками для универсальных сигнификатов. Развитие диалекта возможно лишь как "адекватное совершенствование, исходя из специфической языковой картины мира" [Weisgerber 1956: 12]. А спецификой диалектной картины мира является именно ее "основание на самостоятельно выработанном и постоянно подтверждаемом материале", что и ограничивает сферу действительности диалектной картины мира. Задачи культивирования диалектов включают преодоление презрительного отношения к диалектам, поддержание гордости носителя диалекта за свой родной диалект, сохранение сферы действительности диалекта, в частности, отказ от преподавания диалекта в школе, поскольку это разрушает гармонию между внутренним и внешним миром, присущую диалекту [Weisgerber 1956: 14].

Утрата диалекта вызывает у Вайсгербера опасение, что его место займет не общепотребительный язык, а жаргоны, совокупность низкокачественного языкового материала, не отражающего тесной взаимосвязи с местным экзистенциальным пространством и не обладающего жизненными ценностями диалекта. Подобные процессы уже проходят в тех индустриальных центрах Германии, где профессиональные сообщества складываются из представителей различных диалектных областей и где возникает потребность в выработке понятного для всех койнэ. Однако создающиеся таким образом жаргоны существенно отличаются от диалекта преимущественным использованием вульгарной лексики, метафорическим переносом лексики, имеющей отношение к животным, на ситуации, связанные с человеком (например, *verrecken*, *krepieren* "сдохнуть"), в то время как диалект в том же значении использует чаще образные эвфемизмы (*den Löffel unter die Haube legen*, букв. "положить ложку под чепец", *das Buch zumachen* "закрыть книгу", *in die Nüsse gehen* "уйти в орехи", *die Leite hineingehen*



"уйти по склону, на котором кладбище" в тюрингском диалекте) [Lipps 1935–1936; Steger 1964; Ehmann 1992; Bonifer 1993].

Косвенным свидетельством наступления жаргонов и городских полудиалектов на диалекты и говоры сельской местности является выдвижение *гипотезы пространственной диффузии*, согласно которой лингвистические инновации исходят из одной географической точки (обычно – большого города) и постепенно утверждаются в другом городе, а затем перемещаются в небольшие города и деревни [Chambers, Trudgill 1998: 166–186]. Правда, эта гипотеза в основном касается фонетических инноваций и связана с трудностями картографирования, поскольку методы традиционной диалектографии не способны выявить влияние городских центров инноваций, концентрируя внимание на статистических данных. Данная гипотеза в общем виде высказывалась еще Ф. де Соссюром под влиянием "теории волн" И. Шмидта [Соссюр 1977: 242].

В работах неогумбольдтианцев обнаруживается еще одна характеристика диалекта: его способность выступать в разговорной и "высокой" форме: "Лирическое стихотворение на диалекте может быть языковым шедевром... Как языковое произведение – это высокая речь. Проповедь на нижненемецком диалекте будет и вовсе носить характер высокой речи... причем, она будет тем совершеннее, чем совершеннее используется и реализуется духовность диалекта, то есть чем чище она будет в смысле чистоты диалекта. Дело в том, что проповедник применит все тщание, которое требует высокая речь, выбор слов, синтаксических конструкций, произношения" [Trier 1966: 120]. Трир использует последовательно характеристику "высокой речи" (hochsprachlich) не в лингвоисторическом, а в стилистическом аспекте (см. также о возможностях чтения проповеди на диалекте в [Schwartz 1997]).

Не менее важной проблемой оказывается использование диалекта в школе. По данным опроса среди жителей Лотарингии в начале 90-х гг. относительно целесообразности введения преподавания местного диалекта в школе, против подобного шага высказывались следующие аргументы: необходимость предварительного нормирования диалекта, отсутствие письменной кодификации, приоритет французского языка как государственного, "испорченный характер" диалекта по сравнению с литературным немецким (отсюда предложения преподавать не диалект, а немецкий литературный язык, наряду с французским), региональная ограниченность диалекта, преимущественная роль семьи в передаче диалекта своим детям (отсутствие которой невозможно компенсировать официальным путем), плохие результаты учащихся из сельских районов, приступающих к изучению французского языка, а также серьезная интерференция в процессе освоения немецкого литературного языка; значительная вариативность диалектного материала [Stroh С. 1993: 134–136]. Вместе с тем, по мнению старшего поколения, введение диалекта в школьное обучение является последним средством спасти его от полного исчезновения. Дальнейшие аргументы в пользу этого шага: знание диалекта облегчает изучение немецкого языка, многоязычие обогащает личность (с чем частично согласен, к примеру, исследователь тирольских диалектов Ф. Ланталер в [Lanthaler 1994]).

Конечно, этот опрос связан с особой ситуацией вокруг немецкого языка в районах компактного проживания диалектных меньшинств. В отличие от "внутреннего" диалекта, пограничный диалект связан с множеством импликаций, вызывающих отказ от его использования. В частности, если привлекать ситуацию в Лотарингии, то отказ от использования местного диалекта был связан с историко-политическими причинами (желание забыть о временах нацизма, особенно сильное в первое десятилетие после войны, антипатия к немцам, оценка немецкого языка как грубого, вульгарного, неэлегантного, присущего необразованным людям), социально-психологическими (ощущение диалекта как "частного", интимного средства общения небольшого сообщества, которым неохотно пользуются публично), социальными (меры французского государства по распространению государственного языка, социальное давление, школа) причинами [Stroh 1993: 165–173]. Однако в данном случае важно обратить внимание общественности на постепенное исчезновение диалектов как на большую утрату для

культуры как конкретной страны, так и всего человечества, сопоставимую с исчезновением экзотических языков, которое в современной литературе сравнивают по размерам и значимости с утратой видов животных и растений [Küchler 1993: 1].

Так, один из известных немецких лингвистов Х. Амманн отмечал в начале прошлого века: "То, что диалект является материнской почвой, из которой общеупотребительный язык (Schriftsprache) постоянно принужден извлекать новое питание и силу, если он не желает засохнуть на корню, давно стало общим местом и не оспаривается образованными людьми. Нам ведь всем известно, что диалекту присущи наглядность, необыкновенная выразительность, которые доступны в общеупотребительном языке лишь действительно творчески одаренным людям" [Ammann 1961: 41]. Приводя в пример Ф. Шиллера, который никогда не отрецивался от своего родного швабского диалекта и не стремился говорить на "чистом" немецком языке, Амманн называет в качестве примечательной черты своего времени то, что "лишь немногие из образованных людей осознают, что замена диалекта "чистым немецким языком" даже в повседневном общении, в семейном кругу означает расхищение лучшего и сущностного в нашем народе, который должен быть многолик, как наша родная земля и наши жизненные условия, и должен таковым остаться" [Ammann 1961: 41].

В этой связи Амманн требовал переориентации школы на изменение негативного, издевательского отношения к диалектам как "неверному", "испорченному" языку. Учителям пристало, по его мнению, знать местный диалект, чтобы обращать внимание учащихся на систематические различия между их диалектом и общеупотребительным языком. При этом, конечно же, сложно советовать, что делать учителю, приехавшему в эту местность из другой местности, а также – что делать с учеником, переведенным в эту школу из другого диалектного региона. Однако в целом использование диалекта должно облегчить решение нескольких дидактических задач, в частности, преподавания лексики и грамматики литературного языка, для объяснения которой имеет смысл отталкиваться от особенностей местного диалекта. Правда, и здесь Амманн считает необходимым подготовить учителя, предоставив ему перечень наиболее употребительных диалектных выражений и грамматических парадигм в сравнении с литературным языком для использования на уроке. Для некоторых регионов составление подобных справочников по грамматике может вызвать особые трудности, как, например, для многочисленных местных говоров Бадена, отличающихся собственными грамматическими чертами в каждом случае.

Важно, что Амманн признает необходимым разрешать учащимся сначала формулировать мысли на диалекте и затем при помощи учителя переводить их на литературный язык и, наоборот, учиться пересказывать литературные тексты на диалекте. Само собой разумеется и привлечение "добротной диалектной литературы" [Ammann 1961: 45]. В старших классах Амманн предлагает ввести преподавание основ диалектологии и диалектографии, исторических процессов складывания диалектной ситуации в Германии и в данном регионе, а также привлекать учащихся к сравнению собственного диалекта с соседними и средневерхненемецким, побуждать их к сбору диалектного языкового материала. Чрезвычайно существенно стремление привлечь молодежь к культуривированию диалекта, сбору диалектного материала (см., к примеру, описание подобных мероприятий в [Baumgärtner 1996]). Проблема взаимосвязи школы и диалекта разрабатывалась также в трудах [Ammon 1973; Ammon, Cheshire 1989; Hoerdts 1926; Böhm 1984; Macha 1981].

Таким образом, в трудах представителей неогумбольдтианского направления и его последователей были обоснованы не только принципы идиоэтнического подхода к языку, но и возможности распространения этого подхода на некоторые разновидности языка, имеющие "естественный" характер и соучаствующие в создании общей картины мира данного языкового сообщества. Наиболее ярким примером таких разновидностей языка являются территориальные диалекты.

## 2. Характерология диалекта как социолингвистической категории

Если исходить из существования единой понятийной картины мира у носителей конкретного языка, то существование такого единообразия покажется возможным лишь в языковом сообществе, не разделенном на многочисленные социально-территориальные микрогруппы, пользующиеся своими кодами познания и общения. Такая ситуация возможна принципиально лишь в сравнительно немногочисленных и сплоченных языковых коллективах носителей единого литературного языка.

Однако реальность бытия языковых коллективов часто обнаруживает замечательное разнообразие вариантов и вариаций литературной нормы, различающихся скрытой в их лексическом запасе точкой зрения на мир, закодированным в социолектах углом зрения, под которым реальность представляется несколько иной, модифицированной, по сравнению с языковой нормой. И поскольку эта норма складывается, как правило, гораздо позже социолектов, то и их возраст, и их гносеологический ракурс заслуживают особенного внимания тех исследователей, которые стремятся фактическим материалом доказать тезис об идиоэтничности познания.

Язык ныне нередко определяется, с социолингвистической точки зрения, как "совокупность диалектов, каждый из которых понятен носителям другого (intelligible)" [Chambers, Trudgill 1998: 3]. В таком случае язык выступает как инклюзивное понятие, указывая на существование различных вариаций. Диалект определяется в современной лингвистике как специфическая языковая система, которая: 1) "обладает высокой степенью сходства с другими языковыми системами, так что становится возможным – во всяком случае отчасти – взаимопонимание"; 2) "имеет региональную привязку в том смысле, что региональное распространение этой системы не пересекается с областью использования другой языковой системы"; 3) "не обладает письменной формой либо стандартизацией в смысле официально нормированных орфографических и грамматических правил" [Вуфманн 1983: 177]. Относительно первого параметра отметим, что достаточно распространены случаи, когда между двумя географически отдаленными диалектами не существует отношений взаимной понятности. Последний же параметр и вовсе не выдерживает критики: наряду с ненормированными, существуют и нормированные диалекты, например, мексиканский и кастильский диалекты испанского языка. В данном случае, правда, может вполне идти речь о начале формирования национального варианта или самостоятельного языка.

Существуют и попытки определить диалект квантитативно: по мнению М. Сведеша, диалектом можно считать разновидность языка, в которой имеется 81% и более словаря общего с общепотребительным языком; в противном случае речь идет о двух разных языках [Кноблех 1986: 592].

В отечественном языкознании диалект толкуется довольно широко: это разновидность данного языка, употребляемая в качестве средства общения лицами, связанными тесной территориальной, социальной или профессиональной общностью [ЛЭС 1998: 132]. Территориальный диалект, являясь частью конкретного языка или другого диалекта, обладает особенностями в звуковом строе, грамматике, словообразовании, лексике; это "разновидность языка, служащая средством общения местных жителей на определенной территории и характеризующаяся относительным единством языковой системы" [Филичева 1983: 7]. Помимо лингвистических критериев, для определения понятия "диалект" используются топографический (горы и реки как естественные границы диалектного ареала), локальный (месторасположение вблизи от важных коммуникаций), политический и религиозный критерии (взаимосвязь истории становления диалекта с политической историей диалектного сообщества и его конфессиональными особенностями), а также социально-психологический (этническое самосознание, самооценка и оценка соседей), историко-культурный и пр.

Диалект обладает "незначительным диапазоном его коммуникативных функций в обществе", ограниченным семейно-интимной сферой, повседневным общением в небольших территориальных коллективах, устной формой существования [Филичева

1983: 48]. Дialeкт не обладает стилевым многообразием при небольшой стилевой дифференциации. Ему не свойственны сознательная обработанность, регламентация и кодификация. В структурном отношении диалекты характеризует спонтанность речи, проявляющаяся в преобладании сочинительной связи над подчинительной. Территориальный диалект рассматривается как средство общения населения исторически сложившейся области со специфическими этнографическими особенностями, определяемой совокупностью изоглосс и изопрагм [ЛЭС 1998: 133]. Изоглоссы лишь в идеальном случае представляют собой плавные линии, четко разделяющие различные районы одного ареала по определенному (как правило, фонетическому) признаку; гораздо чаще встречаются хаотические пересечения изоглосс в тех ареалах, которые обнаруживают древнюю историю этнических перемещений. Нередки и переходные зоны между зонами чистых диалектов, в которых диалектные особенности перемешаны, особенно в тех случаях, когда регион был заселен лишь один или два столетия назад. Наконец, существуют и реликтовые области, в которых преобладают определенные диалектные черты, однако данные ареалы разделены областями, в которых преобладает некая более поздняя черта данного диалекта [Chambers, Trudgill 1998: 89–103]. Для всех диалектов одного языка, таким образом, постулируется как реально существующий феномен *диалектный географический континуум*, в котором между крайними точками обязательно существуют переходные ступени в виде других диалектов. Не используя самого термина, об этом явлении говорил еще Ф. де Соссюр [Соссюр 1977: 236].

Трактовка диалекта как разновидности литературного или общеупотребительного языка стала общим местом лингвистики. Однако она не разделялась, к примеру, Э. Сепиром, потому что "подавляющее большинство так называемых диалектов – это просто регулярно развивавшиеся в разных направлениях более ранние формы речи, предшествовавшие засвидетельствованным языкам" [Сепир 1993: 217]. Сепир полагал: "Если в одно и то же время функционируют явно близкие формы речи, лингвист никогда не скажет, что одна из них представляет собой диалект другой, а лишь только то, что они в равной степени являются диалектами одного общего прототипа, известного или гипотетически восстановленного" [Сепир 1993: 216]. В таком понимании диалектами общеславянского языка являются для Сепира русский, польский, чешский, болгарский и сербский, "которые условно считаются отдельными языками из-за наличия соответствующих национальных образований" [Сепир 1993: 216]. Возникновение литературного языка рисуется Сепиру как порождение волюнтаризма, присваивающего одному из диалектов статус нормативного образования: "Этот принятый всеми местный диалект становится символом культурных ценностей и распространяется в ущерб другим местным формам речи. Словарь, форма и, в конце концов, произношение становятся все более и более обязательными. Говорящие на местных диалектах начинают стесняться своих специфических речевых форм, поскольку последние лишены престижной значимости стандартизованного языка; и в конце концов создается иллюзия существования основного языка, обслуживающего обширную область, являющуюся территорией проживания нации или национальности, и множества местных форм речи как некультурных и испорченных вариантов основной нормы" [Сепир 1993: 218]. Кстати, проблема престижности диалекта, поднятая Сепиром, получила свое дальнейшее освещение в диалектологии конца XX века [Surek-Clark 2000].

Практически одновременно с Сепиром ту же мысль высказывал и Ф. де Соссюр, анализируя современную ему ситуацию в начале XX века: "Литературный язык не торжествует сразу же на всей территории, так что значительная часть населения оказывается двуязычной, говоря одновременно и на общем языке, и на местном наречии. Такая картина до сих пор наблюдается во многих областях Франции, как, например, в Савойе, где французский язык... еще не вытеснил окончательно местное наречие. Подобное же явление замечается в Германии и в Италии, где всюду диалекты сохраняются рядом с официальным языком" [Соссюр 1977: 231]. Подобное же явление Соссюр отмечает как характерную черту языковой ситуации в античной Греции и древ-

нем Вавилоне. При этом Соссюр ввел в свои рассуждения важное ограничение: картина восхождения одного из диалектов в ранг общего языка возможна лишь в ситуации территориальной неразобченности этнического коллектива. В случае же, если какой-либо диалект развивается до статуса языка в полной географической изоляции от родственных ему языков, он позднее подвергается дроблению на диалекты, сохраняющие его черты [Соссюр 1977: 249].

Сепир отмечает в качестве важного положительного качества консервативность диалектов, успешно сопротивлявшихся тенденциям к стандартизации на протяжении веков. Однако он сомневается в конечной победе языкового локализма в связи с ростом прагматизма и реализма в сфере деятельности человека и возрастания концептуальности и нормативности в сфере мышления, поэтому "мы можем с полным основанием рассматривать... попытки спасти от культурного вымирания языка и диалекты меньшинств как нечто вроде небольших завихрений в общем могучем потоке стандартизации речи, который начался на исходе средневековья" [Сепир 1993: 221]. Какой тонкой ни показалась бы нам такая трактовка, она все же не оригинальна. Еще К. Бругманн в 1909 г. указывал на то, что, с точки зрения истории языка, диалект есть любой язык по отношению к другому языку.

Опираясь на содержательно-ориентированное истолкование феномена диалекта, можно определить территориальные диалекты как *естественно сложившиеся и развивающиеся в рамках общего языкового пространства ареальные социолекты, обладающие особой вариативностью в терминологическом оформлении действительности*. В таком понимании любой диалект обладает живой, естественной основой, близостью к природным и бытовым особенностям жизни небольшой группы носителей этого специфического варианта языка. В условиях диалекта возможно полноценное формирование языковой личности, естественно, лишь при том условии, что данная личность навсегда останется в диалектном ареале и будет заниматься той практической деятельностью, которая определена условиями бытия его группы и терминологически зафиксирована в картине мира его диалекта. Это же качество отличает диалект от жаргонов, профессиональных языков и пр.

Более того, можно с уверенностью говорить о том, что диалектная среда оказывает собственное воздействие на характер речевых умений носителя диалекта: "Гиперболизация и преуменьшение, вуалирование высказывания и неожиданное разрешение ситуации, юмор и шутка используются с большой ловкостью даже носителями диалекта с обычными языковыми способностями, как об этом можно судить по магнитофонным записям спонтанных бесед. Искусные рассказчики, которых очень ценят в языковом коллективе, достигают при этом удивительных результатов языкового творчества, причем им весьма способствует в этом сохранившийся в диалектном лексическом поле кладезь отчеканенных оборотов" [Rosenkranz 1967: 664]. Все вышесказанное целиком применимо к ситуации в немецком языковом пространстве, где существование диалектов не окрашено, за некоторыми исключениями, пейоративно и не является просто реликтом культурной парцелляции Германии, а воспринимается носителями языка и диалекта как специфическое отличие представителей различных областей страны, составляющее предмет гордости и уважения.

Диалект рассматривается как синтопичный объект, т.е. "такой фрагмент языка, внутривидовые характеристики которого представляются единственными и специфическими по отношению к другим фрагментам того же языка" [Степанов 1976: 62]. Важно отметить, что диалект, равно как и другие формы устной речи литературного языка, стали особым предметом рассмотрения в лингвистических исследованиях XX столетия [Семенюк 1999]. Так, в 60-х гг. прошлого века формируется социально-диалектологическое направление, ставящее перед собой задачи: а) исследовать распределение диалекта между различными слоями общества, причем в традиции теории Б. Бернстена диалект понимается как "укороченный код" общения низших слоев общества, степень укороченности которого измерялась в зависимости от степени сложности синтаксиса и размеров грамматической и лексической вариативности, в связи с этим

Бернстин считал диалекты более предсказуемыми, менее сложными и "дефицитарными" по масштабам нормативного языка среднего слоя ("дефицитарная гипотеза") и б) исследовать социальные условия языковой вариативности и эволюции языка (в традиции У. Лабова диалект воспринимался как отличная от стандарта языковая вариация со своими закономерностями и возможностями выражения – "дифференциальная гипотеза"; в традиции 60-х гг. Дж. Гамперца и Дж. Фишмена диалект рассматривается как элемент специфической диглоссии в данном ареале) ; в) определить коммуникативные функции использования различных вариаций языка в устной речи (в частности, в предложенной в 70-х гг. "теории контекстуализации" Дж. Гамперца и Дж. Кук-Гамперца). Подобная коммуникативная направленность американской диалектологии и диалектографии позволила определить более частные качества диалектов, но все же не предоставила в распоряжение диалектолога верные критерии для классификации и типологизации диалектов.

В конце прошлого столетия отмечено появление нового направления в диалектологии – *перцептуальной диалектологии*, которая исследует, что обычные люди думают относительно дистрибуции языковых вариаций в своем языковом сообществе, а также и в других сообществах, как простые люди относятся к диалектам. Перцептуальная диалектология носит, таким образом, характер "народной лингвистики", поскольку она обращается за эмпирическими сведениями не к лингвистам, а к "человеку с улицы" [Preston 2001].

### 3. Компоненты диалектной картины мира

Под *картиной мира диалекта* мы понимаем присущее данному диалекту как подсистеме конкретного языка определенное устройство системы понятий, отражающее специфические пути освоения окружающего мира коллективом носителей данного диалекта [Закуткина 2001]. К картине мира относятся также присущие данной диалектной системе фразеологические и синтагматические ресурсы, позволяющие создавать устные и письменные тексты на данном диалекте. Из всех этих ресурсов лишь синтаксические модели диалекта представляются не вполне показательными для характеристики концептуализации в рамках диалекта, поскольку они зачастую представляют собой усеченный набор подобных ресурсов общеупотребительного языка. Помимо лексического уровня, большой интерес представляют идиоматические средства и словообразовательные возможности диалекта [Вендина 1998]. Диалекты обладают, таким образом, особой "концептосферой" (в терминологии Д.С. Лихачева), являясь сжатым выражением всей культуры диалектного сообщества, включая не только собственно понятийный фонд диалекта, но и культурные концепты. Концептосфера диалекта тем богаче, чем богаче культура диалектного сообщества, его фольклор, его исторический опыт.

Основной особенностью диалектной картины мира признается существование такого особого разряда слов, как *диалектизмы*: фонетические, грамматические, словообразовательные, лексические, в числе которых выделяются *этнографизмы* (названия местных бытовых реалий, не имеющие параллелей в литературном языке), *собственно лексические диалектизмы* (локальные синонимы общеупотребительной лексики), *семантические диалектизмы* (своего рода омонимы к общеупотребительной лексике). В испанской диалектографии принято также выделять *провинциализмы* (языковые явления более широкого территориального охвата, чем ограниченный ареал обычного диалекта), *локализмы* или *географические партикуляризмы* (категория слов, распространенных как в одном приходе, так и на более обширных территориях) [Степанов 1976: 98]. Если диалектизмы носят аффективный характер, то, согласно установленной еще в 1913 г. гипотезе Э. Тапполе, их разнообразие намного превышает разнообразие предметных обозначений, однако сфера распространения аффективной лексики весьма узка; более того, если она увеличивается, то это, как правило, сопровождается потерей аффективной ценности такой диалектной единицы. Подобной лексике не присуща синонимия, даже если их семантика сопоставима, так как они используются различными

языковыми коллективами и понятны только их членам (ср., например, *nocken, nuzeln, sunseln, nätzen, säumern*, означающие "дремать" и использующиеся в различных местностях Тюрингии). От подобных локальных слов следует отличать *территориальные синонимы*, понятные всем носителям диалекта, хотя и различающиеся по своей частотности в разных местностях. Правда, и такие синонимы вполне в соответствии с законом языковой экономии не сосуществуют как семантические близнецы, а вырабатывают некоторые дифференциальные оттенки и коннотации (как, например, *hinlegen* и *umlegen*, различающиеся в тюрингском диалекте по месту отдыха – в постели или в кресле и т.п.).

Основным лингвогносеологическим отличием диалекта от других, родственных, диалектов представляется именно характер понятийной системности, отражающийся в лексиконе данного диалекта. То, что мы обнаруживаем в системе взаимосвязанных средств диалекта, есть не что иное, как "гносеологические следы", тропы познания, веки освоения окружающего мира, своего рода "когнитивные линзы", позволяющие видеть окружающее в таком свете и не иначе. Однако и языковая категоризация мира может быть охарактеризована точно так же, и она предлагает своим носителям специфический взгляд на мир. В чем же отличие?

Известный немецкий диалектолог Ф. Штро полагал, что разница между языковой и диалектной категоризацией мира заключается в принципах отбора сфер познания и в "ячеистости" той сетки, которую мы набрасываем на мир, когда пытаемся его осмыслить (символ принадлежит Й. Триру). Помимо этого, он выделяет в качестве характерных черт диалекта "зависящие от особых жизненных взаимосвязей данной группы и ограниченные ими предметные сферы этого мира народного языка; своеобразие и особенный чекан форм его видения мира; его незначительное содержательное совпадение с понятийными родственниками общепотребительного языка; его избранные и построенные по своеобразным принципам и масштабам оценок языковые содержания и понятийные классификации; его связь с предметами и жизнью; его непосредственное прикосновение к предметам и погружение в чувственно-конкретное явление, результатом чего является сравнительно необычное богатство языковых знаков, так что этот язык рисует в красках то, что литературный язык представляет лишь в общих очертаниях" [Stroh 1931–1932: 247].

Это *парцеллирование объектов концептуализации* можно проиллюстрировать количественными данными. Так, в диалекте Наунштадта Ф. Штро вычленяет целый ряд бытовых сфер, которые осмыслены и в литературном языке, однако дробность понятий в нем гораздо меньше, чем в диалекте, хотя часть словаря их и перекрывается. Так, понятие "лошадь" представлено в литературном языке половыми и возрастными обозначениями, в то время как в диалекте Наунштадта подобное членение выглядит гораздо более дробным [Stroh 1934: 294]. Для концепта "лошадь" в этом деревенском говоре используются *Gaul* (старая), *Hengst* (жеребец), *Wallach* (кастрированный жеребец), *Stute* (кобыла), *Füll* (маленький жеребенок), *Schirrling* (однолетка, двухлетка), *Huß, Hüß, Kracken, Klepper, Schirrach* (больной), *Massik* (буйный), *Bisser* (кусачий), *Schmisser* (лягающийся), *Kollerer* (больной колером, бешенством), *Fuchs* (рыже-коричневой масти), *Schimmel* (белой масти), *rossig* (беременная) и пр. Элементы этой предметной группы отличаются от соответствующих средств литературного языка большей детализацией, связанной с характером, состоянием, здоровьем, возрастом животных.

Для концепта "крупный рогатый скот" в гессенских говорах используются следующие обозначения: *Ochse* (бык), *Stier* (кастрированный), *Lüpper* (кастрированный), *Kuh* (корова), *Kalbin* (корова, понесшая впервые), *Rind* (теленок), *Kalb* (теленок), *Scheckel, Schappel, Scherbel, Sprieze* (старое, большое животное), *Brüller* (большое венерическими заболеваниями, поэтому "громко мычащее"), *Schecke, Blässe* (пятнистое животное), *Fuchs* (рыже-коричневое), *Rote* (рыжее), *Braune* (коричневое), *Schimmel* (белое), *Muh, Heinzchen* (корова в детской речи) и т.п. Любопытно здесь использование отчасти тех же обозначений мастей, которые мы встретили в предметной группе обозначения лошади, что свидетельствует об отсутствии их четкой денотативной привязки.

Для свиньи в этом диалекте были зафиксированы следующие обозначения: *Watz* (хряк), *Barch*, *Beetz* (кастрированный), *Mucke* (молодая свинья, предназначенная для спаривания) *Sau* (взрослая свинья, а также кастрированный боров), *Ferkel* (поросенок), *Schößling* (полуголовальный), *Sprenger* (молодняк), *Wutz* (в детской речи, а также апеллятив). В западно-мюнстерландском диалекте отмечены более 50 обозначений для 'домашней свиньи' в зависимости от пола, веса, фазы выращивания, цели выращивания и использования, возраста кастрации и пр. [Dobrovolskiy, Rigaipen 1992: 140].

Эту же особенность обнаруживаем и в отношении предметов сельскохозяйственного труда, видов зерновых [Радченко 1997, 1: 286] Примечательным является отсутствие обобщающих понятий, например, "лошадь как таковая", "сноп как таковой", "колос как таковой". Вместе с тем, каждый вид подобных понятий оформлен отдельной языковой единицей, что позволяет полагать, что данная номинация проводилась с учетом реальной практической потребности носителей диалекта, ориентировалась на необходимость понятийного вычленения именно этого феномена, его дискретного формирования внутри системы родственных феноменов.

Только такой необходимостью можно объяснить кажущуюся понятийную избыточность диалекта Нассау, в котором используются 20 выражений для понятия "есть, кушать", 13 – для "головы", 12 – для "рта" и т.д., или более 1600 выражений для "женщины" в швейцарских диалектах (см. также [Кузьмич 1980]). В диалекте Науштадта существуют 40 обозначений концепта "совершать телесное наказание", 29 – "говорить" 28 – "идти", 23 – "удар" и "порицать", 20 – "кушать, есть", 17 – "неуклюжий человек". обманывать, 'работать', 16 – "мучить", 13 – для обозначения "головы", "толпы", 12 – для "рта", 11 – для "шума", "упрямого", "ныть", "убежать", "скрыться", 10 – для "пьяного" и "лгать, пускать пыль в глаза", 9 – для "водки" и "смеяться", 8 – для "тюрьмы", "сосуда", "очень", "идет дождь", "зря растратить", 7 – для "опьянение", "мочиться", 'браниться', "разбивать, разрушать", 6 – для "холма", "дождя", "воровать", молчать", 5 – для "лакомиться", 4 – для "умирать" [Stroh 1930: 126]. В тюрингском диалекте насчитывали до 100 обозначений для "быть пьяным" и примерно столько же – для драться" [Rosenkranz 1967 666].

Подобную *изолирующую номинацию* Ф. Штро предполагает и на древних ступенях верхненемецкого. К примеру, в древневерхненемецком для номинации лошади использовались такие параметры, как пол, предназначение (для битвы, перевозок и пр.), способ выращивания, кастрация, цвет, происхождение (из Галлии или других мест), вид бега. В средневерхненемецком также обнаруживаются обозначения лошади, ориентирующиеся на пол, кастрацию, возраст, а также комбинацию этих признаков [Stroh 1930: 122]. Поскольку эти обозначения почерпнуты из литературных источников, а устный материал нам не известен, то можно предположить, что обозначения лошадей в древневерхненемецком и средневерхненемецком были несравненно более дифференцированными и тонкими, чем в немецких диалектах. Подобная номинация отмечалась и исследователями экзотических языков, в частности, Ф. Боасом и К. Леви-Брюлем.

Примеры изолирующей номинации Штро находит и в обозначениях различных видов "снопа" (само же обобщенное обозначение в диалектах Таунуса отсутствует) – *Sichling* (пшеницы), *Boßen* (льна), *Bausch* (солоты), *Stroher* (неуложенной солоты), а также "колоса": *Kloppel* (пшеницы), *Schnate* (овса). Эти предметные группы представляют значительную трудность в их содержательной интерпретации, поскольку, как об этом свидетельствуют и исследования Ф. Штро, эта интерпретация базируется на этимологическом анализе с привлечением древневерхненемецкого и средневерхненемецкого материала.

Из аграрных предметных групп большой интерес представляют архаичные *единицы мер и весов*, сохранившие в немецких диалектах свою денотативную привязку: *Fuder* (60 снопов), *Klafter* (охапка дров), *Elle* (локоть ткани), *Lot* (лот ниток), *Morgen* (0,25 га земли), *Mandel* (15 яиц или снопов), *Stuege* (20 штук), *Stunde Wegs* (час ходьбы), *Malter* (мальтер зерна), *Meste* (12,4 кг ржи или пшеницы или 9 кг овса), *Sechter* (четверик), *Kumpf* (миска, чашка) и пр. [Stroh 1930: 124]. В баварском диалекте используются следу-



ющие специальные обозначения мер для одного из символов местной культуры: *Quarddl* (250 г пива), *Haiwe* (500 г пива), *Maß* (до литра пива) [Kolbl 1997: 85], которые, правда, легко поддаются дешифровке, поскольку образованы путем деления "мерки" пива на четверть и половину с сохранением этих обозначений.

Весьма интересна двойная номинация одного и того же денотата в зависимости от его использования: так, в гессенских говорах картофель обозначается двумя словами в зависимости от того, когда его едят: *Kartoffele* (по воскресеньям), *Krumbeere* (в обычные дни) [Stroh 1930: 126]. Одно и то же состояние может быть обозначено в диалекте Наунштадта по-разному в зависимости от животного, например, "беременный": *rossig* (о кобыле), *ochsig* (о корове), *starnig* (об овце), *katerig* (о кошке), *bockig* (о козе), *rollig* (о свинье), *laufdig* (о собаке и зайчике)

Следующей особенностью диалектной категоризации мира можно считать эмоциональную окрашенность номинации, непереносимое наличие в ней субъективных элементов, пейоративности, "пессимизма", который является, по мнению известного немецкого диалектолога А. Баха, непереносимой чертой любого немецкого диалекта. Так, концепт "женщины" представлен в говоре Наунштадта более чем 200 обозначениями с отрицательной коннотацией, среди них: 11% для "грязнули", 8,5% – для "дуры", 6% – для "болтливого" и пр. Для "мужчины" используется свыше 400 подобных обозначений. Таким образом, прав А. Бах, утверждавший: "Народ хвалит неохотно, популярнее – порицание и критика. Боль, гнев, злость и насмешка отражаются в словаре и ведут к подбору все новых и новых оборотов" [Bach 1934: 293].

В сфере антропоцентрической лексики аффективные выражения являются маркерами непринужденной беседы между носителями диалектов. Одна из групп таких выражений оказывается чрезвычайно детально "разработанной" в различных немецких диалектах – это смысловая сфера аффективной реакции неприятия ("Ты что, с ума сошел?"). Эта реакция обнаруживает особенное богатство метонимического переноса и метафоризации в Цюрихском говоре: *Hasch es Lüde?* (Ты чем-то страдаешь?), *Schaffsch am Sunntig?* (Ты что, работаешь по воскресеньям?), *Spinnisch?* (Прядешь = С ума сошел?), *Häsch en Vogel?* (У тебя птичка, т.е. не все дома?) и еще более усиленное *Häsch e Vogelzucht uftaa?* (Ты что, открыл у себя птичник?), *Hasch en Flade?* (У тебя коровий помет?), *Hasch en Floo?* (У тебя блоха?), *Hasch en Sprung ide Schussle?* (У тебя что, миска треснула?), *Häsch en Tagg?* *Bisch tiggtagg?* (У тебя часы испортились?), *Hasch en waarms Jogurt im Hosesack?* (У тебя что, теплый йогурт в кармане?), *Hats der is Hirn gschneit?* (Тебе в мозг снег напал?), *Bisch dure bi root?* (Ты что, перешел на красный свет?), *Bisch weich?* *Bisch bureweich?* (У тебя размягчение (мозга)?), *Hasch en Knall?* (У тебя выстрелило?), *Bisch Hugo?* (Тебя зовут Гуго?), *Bisch psucho?* (Ты что, псих?), *Bisch schizo?* (Ты шизик?), *Bisch nod ganz bache?* (Ты что, не совсем пропекся?), *Bisch nod ganz piip?* (Не в себе?), *Bisch vollmorsch?* (Прогнил совсем, что-ли?), *Bisch nod ganz hundert?* (Не на все сто нормальный?), *Bisch nünenunzg?* (У тебя в чем-то недостача?), *Bisch gstöpslet?* (Закоротило?), *Gspursch de Foon?* (Чувствуешь южный ветер?), *Spucksch bi dir?* (В голове привидения?), *Hasch en Dachschade?* (Крыша порохудилась?), *Hasch e Pause?* (У тебя перерыв?), *Bisch dure im Programm?* (В программе ошибка?), *Verzell vo dem Unfall!* (Расскажи о своей аварии!), *Da chnusch Vogel über!* (Поцелуй птичек!) [Imhof 1995: 76–77]. В этой эмоциональной сфере мы обнаруживаем не просто желание обидеть, задеть собеседника оригинальным способом, а каталог нежелательных для носителя диалекта событий, невероятных происшествий, в котором просматриваются аналогии с сельскохозяйственными процессами, ремеслами, а также (поскольку мы имеем дело с городским полудиалектом) ощущается влияние терминологии технической сферы, медицины.

В кельнском полудиалекте также находим аналогии с часами, птичником, нарушениями и дефектами, но есть и своеобразные приемы: *Da hat der Kopp op halver ilt sitze* (У него голова на половину одиннадцатого), *Demm lauft ein Radchen um Kopf herum* (У него в голове бегают колесико), *Do hass ene Ratsch im Kappes* (У тебя щель в башке), *Do hass se nummie all op der Latz* (У тебя они уже не все на жердочке), *Demm kutt de Ver-*

*stand wie dem As de Millisch* (у него мысли появляются, как у быка молоко), *Do biss esu inteljent wie e Toosbrut vum Aldi!* (Ты такой же умный, как батон из магазина "Алди!") [Thiergart 1996: 99].

Наконец, в саксонском диалекте своеобразие приемов также невелико: *Du hasd ja ä Gnall!* (а *Glabbs!* (У тебя выстрелило/щелкнуло!), *Du hast ja ä Bieb!* (У тебя пищит!), *Bei dihr biebds wahl?* (У тебя пищит что ли?), *Bei dihr gommse wo? Bei dihr boomds wo?* (У тебя не все в порядке?), *Du hasd ja ä Digg!* (У тебя тик!), *Du hasdse wo nich alle!* (У тебя не все!), *Du hasd wo ä Forrds gefriehschdiggd!* (Ты съел испорченный воздух на завтрак!).

Таким образом, диалект намного более внимательно фиксирует собственную ценность каждого субъективного оттенка в освоении окружающего мира, придавая особый, уникальный характер каждому фрагменту духовного освоения окружающей действительности (*geistüger Zugriff*).

*Второстепенная роль абстрактного в диалекте* выражается в том, что, к примеру, в локальных диалектах немецких деревень абстрактная лексика остается в пределах 10% имен существительных, например, в диалекте Кроненберга 4260 конкретных и 210 абстрактных имен существительных, в диалекте Оберэллиенбаха – соответственно 3910 и 390 [Bach 1934: 302]. Причем, в тех случаях, когда количество абстрактных имен существительных превышает это соотношение, речь идет о переведенных на диалект словарных единицах общеупотребительного языка. Диалект, конечно, способен выразить абстрактные идеи конкретными средствами.

Интересно, что здесь мы наблюдаем прямую параллель между диалектной лексической системой и картиной мира в языках примитивных народов: «В словаре они содержат богатые обозначения для различных форм, в особенности форм использования одного и того же вида растений или его частей, например, кокосового ореха и т.п., в то время как простейшие абстракции, слова "животное", "растение" вообще отсутствуют» [Graebner 1924: 72]. Это позволяет проводить некоторые параллели, но не отождествлять особенности картины мира диалектоносителей с картиной мира носителей примитивного языка. В целом же справедлива оценка Х. Розенкранца: "Народный язык никогда не нацелен на абстракцию, но всегда связан с изменчивыми содержаниями представлений и эмоций. Но, прежде всего, его понятийная система схватывает действительность не так, как она выглядит на самом деле, а так, как она представляется с точки зрения языкового сообщества. Поэтому, к примеру, в народной ботанике особенное обозначение получают только те растения, которые важны как полезные или вредные для сообщества, в то время как прочие объединяются под обобщенными названиями... С другой стороны, один и тот же говор располагает несколькими названиями для одного и того же растения, если оно значимо в нескольких отношениях" [Rosenkranz 1967: 664]. Так, одуванчик в одной и той же местности (Штайнах, Тюрингия) пейоративно обозначается как *Läuseblume* (блошиный цветок), поскольку, разрастаясь, он вытесняет на лугу кормовую траву, в то время как с другой стороны, его как *Milchstücke* (молочные стебли) ценят как популярный корм для кроликов. Наконец, дети мастерают весной из полых стеблей этого *Kettenblume* (цепочного цветка) ожерелья, а из спрессованных стеблей этой *Brummer* (гуделки) – пищалки, в то время как позже они сдувают созревшие шапки этих *Lichter* (огоньков) и *Laternen* (фонарей).

Исследователям диалектов бросается в глаза закрепленная в устойчивых оборотах склонность диалекта к преувеличениям (пессимизм диалекта). Так, в своих исследованиях обозначений "ума" и "глупости" в диалекте Дрольсхагена А. Мор установил, что в общеупотребительном языке в четыре раза больше обозначений для понятия "умный", чем в этом диалекте, но всего лишь в два раза больше обозначений для понятия "глупый". Иными словами, "диалект обладает наибольшим количеством выражений, когда речь идет о назывании негативных качеств ума" [Bach 1950: 275].

Конечно, это качество присуще и разговорной речи как таковой, но в ограниченной сфере диалекта оно проявляется гораздо более зримо. Эти особенности диалекта "находятся в явной связи со степенью взаимосвязи языка и реальной, конкретной жизни.

с силой непосредственной духовной переработки экзистенциального пространства" [Weisgerber 1956: 9]. Поэтому ранние представления о наличии особых качеств у носителей диалектов, сходных с качествами аборигенов, были отвергнуты в 50-х гг., и, напротив, было дано иное объяснение многим особенностям диалектной картины мира. В частности, пессимизм диалекта проистекает не из общего негативного настроения носителей диалектов, а из "острого взора относительно того, что отклоняется от нормы, который в более тесном экзистенциальном сообществе, естественно, является более острым, чем в масштабах общепотребительного языка" [Weisgerber 1956: 10].

С этим качеством связана и важная стилистическая характеристика диалекта – его склонность к грубоватому, фамильярному, а зачастую и вульгарному, с точки зрения стилиста-носителя литературного языка, способу выражения. Однако для диалектного сообщества выбор этого нормативного регистра связан не с какой-либо склонностью к бранной лексике, а с самой сущностью фамильярной лексики – ее способностью "создавать доверительную атмосферу, чувство бытия среди своих, устранять барьеры и связывать собеседников", причем среди этой лексики можно выделить фамильярно-усилительные выражения, прежде всего, крепкое словцо и огромное количество сравнений, подразумевающих, помимо прочего, желание говорящего понаравиться собеседнику [Rosenkranz 1967: 664].

Поскольку с течением времени образность и свежесть подобных выражений стираются, происходит вытеснение этих выражений более образными и свежими словами с большей аффективной нагрузкой. Однако не следует полагать, что диалектная лексика – это совокупность крепких выражений; ведь одной из особых сфер этой лексики является "язык кормилицы" (*Ammensprache*), очень своеобразный и красочный инструментальный общения с маленькими детьми.

Фамильярные и особенно вульгарные средства ограничены определенными ситуациями и даже определенными носителями диалекта, но все же объединять эти две группы средств в одну не стоит: фамильярная лексика носит в диалектном лексиконе характер "наивной грубости", она включает и такие единицы, которые в литературном языке имеют безусловную вульгарную маркировку и табуированы в повседневном общении. К примеру, слово *Arsch* (груб. "зад") не воспринимается носителями тюрингского диалекта как крепкое, вульгарное слово, относясь скорее к фамильярному регистру. Это слово используется крестьянином как обозначение для нижней части снопа, а работником на плоту – как название толстой части ствола дерева [Rosenkranz 1967: 665].

Излюбленным индивидуализирующим стилевым приемом диалектной речи является *сравнение с использованием указания на наглядный предмет*, например: *ein Gesicht wie drei Tage Regenwetter* "лицо как три дня непогоды" (говор Хоррвайлера), *wie wann der Teufel Erbsen darauf gedrescht hätte* "лицо, как будто черт на нем горох молотил" (говор Хайнштадта), *ein Augenmaß wie eine wilde Sau* "глаза узкие, как у дикой свиньи" (говор Фюрстенгрунд-Кенига), *ein Kotelett wie ein Abtrittsdeckel* "отбивная как крышка отхожего места" (говор Зиферсхайма), *ein Magen wie ein Zuchthaus* "живот как тюремное здание" (говоры Балькхаузена и Зиферсхайма), *Schuhe wie ein Geigenkasten* "башмаки как футляр для скрипки" (говор Эльмсхаузена), *ein Busen so glatt wie ein Bügelbrett* "грудь плоская, как гладильная доска" (говор Балькхаузена) и даже *Fuß-Numero kleiner wie ein Kindersarg* "размер обуви меньше, чем детский гробик" (говор Фюрстенгрунд-Кенига).

Любопытно, что в приводимом Ф. Штро списке нет ни одного выражения с положительной коннотацией, зато отрицательные дают прекрасное представление о способе номинации и этнической логике. Эти примеры позволяют определить, что является предметом исследования диалектной картины мира: не только показать многообразие и стилистическую окраску диалектной номинации в различных смысловых сферах, но и выявить направления духовных приемов освоения действительности, конкретные составляющие этнической логики, основу диалектной номинации.

Для решения этой задачи не менее показательна *гиперболизация* в эмоциональных выражениях, типа: *Ich schlage dir ins Genick, dass du Backsteine kotzt* "так дам тебе по шее, что тебя стошнит кирпичами" (говор Зиферсхайма), *dass du vor Pflingsten den Him-*

*mel nicht mehr siehst* что ты до Троицы неба не увидишь" (говор Зиферсхайма), *nicht mehr weißt, ob du ein Bubchen oder ein Mädchen bist* "что ты забудешь, какого ты пола" (говор южного Гессена) [Stroh 1930 135].

Фразеологические ресурсы диалекта также чрезвычайно богаты и могут рассматриваться как типичный случай метафоризации, поскольку всяческие мыслительные обобщения избегаются: *Er legt sich hinter einen grünen Zaun und wartet, bis er durr ist* "он ложится под зеленую изгородь и ждет, пока она засохнет", т. е. он не скоро получит ожидаемое наследство (говор Хилесхайма), *Was battet mir eine schöne Schussel, wenn nichts drin ist* "какой мне толк от красивой миски, если в ней пусто" – о бедной красавице на выданье (говор Бальтхаузена), *Wanns Schafchen blokt, versäumt's ein Maulchen voll* когда овечка блеет, она не успевает набить себе рот" – о детях, болтающих за столом (говор Зиферсхайма), *Sie verschneidet ein Bettuch und flickt eine Spullumpe damit* – "она разрезает простыню и латает ее кусками тряпку для мытья посуды" – о непрактичной экономности (говор Хайнштадта) [Stroh 1930: 136].

Весьма распространены *нарные фразеологизмы*, типа *alter Wein und junge Weiber sind die besten Zeitvertreiber* "старое вино и молодки – лучшее средство убить время" (говор Бальтхаузена), а также *парадоксально-ситуативные фразеологизмы*, построенные на эффекте контрдетерминации, например, *'s Haus verliert nicks, hott sall Fraa g'sad, da hott se'm Kind sein Strumpf im Sauerkraut g'funne* "В доме ничего не пропадает", – сказала женщина, найдя носок своего ребенка в кислой капусте (говор южного Гессена).

Образный характер носят и разнообразные *метафорические названия бытовых предметов частей тела продуктов питания* *Lausekafig* (клетка для блох = шляпа, говор Римхорна), *Fangeisen* (капкан = обручальное кольцо, говор Обер-Рамштадта), *der reinste Steinbruch* (сплошная каменоломня = плохие зубы, говор южного Гессена)

Элементом диалектного юмора являются различные *шутливые рифмовки и стихотворения*, исследование которых необходимо, поскольку оно позволяет в развернутом виде представить себе ситуации, понятные только тому, кто причастен к понятийному миру носителя данного диалекта

Для характеристики диалектов определенную роль играют, возможно, и *гендерные различия* в использовании фонетических, лексических и даже морфологических элементов. Гендерный фактор в картине мира немецких диалектов пока еще не исследован.

Наконец, важную роль в становлении и развитии лексической системы диалекта играет *религиозное обособление диалектного сообщества*, иногда дополняемое миграцией в другой языковой ареал. Подобный случай (диалект русских старообрядцев, переселившихся из Латвии на Житомирщину) исследовала Т. Леннгрен, проведя сравнение этого диалекта и говора населения Псковской области, соседней с исконным ареалом проживания данной группы старообрядцев.

Расхождения, выявленные Т. Леннгрен, касаются, прежде всего, систем обозначений предметов быта и построек:

дом – *изба поземная* (старообрядн.), *изба с подклетом* (нестарообрядн.);

пол – *зень* (старообрядн.), *мост* (нестарообрядн.);

подвал – *яма* (старообрядн.), *подмостье, подполье* (нестарообрядн.) и пр. [Lonngren 1997 1]

Но различия касаются и обрядов, и связанных с ними обозначений, действий, предметов. Так, в псковских говорах свадебный обряд строится по следующему сценарию: *вечорки – сговор – опрос – смотренье – знакомство – откладывать на думы – сватовство – дорогая кладка – поглядное – рукобитье – большой пропой – сговоренки – гостиницы дарить – приезд с отвесью – засидки – мылы дарить – пороги кричать – углы золотить – девичник – в баню вести – елочку наряжать – косу продавать – выть зарю – окружение, свадебный поезд – откупать на четыре угла – встать под венец – венчание – стращать молодых – расплетать косу, надевать повойник – сажать на шубы – байничек петь – продавать постель – раздевать мужа – баня – байник есть – княжой обед* [Lönngren 1997: 4]. В лексиконе старообрядцев свадебный обряд включает несколько отличную от первой схему *знакомство – сговор – вяхорки – кирмаш –*

увод – округление – расплетать косу, надевать повоинник – укрывание – повиновение – наказание – прощение – угощение [Lonngrén 1997 4].

Указанные основные отличия диалектной категоризации мира, конечно, не исчерпывают всего разнообразия подобных отличий. Раскрытие этого разнообразия продолжается вот уже более 70 лет как в германском языкознании (в различных проектах, которыми руководили неогумбольдтианцы), так и в отечественном языкознании. Предметом исследований становятся устойчивые словосочетания [Малыгин 1987; Коканина 1984], стилистические функции маркированной лексики диалекта [Крюкова 1983], словообразовательные ниши [Артемова 1981], обиходно-разговорные выражения [Буюклян 1990].

Сравнивая эти исследования с родственными проектами в области русской диалектологии, приходится констатировать, что тематика славистических исследований более конкретна, касается определенных предметных сфер быта диалектного сообщества, например, питания или форм рельефа местности (что напоминает о подобных исследованиях швейцарского диалекта в работах П. Цинзли). Соединение такой методики с широкой постановкой философской проблемы категоризации мира в немецких диалектах представляется чрезвычайно плодотворным в отечественном языкознании, в особенности, если такое сравнение дополнить данными русских диалектов.

Подобный характер диалекта как близкого к жизни и материальной культуре духовного освоения ограниченной экзистенциальной сферы в закрытом языковом мире обуславливает тот факт, что средства общепотребительного языка оказываются в данной сфере в значительной степени непригодными.

Исследование особенностей диалектной картины мира в связи с обрядами, поверьями, устным народным творчеством – характерное направление для русской диалектографии, культурологии и этнографии [Елеонская 1994; Меркулова 1994; Занозина 1991, Костромичева 1997]. Культурологические штудии сочетаются в таких работах с исследованием предметных групп слов, связанных с данными обрядами, поверьями [Ильинская 1998; Гришанова 1996], народной медициной [Меркулова 1975], народным календарем [Макаренко 1993].

Таким образом, диалектная картина мира содержит разнообразнейшие элементы, требующие детального изучения, с тем, чтобы из разрозненных фрагментов и замечаний об особости диалектного восприятия мира сложилось целостное представление о картине мира, присущей конкретному языковому коллективу. Такая постановка вопроса была бы интересна и с точки зрения того, какое место занимает диалектная категоризация мира в общезыковой картине мира, существуют ли предпосылки для обогащения этой картины мира за счет диалектного фонда и каковы перспективы работы в этом направлении. Подобная сравнительная когнитивная диалектография может стать существенным вкладом в осуществление мечты великого В. фон Гумбольдта: выявить понятийные тропы, которыми с разных сторон бредут к познанию объективной истины народы.

Не все диалекты обнаруживают одни и те же процессы деградации, нивелирования и т.п., и, напротив, некоторые из них переживают эпоху нормирования, культивирования. Однако в данном случае нет оснований для оптимистической оценки будущего таких диалектов. Наоборот, в данной ситуации становится наиболее очевидным фундаментальный парадокс диалекта: как только в его систему привносятся новые элементы, связанные с подведением его под некую норму, разрушается основное свойство каждого диалекта – его естественный рост; с другой стороны, отсутствие нормирования, другие социокультурные факторы, бытующие в современном обществе, ведут диалекты к постепенному вымиранию. Единственное, что могло бы спасти диалект от подобной ситуации – продолжение естественного процесса его развития, однако единственным условием этого могло бы стать сохранение диалектного сообщества как дес способной сплоченной, креативной группы людей, связанных естественными условиями сельской жизни. В современном мире подобное условие невыполнимо и нереально, поэтому единственно допустимой, очевидно, следует признать консервативную дея-

тельность диалектографа, сохраняющего для науки духовные ценности, заложенные в диалектной картине мира поколениями ее носителей. Не последнюю роль в этой ситуации играет и стремление носителей диалекта воспроизвести его картину мира и сохранить ее для передачи следующим поколениям диалектного сообщества.

Очевидно, что задачей *консервативной концептуальной диалектографии* является анализ диалектного лексикона для возможно более полной каталогизации тех духовных приемов, которыми пользовались и пользуются носители диалекта для перевода окружающей их природы, жизненных ситуаций в духовную собственность относительно небольшой группы земляков

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Артемова 1981 – В С *Артемова*. Особенности швейцарского варианта современного немецкого литературного языка (на уровне словообразования). Дис. ... канд. филол. наук Л., 1981.
- Булыгина, Шмелев 1997 – Т. В *Булыгина*, А. Д. *Шмелев*. Языковая концептуализация мира (на примере русской грамматики). М., 1997.
- Буюклян 1990 – М. Е *Буюклян*. Языковая структура и территориальные особенности лексики обиходно-разговорного языка (Баварский ареал). Дис. ... канд. филол. наук. Л., 1990.
- Вендина 1998 – Т. И *Вендина* Русская языковая картина мира сквозь призму словообразования (микрокосм) М. 1998.
- Гришанова 1996 – В. И *Гришанова* Обрядовые выпечные изделия и их названия в одном из орловских говоров // Лексический атлас русских народных говоров (Материалы и исследования). 1994. СПб., 1996
- Елеовская 1994 – Е. Н. *Елеовская* Сказка, заговор и колдовство в России. Сб. трудов. М., 1994.
- Закуткина 2001 – Н. А *Закуткина* Феномен диалектной картины мира в немецкой философии языка XX века Дис. ... канд. филол. наук. М., 2001.
- Занозина 1991 – Л. О *Занозина* Терминология календарных обрядов годовичного цикла в этнолингвистическом освещении (на материале курского региона). Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Курск, 1991
- Ильинская 1998 – Н. Г *Ильинская*. К проблеме системных отношений в лексике. Лексико-семантическая группа "Выпечные изделия в архангельском диалекте" (Семантико- и лингвогеографические аспекты) М., 1998.
- Коканина 1984 – Л. Е. *Коканина*. Состав и характер фразеологии в швейцарском варианте современного немецкого литературного языка. Дис. ... канд. филол. наук. Л., 1984.
- Костромичева 1997 – М. В. *Костромичева*. Лексика свадебного обряда. Автореф. дис. ... канд. филол. наук Орел, 1997
- Крюкова 1983 – В. Б *Крюкова*. Стилистические функции швейцарской маркированной лексики (на материале современных произведений германо-швейцарской литературы). Дис. ... канд. филол. наук Л., 1983.
- Кузьмич 1980 – Н. Г. *Кузьмич* К характеристике лексики швейцарско-немецких диалектов (её вариативность и адаптация романских заимствований). Дис. ... канд. филол. наук. Л., 1980
- ЛЭС 1998 – Лингвистический энциклопедический словарь М., 1998.
- Лихачев 1993 – Д. С *Лихачев* Концептосфера русского языка // ИАН ОЛЯ. 1993. № 1
- Макаренко 1993 – А. А. *Макаренко* Сибирский народный календарь. Новосибирск, 1993.
- Мальгин 1987 – В. Т. *Мальгин* Устойчивые словосочетания в австрийском национальном варианте современного немецкого литературного языка. Дис. ... канд. филол. наук. Л., 1987
- Меркулова 1975 – В. А *Меркулова*. К истории становления народной медицинской терминологии // Slawische Wortstudien, Sammelband des internationalen Symposiums zur etymologischen und historischen Erforschung des slawischen Wortschatzes. Leipzig, 11.–13.10.1972. Bautzen, 1975.
- Меркулова 1994 – В. И *Меркулова*. Календарная и обрядовая лексика, связанная с христианскими праздниками, в говорах Орловской области // Духовная культура. Проблемы и тенденции развития Сыктывкар. 1994.
- Потебня 1905а – А. А *Потебня* Конкретность мышления // А. А. Потебня. Из записок по теории словесности Харьков, 1905
- Потебня 1905б – А. А *Потебня* Миф и слово // А. А. Потебня. Из записок по теории словесности Харьков, 1905.
- Потебня 1905в – А. А *Потебня* Язык и народность // А. А. Потебня. Из записок по теории словесности. Харьков, 1905

- Радченко 1997 – *О.А. Радченко* Язык как мирозидание. Лингвофилософские основы неогумбольдтианства. 1–2 М., 1997.
- Семенов 1999 – *Н.Н. Семенов (ред.)* Устные формы литературного языка: история и современность М., 1999.
- Сепир 1993 – *Э. Сепир* Дialeкт // Э Сепир Избранные труды по языкознанию и культурологии / Пер с англ под ред. и с предисл. А.Е. Кибрика М., 1993
- Соссюр 1977 – *Ф. де Соссюр* Труды по языкознанию. М., 1977.
- Степанов 1976 – *Г.В. Степанов* Типология языковых состояний и ситуаций в странах романской речи. М., 1976.
- Филичева 1983 – *Н.И. Филичева* Дialeктология современного немецкого языка М 1983.
- Шевырев 1884 – *С.П. Шевырев*. Вступление: русский язык – выражение духа и характера русского народа Три периода развития Русского слова // Сборник отделения Русского языка и словесности Императорской Академии Наук 33 № 5 СПб, 1884
- Шпет 1927 – *Г.Г. Шпет*. Введение в этническую психологию М., 1927.
- Ammann 1961 – *H. Ammann*. Schutz und Pflege der heimischen Mundart // Nachgelassene Schriften zur vergleichenden und allgemeinen Sprachwissenschaft / Hrsg von F. Gschnitzer Innsbruck, 1961.
- Ammon 1973 – *U. Ammon*. Dialekt, soziale Ungleichheit und Schule Weinheim; Basel, Beltz, 1973.
- Ammon, Cheshire 1989 – *U. Ammon, J. Cheshire* Dialekt und Schule in den europäischen Ländern Tübingen, 1989.
- Bach 1934 – *A. Bach*. Deutsche Mundartforschung Berlin 1934 (2 Aufl. 1950).
- Baudouin 1929 – *J.J.N. Baudouin de Courtenay* Einfluss der Sprache auf Weltanschauung und Stimmung (Drei Vorträge, gehalten in Kopenhagen Ende Mai und Anfang Juni 1923 auf Einladung des Rask-Orsted-Komitees). Warszawa, 1929.
- Baumgartner 1996 – *H. Baumgartner*. Dialekt im Wasserburger Land ein schulisches Projekt. Wasserburg, 1996
- Böhm 1984 – *G. Böhm*. Der Dialekt als Sprachbarriere? Eine empirische Untersuchung über den Einfluß des Dialektes auf den Schulerfolg im Fach Deutsch in den 5. Klassen weiterführender Schulen in Heidelberg Diss Kiel, 1984.
- Bonifer 1993 – *H. Bonifer*. Giesemer Platt ein kernig-derber Dialekt im Kreis Offenbach, festgehalten in mehr als 3500 Ausdrücken. Rodgau, 1993.
- Bußmann 1983 – *H. Bußmann* Lexikon der Sprachwissenschaft. Stuttgart, 1983.
- Cassirer 1921 – *E. Cassirer* Zur Einstein'schen Relativitätstheorie Erkenntnistheoretische Betrachtungen Berlin, 1921.
- Chambers, Trudgill 1998 – *J.K. Chambers, P. Trudgill* Dialectology. 2-nd edition Cambridge, 1998
- Debrunner 1957–1958 – *A. Debrunner*. Sprachwissenschaft und Volksgemeinschaft // Sprachspiegel 13 Hf. 6. 1957; 14, Hf. 1. 1958.
- Dobrovolskij, Piirainen 1992 – *D.O. Dobrovolskij, E. Piirainen* Zum Weltmodell einer niederdeutschen Mundart im Spiegel der Phraseologie // Niederdeutsches Wort. Beiträge zur niederdeutschen Philologie Bd 32. 1992.
- Ehmann 1992 – *H. Ehmann* Jugendsprache und Dialekt Regionalismen im Sprachgebrauch von Jugendlichen Opladen, 1992
- Graebner 1924 – *Fr. Graebner*. Das Weltbild der Primitiven Eine Untersuchung der Urformen weltanschaulichen Denkens bei Naturvölkern. München, 1924.
- Hoerdt 1926 – *Ph. Hoerdt* Muttersprache und Volkserziehung Zugleich eine Einführung in den Deutschunterricht der Volksschule. Karlsruhe, 1926.
- Imhof 1995 – *J. Imhof* Kauderwelsch Band 71. Schwiizertütsch – das Deutsch der Eidgenossen. Bielefeld, 1995
- Ipsen 1930–1931 – *G. Ipsen*. Ursprache, Sondersprache, Gemeinsprache // Blätter für deutsche Philosophie 4. 1930–1931
- Ipsen 1931 – *G. Ipsen* Sprache und Gemeinschaft // Bericht über den 12. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Psychologie in Hamburg 1931
- Kainz 1943–1944 – *Fr. Kainz* Über das Sprachgefühl // Archiv für vergleichende Phonetik Bd 7 Hf. III / IV 1943–1944.
- Knobloch 1986 – *J. Knobloch* Sprachwissenschaftliches Wörterbuch Bd. 1 A–E Heidelberg, 1986
- Kolbl 1997 – *R.H. Kölbl* Kauderwelsch. Bd 106: Bairisch, das echte Hochdeutsch Bielefeld, 1997
- Kuchler 1993 – *H. Kuchler*. Bedrohte Sprachen // Rhetorik Sprache und Denken Ethnolinguistik / Hrsg von K.H. Wagner, W. Wildgraben Bremen, 1993.
- Lanthalder 1994 – *Fr. Lanthalder (ed.)*. Dialekt und Mehrsprachigkeit. Merano, 1994

- Lipps 1935–1936 – *H Lipps*. Sprache, Mundart und Jargon // *Blätter für deutsche Philologie* 9 1935–1936
- Lonngren 1997 – *T. Lonngren* The Lexicon of Russian Old-Believers (based on material from Latgale and the Zitomir area) // 16<sup>th</sup> International Congress of Linguists Paris, 1997
- Macha 1981 – *J Macha* Dialekt Hochsprache in der Grundschule Ergebnisse einer Lehrerbefragung im südlichen Nordrhein-Westfalen Bonn 1981
- Mutus 1929 – *G von Mutus* Wort, Wert, Gemeinschaft Sprachkritische und soziologische Überlegungen. München, 1929
- Osthoff 1883 – *H Osthoff* Schriftsprache und Volksmundart Berlin, 1883
- Panzer 1937 – *Fr Panzer* Sprache und Volksseele // *Zeitschrift für deutsche Bildung*, 1937 13 Jg., Hf 9
- Polenske 1933 – *K Polenske* Sprachgemeinschaft, Willensgemeinschaft, Volkstum // *Deutsche Kulturwacht* 2. 1933
- Preston 2001 – *DR Preston (ed.)* Handbook of perceptual dialectology V 1 2001
- Rosenkranz 1967 – *H Rosenkranz* Wortfeld im Mundartraum Das Wortfeld 'schlafen' im Thüringischen // *Wissenschaftliche Zeitschrift der Friedrich-Schiller Universität Jena* 6 Hf 5 1967
- Schwartz 1997 – *W Schwartz* Kerch uf palzisch Gottesdienst im Dialekt Frankenthal (Pfalz), 1997
- Sombart 1939 – *W Sombart* Volk und Sprache // *Schmollers Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft im Deutschen Reiche* Jg. 63 1 Halbbd, 1939
- Steger 1964 – *H Steger* Gruppensprachen Ein methodisches Problem der inhaltsbezogenen Sprachbetrachtung // *Zeitschrift für Mundartforschung* 31 1964
- Steinthal 1876 – *H Steinthal* Dialekt Sprache, Volk, Staat, Rasse // *Festschrift für Ad Bastian* Berlin, 1876
- Stroh 1930 – *Fr Stroh* Stil der Volkssprache // *Hessische Blätter für Volkskunde* 29 1930
- Stroh 1931–1932 – *Fr Stroh* Sprache und Volk // *Hessische Blätter für Volkskunde* Bd XXX–XXXI 1931–1932.
- Stroh 1934 – *Fr Stroh* Vom Weltbild hessischer Bauernsprache // *Volksspiegel* 1 1934
- Stroh 1993 – *C Stroh* Sprachkontakt und Sprachbewusstsein eine soziolinguistische Studie am Beispiel Ost-Lothringens Tübingen, 1993
- Surek-Clark 2000 – *C Surek Clark* Dialect aquisition and prestige // *A Williams, E Kaiser (eds.) UPENN Working papers in linguistics* University of Pennsylvania, 2000
- Thiergart 1996 – *M Thiergart* Kauderwelsch Band 105 Kolsch – die Sprache einer Stadt Bielefeld, 1996
- Trier 1966 – *J Trier* Alltagssprache // *Die deutsche Sprache im 20. Jahrhundert* Göttingen, 1966
- Vierkandt 1931 – *A Vierkandt* Handwörterbuch der Soziologie Stuttgart, 1931
- Vossler 1904 – *K Vossler* Positivismus und Idealismus in der Sprachwissenschaft Eine sprachlich-philosophische Untersuchung Heidelberg 1904
- Walter 1929 – *R von Walter* Das russische Weltbild // *Der katholische Gedanke* 2 Hf 2 1929
- Weisgerber 1931 – *JL Weisgerber* Sprache // *Handbuch der Soziologie* In Verbindung mit G Briefs, F Eulenburg F Oppenheimer W Sombart, F Tonnies, A Weber, L von Wiese // Hrsg. von A Vierkandt Stuttgart, 1931
- Weisgerber 1949 – *JL Weisgerber* Die Sprache unter den Kräften des menschlichen Daseins Dusseldorf, 1949
- Weisgerber 1956 – *JL Weisgerber* Die Leistung der Mundart im Sprachganzen Vortrag bei der Arbeitsbesprechung über die Pflege der Mundarten in Recklingshausen am 17. März 1956 Münster (Westf.), 1956
- Wirrer 1989 – *J Wirrer* Dialekt und Standardsprache im Nationalsozialismus – am Beispiel des Niederdeutschen // *K. Ehlich (Hrsg.) Sprache im Faschismus* Frankfurt-am-Main, 1989



© 2004 г. И. Ф. РАГОЗИНА

**О ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕ-ОПРОВЕРЖЕНИИ В РУССКИХ И ФРАНЦУЗСКИХ  
ВЫСКАЗЫВАНИЯХ  
(ОПЫТ КОНТРАСТИВНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ)**

В самом общем виде настоящая публикация является продолжением разговора о том виде отрицательного суждения-высказывания, которое, как указывает Н. Д. Арутюнова, будучи “стимулировано ошибочным суждением, ложью, искаженным представлением о положении дел, выполняет задачу восстановить порядок и истину в мире мыслей. Для него характерен контекст диалога, спора, дебатов” [Арутюнова 1988: 31]. Рассуждая о “феномене второй реплики” и “пользе спора”, Н. Д. Арутюнова поясняет, что такого рода отрицательное высказывание характеризуется коммуникативной вторичностью, имея в качестве обязательного предтекста инициальную реплику, с которой оно связано субстанционально, т.е. через обсуждаемое положение дел в мире. Мы же, со своей стороны, предполагаем рассмотреть отрицательное суждение-предложение не только по отношению к иницирующему предтексту, но и в его ближайшем и непосредственном окружении, а именно, в рамках целостного высказывания, где отрицательное суждение выступает в роли доказываемого тезиса (Т), выводимого “оппонентом” на основании некоего “опорного” факта-аргумента (А).

О том, какие разнообразные формы способна принимать опровергающая реплика может свидетельствовать следующий ряд элементарных примеров. Представим себе простейший диалог, в котором один собеседник декларирует или предполагает, что у кого-то грипп, тогда как его оппонент более или менее энергично опровергает это заявление или предположение, опираясь на один и тот же факт. Вот какие формы может приобретать опровергающая реплика :

- 1а) *Если/раз нет температуры (А), то (значит) и гриппа нет (Т)*
- 1б) *У него температура невысокая (А), значит у него не грипп (Т)*
- 1в) *То что у ребенка такая незначительная температура (А), доказывает что у него не грипп (Т).*
- 2а) *Значит у него не грипп (Т), если температура нормальная (А).*
- 2б) *У него нет никакого гриппа (Т), раз = поскольку нет температуры (А)*
- 2в) *Какой у ребенка (может быть) грипп (Т), когда и температуры-то настоящей нет? (А)*

С первого взгляда видно, что, несмотря на все разнообразие поверхностной реализации – неоднородность связующих элементов, наличие/отсутствие отрицательной частицы, употребление глагола *доказывать*, а также глагол *мочь*, фигурирующий в рамках риторического вопроса, – все эти высказывания объединяет не только общность смыслового содержания. Дело в том, что, хотя диспозиция аргумента и тезиса может быть разной – сначала Т, потом А и наоборот, – тезис во всех примерах соответствует причине, а аргумент – следствию. В связи с этим, мы выдвигаем гипотезу, в соответствии с которой, все эти столь разные по форме высказывания имеют в своей основе один и тот же логический механизм в виде одной, определенной модели умозаключения заполняющей схему доказательства-опровержения. В связи с этим, наша исследовательская задача будет состоять в том, чтобы, во-первых, выявить соответствующую логическую модель, во-вторых, использовать эту модель в качестве

глубинной основы для построения системы синтаксической деривации, куда заявленные примеры войдут в качестве “облегченных” образцов для более сложных высказываний, найденных нами в художественной литературе. Представляется, что именно в ходе такого моделирования могут получить свое объяснение и те структурные различия, о которых мы упомянули выше. Исследование будет осуществляться на двух переводческих параллелях (русский-французский и французский-русский), что покажет сходства и различия в средствах реализации доказательства-опровержения в обоих языках. В качестве иллюстративного материала мы взяли отрывки из произведений Достоевского и его французских “собратьев по разуму” (Гюго, Бальзак, Камю и Сартр), которые, как и все моралисты, в совершенно равной степени тяготеют к доказательству и дедукции. Соответственно, наше дальнейшее изложение будет включать раздел, посвященный логике (1), лингвистическое обоснование (2), анализ литературных примеров (3) и заключительную часть, где будут обобщены основные наблюдения относительно значения и функционирования языковых форм и структур.

## 1. Логическое обоснование

Говоря об опровержении, нельзя не отметить тот факт, что традиционная логика, как, впрочем, и риторика не выделяют его из общей теории доказательства. Указывается лишь, что, с формальной точки зрения, доказательство вообще есть лишь обеспечение истинности некоего тезиса Т на основании истинного аргумента А. Аргумент еще называется доводом, который, в соответствии с законом достаточного основания, обеспечивает верификацию или фальсификацию тезиса или, проще говоря, подтверждение или опровержение того положения, которое служит объектом обсуждения (спора). Соответственно, всякое доказательство имеет формулу: Если А, то Т, хотя порядок следования компонентов доказательства может быть и инвертирован: Т, так как / поскольку А. Каков же тот логический механизм, который обеспечивает выведение тезиса из аргумента так, что тезис соответствует причине, а аргумент – следствию? Хотя логика доказательства ничего не говорит по этому поводу, мы попытаемся доказать, что этот механизм есть не что иное, как одна из форм классической дедукции по формуле отрицающего модуса условно-категорического силлогизма (*modus tollens*), который, в сущности, специально предназначен для опровержения. Так, силлогизм этого модуса состоит из большей посылки, сформулированной как условное суждение ( $p \rightarrow q$ ), где в качестве основания выступает некая причина, порождающая свое следствие, меньшей посылки, где это следствие отрицается ( $\neg q$ ), и заключения, в котором отрицается причина, связанная с этим следствием ( $\neg p$ ). Например: *Если дождь (p), то лужи (q); нет луж (не q); стало быть, нет и дождя (не p)*.

Однако, как утверждают некоторые логики, психологически логический процесс начинается с меньшей посылки, т.е. констатации “небытия следствия”, затем это эмпирическое знание соединяется с опосредствующим знанием (большая посылка), присутствующим в сознании мыслящего субъекта, чтобы произвести в конечном итоге заключение о “небытии причины” [Рутковский 1888: 25–27]. В исследованиях по искусственному интеллекту логический “ход” от следствия к причине называется (заметьте, совершенно нестрого, ибо в логике такой формы не отмечается) “каузальным умозаключением”, а оно, как и прочие “концептуальные умозаключения”, квалифицируется как естественный механизм переработки информации, органично встроенный в концептуальную память и действующий естественно и совершенно автоматически [Шенк 1980: 177]. Концептуальная память может быть уподоблена автоматизированному устройству по переработке знаний, куда в качестве информации “на входе” поступает некий факт, воспринятый визуально или аудитивно, а “на выходе” оказывается заключение, выводимое из этого факта с привлечением тех знаний, которые хранятся в памяти субъекта речемышля в готовом виде и которые являются общими для всех членов культурного и языкового сообщества [Шенк 1980: 177]. Думается, что

“машинная метафора” может оказаться весьма полезной для суммирования конечных результатов нашего исследования.

Вернувшись же собственно к *modus tollens*, отметим, что, хотя в сознании субъекта весь силлогизм “прокручивается” полностью, высказывание, содержащее умозаключение, как правило, не включает в себя – за тривиальностью – обосновывающее знание (большая посылка силлогизма, он же стереотип, или топос, как в риторике). Это опосредующее логическое звено, тем не менее, неизменно присутствует во “внутри-тексте”, откуда оно легко может быть извлечено и вербализовано, если это необходимо в целях реконструкции. Поэтому подставим в формулу доказательства не три, а две части отрицающего умозаключения (меньшая посылка и заключение): Если  $A (=не q)$ , то  $T (= не p)$ . Получилась формула контрапозиции, т.е. преобразованной исходной импликация с инверсией (отрицанием в частях) и конверсией, иначе говоря, с перестановкой основания и следствия относительно коннекторов, образующих союзную рамку, которая замыкает обе части контрапозитивного высказывания. Эту же контрапозицию можно подставить и в другую формулу доказательства, с другим порядком следования тезиса и аргумента и, соответственно, с другой синтаксической “упаковкой”:  $T (=не p)$ , так как / поскольку  $A (= не q)$ . Можно уже сказать, что здесь мы сконструировали две исходные, ядерные структуры, вполне пригодные для построения двух синтаксических парадигм. Такое построение мы уже, в сущности, начали, определенным образом сгруппировав наши исходные примеры [1а) – в) и 2а) – в)]. Но прежде чем переходить к анализу литературных примеров и синтаксическому моделированию, попробуем объединить в единый комплекс те положения, которые могут составить если не историю вопроса – анализ форм доказательства по модели контрапозиции еще не являлся объектом лингвистических изысканий, – то, во всяком случае, необходимую теоретическую базу, на которую мы могли бы опереться в ходе исследования.

## 2. Лингвистическое “обеспечение”

Собственно проблеме соотношения форм мысли и форм естественного языка посвящена весьма обширная литература, вплоть до прямых поисков силлогизмов разных фигур и модусов в высказываниях и текстах и попыток привязать соответствующие формы мысли к определенным союзам в русском, французском, немецком и английском языках (подробности и библиографию см. в [Кривоносов 1996], где суммированы все основные работы этого направления). Именно в этих работах мы позаимствовали в свое время такие полезные идеи, как восстановление имплицитной большей посылки для моделирования всей структуры умозаключения, а также способы изменения качества суждения (положительное на отрицательное и наоборот). Но при этом мы не можем не отметить, что приводимые примеры даны вне всякого коммуникативно-прагматического контекста: не учитываются ни условия коммуникации, ни цели высказывания, а значит, и игнорируются такие типы дискурса, как объяснение, доказательство, обоснование, хотя последние уже довольно давно привлекают исследовательский интерес (см. о об этом, например, в [Каузальность 1993]). Возможно, именно по этой причине и не возникает потребность различать два вида каузальности: фактическую (причина – следствие) и логическую (посылка – заключение), а это приводит к тому, что силлогизм нередко усматривается там, где имеется лишь связь ситуаций, из которых вторая просто привлекается говорящим для объяснения первой, что и выражается в употреблении причинного союза. Так, например, в предложении *Он говорил зычно, так как был туговат на ухо* усматривается следующее умозаключение: “Большая посылка (восстановленная): Все туговатые на ухо говорят зычным голосом. Меньшая посылка: Он был туговат на ухо. Заключение: Он говорил зычно” [Кривоносов 1996: 415]. Спрашивается, как в качестве выводного суждения-заключения мог оказаться эмпирический факт (*Он говорил зычно*), явно воспринятый соответствующими органами чувств, и почему не считать его просто следствием, или результатом другого факта (*Он туговат на ухо*), информация о котором содержится в придаточном с причинным союзом? Понятно, что, стоя на “фор-

мально-логических позициях” [Кривоносов 1996: 415], на эти вопросы ответить невозможно

Ближе всего, как нам представляется, к проблеме выражения умозаключения в высказываниях естественного языка подошли – хотя и не ставили перед собой таких специальных целей – исследования, посвященные синтаксису предложения и, особенно, анализу связующих средств, их значения и употребления. Чрезвычайно поучительными в этом отношении нам представляются следующие замечания: “Характерным свойством конструкций, образованных по схеме *если...то* является семантическая конверсия, т.е. перераспределение коммуникативных ролей в отношении обусловленности, где часть конструкции, оформляемая *если*, фактически содержит информацию не об условии, а реальном следствии того, о чем говорится в последней части. Ср. *Если (основание), то (следствие)* и *Если (следствие), то (основание)*... По сути дела *если...то* воспроизводит схему: тезис – основание тезиса. ...При этом происходит нейтрализация доминантной семы значения *если*, ибо информация, заключенная в этой части конструкции, не может быть гипотезой, т.к. призвана выступать в качестве аргумента, мотивирующего вывод, и представляет собой реальный факт. Отсутствие доминантной семы можно проверить путем замены *если* на *раз*” [Ляпон 1986: 119–120] Отмечая случаи неоднозначного толкования содержания предложения, вводимого *если* (гипотеза или установленный факт), М.В. Ляпон предлагает разрешать сомнения при помощи присовокупления к *если* некоторых частиц и прежде всего *уж*, что окончательно решает вопрос в пользу фактичности компонента. Ученый также обращает внимание на особую роль лексемы *значит*, которая, сочетаясь с союзом *то*, “указывает на вывод, умозаключение” [Ляпон 1986: 122]. И пример: “Если мы его исключаем, то, значит, считаем его неисправимым”. В изложенной концепции нам импонирует не только прямое указание на конверсию, осуществляемую в рамках доказательства, но и фактическое признание рамочного характера союзного оформления, где *если* рассматривается не в отдельности, а в паре с другим союзом (*то* или *то значит*), что соответствует бинарной структуре доказательства. Практически перед нами – за вычетом отрицаний в частях – описание первой из сконструированных нами моделей доказательства. Последовав же логике автора и заменив *если* на *раз*, мы получим еще одну “упаковку” для доказательства (А–Т): ‘Раз мы его исключаем (следствие, оно же факт-аргумент), то, значит, считаем его неисправимым (заключение-причина)’.

Что касается второго элемента союзной рамки и, прежде всего, союза *значит*, то существуют разные мнения относительно его роли как показателя умозаключения. Так, в например, в [Урысон 2001: 56] главная “ответственность” за организацию умозаключения возлагается на союз *если*, в семном составе которого, среди прочих, даже выделяется особый компонент “если умозаключения”. На основании того, что “рокировка условия и следствия” (в нашей терминологии – “конверсия”) не связана с союзом *значит* – что и позволяет вывести его из предложения – этому союзу отказывается в функции (главного) показателя умозаключения. Такое понимание противоречит, по мысли автора, мнению тех исследователей, которые, наоборот, считают *значит* главным маркером умозаключения, а союз *если* – реализующим свое собственное значение. Нам все-таки представляется предпочтительней концепция рамочной союзной структуры, где каждый из союзов маркирует свою часть умозаключения, что же до конверсии, то она обусловлена спецификой восприятия и переработки информации (ср “каузальное умозаключение”), а не постановкой того или иного союза.

Однако, если говорить о маркировке факта-аргумента, то “живой” язык (в отличие от логической формулы) явно предпочитает оперировать союзом *раз*, функционально эквивалентным *если*, но исключающим всякую неоднозначность (только факт, а никак не гипотеза). Во французской же лингвистической традиции издавна принято считать союзную систему *puisque... c'est (donc) que* (полный аналог *раз... то, (значит)*) обычным способом выражения умозаключения, где *puisque* вводит аргумент, а оборот *c'est que* – тезис, при этом *c'est que* так же легко соединяется с *donc*, как и *то* со *значит* [Brunot 1965; Sandfeld 1936; Laurian 1966; Hanse 1973; Robert 1986]. Впрочем, и дру-

гим союзам не отказано в способности сигнализировать о наличии факта-аргумента. так, в следующем примере мы наблюдаем союз *si*, участвующий, кстати сказать, в выражении самой настоящей контрапозиции: *Comment pourrait-il faire des économies (T) s'il gagne tout juste de quoi vivre (A)?* Кроме *puisque*. . *c'est que* для маркировки частей умозаключения используется целый ряд союзных рамочных конструкций: *du moment que... c'est (donc) que, comme. . c'est que, si .. c'est que* [Sandfeld 1936 328] Считается также, что и временные союзы *quand, lorsque* способны играть в предложении ту же роль, что и *puisque*: *Moi prodigue? Quand je ne mets plus de cognac dans mon café!* [Там же: 359–360]. Если этот пример перевести и расставить символы, то получится: *'Это я-то мот? (= я не мот) (Т). Да я уж и коньяк в кофе не добавляю! (А)'*.

Однако есть мнение, что главное в умозаключении – это не столько союзы, сколько, прежде всего, особые смысловые отношения соединяемых компонентов. Так, указывается, что в предложении *Pierre a le sourire, donc il est reçu à son examen* второй факт есть фактическая причина первого, но он же является его следствием в логическом, дедуктивном порядке. Ср. *Je pense qu'il est reçu parce que je le vois sourire*. По сути дела, эти вставленные предложения дают характеристику тех сущностей, которые обозначаются соединяемыми компонентами; так, *je vois* указывает, что речь идет об эмпирическом факте, а *je pense* маркирует заключение, выведенное на основе этого факта. Но связующий элемент здесь все-таки наличествует: это союз *donc* (= *следовательно, значит*), хотя его присутствие не сопровождается в источнике никакими комментариями. Тем не менее представляется, что такое, явно спонтанное, употребление этого элемента как раз и свидетельствует о том, что само понятие умозаключения совершенно естественно ассоциируется именно с *donc* – “живым” сигналом завершившегося выводного процесса. К нему, впрочем, можно добавить все остальные составные части союзной рамки и получать, если не контрапозицию, то конверсию по формуле А–Т: *'Puisque / si / du moment que Pierre a le sourire (А), c'est donc qu'il est reçu à l'examen (Т)'*.

Но это разнообразие союзных элементов никоим образом не отменяет то всеми признаваемое положение, что, если французу надо не просто сделать вывод, а что-либо (кому-либо) доказать, он употребит именно союз *puisque* (= *раз*); последний природой своей предназначен оформлять самый “железный” аргумент, ибо вводит компонент с ассертивным статусом пресуппозиции, что как раз и соответствует факту [Иорданская 1988; Iordanskaja 1993]. Мы же, характеризуя денотативную природу компонентов, обозначающих части нашего логического “бинома”, будем оперировать такой парой классификаторов, как ‘факт – пропозиция (= суждение)’; это поможет нам демаркировать два столь разных – по способу получения – “интеллектуальных инструмента” эмпирическое и выводное знание. И хотя в лингвистике и факт, и пропозицию принято относить к одному – интенциональному, логическому пространству (см. об этом в [Арутюнова 1988; 1999]), мы будем рассматривать факт как единицу экстенционального аспекта, как информацию о “кванте” мирового “потока”, воспринимаемую рефлектирующим субъектом.

### 3. Анализ литературных примеров

Теперь же, когда учтены все исследовательские параметры – коммуникативно-прагматический, логико-семантический, структурно-синтаксический и референциальный – можно приступать к анализу литературных примеров, в полном соответствии с двумя формулами опровержения, реализующими каждая свою коммуникативную программу и располагающими собственным рядом “серийных” примеров.

Опровержение по формуле Если А (= не q), то Т (= не p) (первая коммуникативная программа).

Серию примеров типа 1а) мы начнем фрагментом разговора (“Преступление и наказание”), в котором обсуждается вопрос о том, позволительно ли лишить жизни одно ничтожное и зловерное существо; один собеседник склоняется к положительному

решению этого вопроса (*Я для справедливости*), его оппонент опровергает его мнение как ошибочное.

1) *...убьешь ты сам старуху или нет? – Разумеется, нет. Я для справедливости – А, по-моему, коль ты сам не решаешься (А), так нет тут никакой и справедливости (Т):* фразц. *dis-moi seulement ceci: tueras-tu toi-même cette vieille ou non? – Non, naturellement. Je me place ici au point de vue de la justice. – Et bien, à mon avis, puisque toi-même tu ne te décides pas à la tuer (А), c'est que la chose ne serait pas juste (Т).*

Здесь эмпирический факт – это признание одного из собеседников в том, что лично он убийство совершать не намерен, подхваченное “на лету” его оппонентом. Полученная информация наверняка ассоциируется у него с представлением о том, что осознание справедливости дела есть если не причина, то необходимое условие (р) для того, чтобы возникло намерение совершить столь решительный поступок (q). И, коль скоро такое намерение не сформировалось (А), рассуждает оппонент, то и справедливость дела должна быть отрицаема (Т). Итак, перед нами действительно опровержение в форме контрапозиции: “(если/раз) ты не решаешься (А = не q), то дело это несправедливое (Т = не р)”. Поверхностные показатели контрапозиции все в наличии: это и отрицательные частицы, и полная союзная рамка, только отрицаемое следствие (аргумент) в оригинале оформляется союзом *коли*, который может быть полным эквивалентом как коннектору *если*, так и союзу *раз*; вместо союзного элемента *то*, оформляющего тезис, используется его разговорный вариант *так*. Французский же переводчик употребляет “стандартную” союзную рамку, где аргумент отмечен союзом *puisque*, а тезис – оборотом *c'est que*.

**Синтаксические модели:** А (*коль* – 1-я часть) – Т (*так* – 2-я часть) и А (*puisque* – 1-я часть) – Т (*c'est que* – 2-я часть).

Следующий отрывок представляет собой образец своеобразного сотворчества переводчика с автором, когда первый смело разнообразит синтаксис оригинала, заменяя одну структуру на другую. И хотя такое варьирование осуществляется на материале разных языков, один такой “совместный” текст (оригинал-перевод) можно рассматривать, как содержащий два, а иногда даже более примеров, что позволяет охватить возможно большее число случаев, пользуясь материалом сравнительно малого объема. Именно таким “совместным” текстом и представляется фрагмент спора из пьесы Сартра “Дьявол и господин Бог”, где один спорщик утверждает, что не виноват в поражении крестьян в их войне против баронов (*Я не хотел этой войны*), а его оппонент, по сути дела, обвиняет его в нем.

2) *Nasty: Je ne voulais pas cette guerre. Karl: Ça se peut, mais puisque tu n'as pas su l'empêcher (А), c'est que Dieu n'était pas avec toi (Т) (Sartre);* русск.: *Насти: Но я не хотел этой войны. Карл: Возможно, но ты не смог ей помешать (А), – значит, Бог был не на твоей стороне (Т)*

Здесь на основании констатируемой неудачи предпринятой деятельности (не сумел помешать войне) дедуцируется заключение об отсутствии того необходимого условия (Бог помогает только правому делу), без которого всякое действие обречено на провал, а неудачник оказывается сам во всем виноват. Контрапозиция: “Если / раз ты не смог помешать этой войне (А = не q), то Бог был не на твоей стороне (Т = не р)”. И если французский оригинал являет собой вполне “классическое” структурное оформление контрапозиции [ср. 1а)], то в переводе мы наблюдаем ту же контрапозицию, но уже реализованную по типу 1б): так, переводчик “потерял” первую часть союзной рамки (у *puisque* нет в тексте эквивалента), но зато подчеркнул дедуктивный “момент” союзом *значит*, потенциально присутствующим в ядерной схеме контрапозиции, а *значит*, и в памяти переводчика. Ср. также и наш “обратный” перевод: *‘Tu n'as pas su l'empêcher (А), donc Dieu n'était pas avec toi (Т)’*

Этот текст содержит в себе и некое лексическое осложнение: глагол *savoir* в отрицательной перфектной форме передан русской формой *не смог* (букв. ‘не сумел’). В логическом представлении у нас фигурирует предикативная синтагма целиком, хотя фактически значимая информация репрезентирована не модальным, а основным гла-

голом, и поэтому *не смог помешать* означает 'не помешал', плюс такой, например дополнительный смысл, как 'субъект прилагал усилия к совершению действия но эти усилия не привели к желаемому результату' [Теория 1990: 129], или с уточнением: "он не смог (а тем более, "не сумел", когда речь идет о контролируемых действиях), = выбрал, пытался, но какие-то не зависящие от него обстоятельства помешали" [Шатуновский 1996: 212]

**Синтаксические модели:** 1) А (*puisque* – 1-я часть) – Т (*c'est que* – 2-я часть); 2) А (бессоюзная 1-я часть) – Т (*значит / donc* – 2-я часть)

Примеры типа 1в) показывают, что о наличии контрапозиции в рамках первой коммуникативной программы способны сигнализировать не только союзы, но и некоторые лексические элементы. Речь пойдет о глаголе *доказывать* (франц. *prouver*), о котором мы скажем сразу, что он служит целям выражения контрапозиции только в сочетании со словом *факт* (франц. *le fait*), а не тогда, когда он, как было отмечено в [Гловинская 1993], употребляется при агентивном субъекте, выступая, таким образом в качестве предиката ментального воздействия. Для иллюстрации приведем "совместный" текст, где глагол *prouver* появляется в переводе.

3) *Если уж начал себя спрашивать и расспрашивать имею ли права власть иметь?* (A1) – *то, стало быть, не имею право власть иметь* (T1) *..если задаю вопрос: вошь ли человек?* (A2) *то, стало быть, уж не вошь человек для меня* (T2), *а вошь лишь только для того, кто прямо без вопросов идет* *Если уж я столько дней промучился: пошел бы Наполеон или нет?* (A3) *так ведь я уже ясно чувствовал, что я не Наполеон* (T3): франц. *...le fait même de m'interroger sur mon drou à la puissance* (A1) *prouvait qu'il n'existait pas* (T1). *...si je me demandais: l'homme est-il une vermine?* (A2) *c'est qu'il n'en est pas une pour moi* (T2) *.. Le fait même de me demander. Napoléon aurait-il tué la vieille?* (A3) *suffirait à prouver que je n'étais pas un Napoleon* (T3).

В принципе, в каждой из трех фраз субъект (Раскольников), полемизируя сам с собой, опровергает одно и то же заблуждение, а именно, собственные иллюзии относительно своей "силы" и "права на власть", привлекая, так сказать, результаты самонаблюдения. При этом он опирается на им же самим изобретенную закономерность, в соответствии с которой, если человек из числа "наполеонов" (необходимое условие), то он всегда в себе уверен и без колебаний осуществляет задуманное (следствие). И хотя ни один из аргументов не содержит в поверхностной структуре никаких показателей отрицания, общий отрицательный смысл угадывается из совокупного лексического состава действительно, только неуверенный в себе человек (= не обладающий должной силой духа), сомневаясь в собственной правоте, задает себе вопросы и колеблется в оценках. Это значит, что общую для всего текста контрапозицию можно было бы сформулировать так 'Если я ни в чем не уверен (не q), то я не "наполеон", не имею права на власть и пр. (не p)'. В тексте же автор оперирует тремя контрапозициями и при этом не просто использует каноническую союзную рамку, но разнообразит ее риторическими добавлениями: пресуппозитивно нагруженная частица *уж* придает аргументу-факту особую "зримость", а тезис-пропозиция здесь оформляется (помимо частицы *то*) союзными сочетаниями *стало быть* и *так ведь*, вполне равноценными привычному *значит*.

Французский переводчик, желая, может быть, несколько форсировать демонстративность опровержения, а может быть, просто чтобы избежать повторения, дважды заменяет союзный "тандем" лексической рамочной конструкцией: *le fait même. prouve que* (= *тот самый факт = уже сам факт. . доказывает, что*) В переводе помимо глагола *prouver* и существительного *fait* также фигурируют риторические усилители: это местоименное прилагательное *même* и, особенно, глагол *suffire*, буквально передающий самодостаточный характер аргумента. Союзную же рамку *si. . c'est que* как точный эквивалент русской конструкции, он употребил только один раз и к тому же "вычел" из нее следственный союз, сочтя, очевидно, его употребление избыточным. В итоге получаем лексикализированный вариант модели контрапозиции, которую мы представим в одном ряду с союзными структурами. А раз это опровержение

содержит в себе контрапозицию по первой формуле, то, при сильном упрощении, весь текст можно было бы свести к одной структуре типа 16): 'Я в себе не уверен (А), **значит**, я не "наполеон" (Т)', а также 'Je ne suis pas sûr de moi-même (А), **donc** je ne suis pas un Napoléon (Т)'.  
Синтаксические модели: 'А1 (если уж – 1-я часть) – Т1 (то – 2-я часть); А2 (если – 1-я часть) – Т2 (то, стало быть – 2-я часть); А3 (если уж – 1-я часть) – Т3 (так ведь – 2-я часть) и А1 (Le fait que... – 1-я часть) – Т1 (prouve que – 2-я часть); А2 (Si – 1-я часть) – Т2 (c'est que – 2-я часть); А3 (Le fait même que – 1-я часть) – Т3 (suffirait à prouver que... – 2-я часть)'. А также (русский эквивалент): 'А (Тот факт, что... – 1-я часть) – Т (доказывает, что... – 2-я часть)'. Трансформация: 'А (бессоюзная 1-я часть) – Т (значит / donc – 2-я часть)'.  
Необходимо отметить, что наряду со случаями опровержения–отрицания, которое является преобладающим, в рамках этой же коммуникативной программы может реализоваться и другой тип опровержения, а именно – опровержение–утверждение, когда иницирующая реплика является отрицательной, а опровергающая – положительной. Но только во французском языке такого рода опровержение располагает собственным инструментом в виде частицы *si*. Ср.: "Он не болен. – Да нет, он болен. Il n'est pas malade. – Si, il est malade!". Именно таким образом отец Тихон ("Бесы") возражает Ставрогину в ответ на его признания в безверии.

4) Если веруете, что можете простить самим себе и страданием сего прощения в сем мире достигнуть (А), то вы во все веруете (Т)! ...Как же вы сказали, что вы в Бога не веруете!': франц. *Si croyez que vous pouvez vous pardonner vous-même et que vous obtiendrez votre pardon en ce monde par la souffrance...* (А), *alors vous croyez complètement* (Т). *Comment alors avez-vous pu dire que vous ne croyez pas en Dieu?*

Специфика этого опровержения, по сравнению с прежними, состоит в том, что при наличии конверсии в нем нет отрицаний, а стало быть, и контрапозиции. Так, опорный факт-аргумент (информация, полученная со слов собеседника) несет в себе вполне положительную информацию (следствие), таковым же является и заключение о причине (=необходимом условии). Силлогизм: 'Если человек верует в Бога (р), то он верит и в возможность искупления и прощения на этом свете (q). Он верит в искупление и прощение (q). Значит, он верует в Бога (р)'. Само же опровержение–утверждение ('Нет, вы веруете!' = 'Si, vous croyez') выражено отдельно – в компоненте, имеющем форму риторического вопроса, который, хотя и содержит в себе предикативное отрицание, несет в себе положительный смысл.

Синтаксические модели: 'А (если – 1-я часть) – Т (то – 2-я часть)' и 'А (Si – 1-я часть) Т (alors – 2-я часть)'. Появление нового коннектора – *alors* (букв. тогда) – не должно удивлять, ибо он, в принципе, может выступать в значении "donc". Ср.: 'Si vous croyez que... c'est donc que vous croyez complètement'. Следует заметить также, что в переводе тезиса–пропозиции появился и глагол *pouvoir*, которого не было в оригинале, но подробно на этом явлении мы остановимся далее.

А теперь обратимся к разговору из романа "Утраченные иллюзии" Бальзака, где герой, решившийся на самоубийство, сначала декларирует свое безверие (Я безбожник), а затем показывает собеседнику то место, откуда он намерен отправиться в мир иной. На что тот ему возражает:

5) – Un autre monde? (А) ...Vous n'êtes plus athée (Т) (Balzac). – В иной мир? (А): русск. ...Ну, какой же вы безбожник! (Т).

В отличие от всех предыдущих текстов аргумент здесь представлен неполноценной коммуникативной единицей и поэтому нуждается в достраивании. Ввиду того, что в качестве опорного факта выступают пойманные на "лету" слова, то аргумент должен включать в себя какой-нибудь глагол говорения: 'Если вы произнесли такие слова, как "мир иной" (А), то, значит, вы не безбожник (Т)'. Но, однако, если заключение представляет собой отрицательное суждение, о чем можно судить по наличию предикативного отрицания *ne... plus*, в переводе замененным формой риторического вопроса без отрицания, то может возникнуть вопрос: не идет ли речь об обычном опровер-



жении-отрицании? На это можно было бы ответить, что, в соответствии с элементарными логическими правилами и просто здравым смыслом, отрицательное заключение выводимо только на основании отрицательной же посылки, а она у нас сугубо положительная. Чтобы достичь необходимого соответствия, можно попробовать изменить качество суждения иницирующей (утвердительное на отрицательное) и ответной (отрицательное на утвердительное) реплик, что оказывается вполне осуществимым, благодаря сложному взаимодействию различных видов отрицания: предикативного (отрицательные частицы), морфологического (*без-божник*), а также, в какой-то мере, и лексического (*a-thée*). Итак, мы имеем для иницирующей реплики 'Je suis athée = Je ne crois pas en Dieu', а для опровергающей 'Vous n'êtes plus athée = Vous croyez en Dieu'. В итоге получаем опровержение-утверждение: 'Je ne crois pas en Dieu – Si, vous croyez en Dieu' (Нет, вы все-таки верите в Бога). А поскольку 4) и 5) реализуют первую программу, то они также должны поддаваться трансформации по модели 16): 4) 'Вы веруете в прощение и искупление на этом свете. значит, вы и в Бога веруете' и 5) '<Vous dites> un autre monde (A), donc vous n'êtes plus athée (T)'.  
Опровержение по формуле **T (= не p)**, так как / поскольку **A (= не q)** (вторая коммуникативная программа).

Серию 2а) представляет фрагмент рассуждения Хроникера из "Бесов".

б) *Признание знаменательное: стало быть, был же в нем острый ум (T1), если он тогда же на эстраде мог так ясно понять свое положение, несмотря на все свое упование (A1); и, стало быть, не было в нем остроумия (T2), если даже девять лет спустя не мог вспомнить об этом без ощущения обиды (A2): франц. Avoir à retenir: si au moment même, sur l'estrade, il avait pu entrevoir clairement la vérité (A1), c'est qu'il avait effectivement une intelligence aigüe (T1). Mais elle n'était pas cependant si aigüe que cela (T2), puisque neuf ans encore, ce souvenir lui était une offense (A2).*

Этот фрагмент представляет интерес прежде всего тем, что содержит в себе два разных доказательства: утверждение (конверсия без отрицания) и опровержение (контрапозиция), когда говорящий доказывает сначала одно положение (T1), затем тут же утверждает прямо противоположное (T2). Может показаться, что рассуждающий противоречит сам себе, но на самом деле он просто пытается охарактеризовать "объект" на основании двух разных фактов: если брать за основу один случай из его жизненной практики (A1), то можно сказать, что он очень умен (T1), а если другой (точнее, речь идет о целом жизненном периоде) (A2) – то характеристика будет противоположной (T2). Выведение отрицательного тезиса, опровергающего ранее высказанное положение, происходит, скорее всего, в опоре на такой стереотип, как: 'Если человек обладает большим умом (p), он забывает обиду (q)'. Соответственно, констатируя факт отсутствия q (злопамятство вместо прощения), говорящий убеждается и в отсутствии p (большой ум). Что касается внешних показателей контрапозиции, то оригинал манифестирует некое (весьма несущественное) изменение нашей исходной формулы, которое состоит в том, что изменение коммуникативной программы (тезис перешел в препозицию), вызвало простое перемещение компонентов доказательства вместе с той частью союзной рамки, которая "привязана" к нему в рамках первой программы: вместо 'Если A, то, стало быть, T' получилось 'Стало быть, T, если A'.

Переводчик же, оставаясь в рамках основного смысла, позволяет себе значительную свободу в плане структурного варьирования, вплоть до изменения коммуникативной программы. Так, во-первых, переводя A2, он опустил модальный глагол, а во-вторых, заменил предложение с двумя отрицаниями на эквивалентную ему по смыслу положительную часть высказывания, и получилось: вместо 'он не мог вспоминать без обиды = он вспоминал с обидой' (= *était pour lui une offense*). Кстати сказать, это отсутствие эквивалента глагола *мочь* в тексте перевода подтверждает уже сделанные нами выше наблюдения относительно того, что информация о факте как таковом (т.е. собственно следствие) находится в основном предикате, а модальный глагол лишь привносит дополнительный нюанс приложенных, но неудавшихся стараний: 'хотел забыть, но не смог'. Кроме того, переводчик считал себя в праве внести некоторое разно-

образе в несколько монотонные структурные построения Достоевского, а именно, использовать для доказательства-подтверждения первую схему доказательства (*si... c'est que*), а для опровержения – вторую, удовольствовавшись в качества коннектора одним *puisque*, маркирующим аргумент.

**Синтаксические модели:** 'Т (*стало быть* – 1-я часть) – А (*если* – 2-я часть) (утверждение и опровержение); и А (*si* – 1-я часть) – Т (*c'est que* – 2-я часть) (утверждение); Т (бессоюзная 1-я часть) – А (*puisque* – 2-я часть) (опровержение)'.

Серию 2б), которая уже была нами начата фрагментом предыдущего перевода (аргумент, вводимый *puisque*), мы продолжим отрывком одного из стихотворений Гюго серии "Contemplation" (цит. по [Robert 1986, t. 7: 897]).

Т) *J'ai bien assez vécu* (Т), *puisque dans mes douleurs Je marche sans trouver de bras qui me secourent* (А1), *Puisque je ris à peine aux enfants qui m'entourent* (А2), *Puisque je ne suis plus réjoui pour les fleurs* (А3).

В этих нескольких строках поэт, отзываясь на какие-то свои прежние мысли, отзывается себе в смысле дальнейшего существования (Т), мотивируя этот печальный вывод отсутствием всего того, что было дорого ему прежде (А1, А2, А3), и что составляет, с точки зрения автора, нормальные проявления желания жить. Примечательно, что Robert, очевидно, чтобы подчеркнуть особую фактичность компонентов, вводимых *puisque*, отмечает, что последний здесь оказывается полным эквивалентом сочетания *du moment que*, которое, добавим, при всей своей десемантизованности, еще вполне способно осуществлять референциальную "зацепку" высказывания за мир: 'С того (возможно, вполне определенного) момента, как...' Отметим также, что почти все части рассуждения, кроме А3, не содержат в себе показателей предикативного отрицания, а выражают его лексически в сочетании с соответствующими глаголами: наречие *assez (vécu)* (Т), предлог *sans* (А1), наречие *à peine* (А2). Впрочем, в переводе имплицитное отрицание может быть выражено эксплицитно, таким, например, образом: *Довольно пожил я (= жить больше ни к чему), коль дружеские руки меня уж не поддерживают в горе, Коль дети, что резвятся вокруг меня, моей улыбки уж не вызывают боле, Когда цветы не радуют души.*

**Синтаксическая модель:** 'Т (бессоюзная 1-я часть) – А (*puisque / du moment que* – 2-я часть)'.

Теперь мы опять обратимся к тем фрагментам, в которых есть риторический вопрос, но сначала вернемся к исходному 2в), выделив в нем две структурные модификации; это будет 2в' (риторический вопрос без модального элемента) и 2 в'' (модальный элемент в составе тезиса с риторическим вопросом или без такового).

Продемонстрируем серию 2в') на примере рассуждения князя Мышкина:

8) *Меня тоже за идиота считают почему-то; ...но какой же я идиот* (Т), *когда я сам понимаю, что меня считают за идиота* (А)? : франц. *Tout le monde me considère aussi comme un idiot. Je ne sais pas pourquoi... Mais suis-je un idiot à présent* (Т) *que je comprends moi-même qu'on me tient pour un idiot* (А)?

Здесь все опровержение – и аргумент (результат самонаблюдения), и тезис – заключено в рамках одного риторического вопроса, глубинный отрицательный смысл которого легче всего вывести на поверхность, смоделировав *modus tollens* целиком: 'Если человек идиот (р), то он не может понимать, что его считают идиотом (q). Я понимаю, что меня таковым считают (или, с изменением качества суждения: Я не из тех, кто не понимает, что...) (не q). Значит, я не идиот (не р)'. Контрапозиция: 'Я не идиот (Т = не р), раз я понимаю, ... (А = не q)'. Это логическое представление проясняет и роль союзов *когда* и *que*, которые оказываются функционально равноценными *раз* и *puisque*, обычно вводящим аргумент. Но форма риторического вопроса является, в сущности, восклицанием, которое, по нашему разумению, представляет собой некое добавочное – к основному пропозициональному содержанию – эмоционально-оценочное суждение в виде имплицитной апелляции к всеобщему здравому смыслу, находящемуся в "вопиющем" противоречии с ранее высказанными "домыслами": 'Да ведь этого же просто не может быть = невозможно! Ну, сами посудите, ведь (и далее сил-

логизм). Наше толкование содержит еще и модальные элементы, о которых мы пока скажем лишь то, что они придают особую энергию отрицанию.

**Синтаксическая модель** (русская и французская структуры практически идентичны): 'Риторический вопрос [Т (1-я часть) – А (*когда / que* – 2-я часть)]'.

Примером типа 2в" послужит отрывок из романа Камю "Чума", в котором отрицается правильность диагноза, поставленного больному.

9) – *A, bon, dit Gottard, ce n'était pas la peste. On l'assura qu'il s'agissait bien de cette maladie. – Ce n'est pas possible, puisqu'il a guéri! (A) Vous savez aussi bien que moi que la peste ne pardonne pas (Camus): русск. – Значит, у него не чума была, объявил Готтард. Его поспешили заверить, что это была как раз чума. – Да какая там чума (Т), раз он выздоровел! (А). Вы не хуже меня знаете, что чума пощады не дает.*

Здесь также имеет место выведение отрицательной причины (не чума) на основании факта отсутствия обязательного в таких случаях следствия (Он не умер = выздоровел). Но, в отличие от ранее рассмотренных примеров, этот текст включает вполне эксплицитное "воззвание" к коллективному разуму, точнее, к профессиональной компетенции присутствующих на консилиуме врачей: *Вы не хуже меня знаете, что* (ср. 'Ну сами посудите') ... и топос: *Чума пощады не дает*. Далее, что особенно важно, поверхностная структура оригинала содержит и модальный элемент: отрицательная пропозиция-тезис (у него не чума) представлена не буквально, а посредством модальной перифразы *ce n'est pas possible*, где местоимение *ce* конденсирует в себе все пропозициональное содержание отрицательного тезиса, который в развернутом виде и в буквальном переводе выглядел бы так: 'Этого (= того, что у него чума) не может быть'. Но если в предыдущем тексте мы вывели модальный смысл невозможности из риторического вопроса, то здесь, наоборот, переводчик "запратал" его в недрах риторического вопроса и тем самым подтвердил, как и последующие две взаимоконвертируемые синтаксические модели, уместность нашего эксперимента.

**Синтаксические модели:** 'Т (*ce n'est pas possible* – 1-я часть) – А (*puisque* – 2-я часть)'. И 'Риторический вопрос [Т (1-я часть) – А (*pas* – 2-я часть)]'.

Теперь естественно будет поставить вопрос о том, в чем состоит роль модального элемента со значением невозможности в составе тезиса-пропозиции? Выше мы сказали, что он способствует выражению особо энергичного и даже "эмоционального" отрицания (ср. квалификации типа *абсурд* или *небылица* в [Арутюнова 1999: 662]), но это его далеко не единственная функция. Установлено, что глагол *pouvoir* в отрицательной форме и эквивалентный ему оборот *il est impossible* может быть приравнен к эпистемическому оператору *il est exclu*, который естественным образом содержит в себе отрицание *il est faux que* [Papet 1976: 57], т.е. характеризует суждение прежде всего с логической точки зрения. И это вполне понятно, ибо логика как раз и признает за всяким суждением две полярные эпистемические (= истиннозначные) характеристики: это достоверность (да – истина или нет – ложь) и проблематичность (ни да, ни нет); стало быть, глагол *мочь* в отрицательной форме выражает логическую невозможность, что вполне соответствует сугубо демонстративному характеру *modus tollens*, "выдающего" только достоверное заключение. Но тогда как объяснить значение глагола *pouvoir*, по воле переводчика появившегося в заключительной реплике опровержения-подтверждения (пример 4), ведь глубинный смысл последнего компонента мы определили как положительный? Дело в том, что и тут этот глагол выступает в значении того же эпистемического оператора, только в сфере его действия оказывается не утвердительная, а отрицательная пропозиция: 'Il est exclu (il est impossible / il est faux) que поp p = Исключено (не может быть / ложно), что не p'. Ср. 'Не может быть, что вы не веруете в Бога = Ложно, что вы не веруете...'

Что касается соотношения логической и эмоциональной характеристик опровергающего суждения, будь то отрицание или утверждение, то они, по большей части, слиты воедино или, по крайней мере, в большей или меньшей степени предполагают одна другую, ибо обе служат изъявлению – спокойному или "бурному" – того переживания момента истины (или лжи), что называется уверенностью. Поэтому в переводе и бы-

вает порой позволительно слегка превысить эмфатический “градус”, употребив те формы, которых нет в оригинале. Так, вместо нейтрального отрицания “вдруг” возникает риторический вопрос, заключающий в себе порой целый комплекс эмоционально-оценочных моментов, или “всплывает” глагол *мочь*, а бывает, что и оба употребляются одновременно.

И, чтобы покончить с проблемой модальных элементов, функционирующих в составе тезиса и аргумента, приведем следующую параллель: если для утвердительной формы глагола *мочь* естественно выделить значение эпистемической возможности (=проблематичности), противопоставляемое онтологической возможности (= потенциальности) [Булыгина, Шмелев 1997: 210], то у этого же глагола в отрицательной форме тоже можно вывить два значения: эпистемической невозможности (= исключенности) для тезиса и онтологической невозможности (= наличия непреодолимого препятствия для реализации действия, как это понимается, например, в [Boissel 1989: 62]) в составе аргумента. Все это можно выразить и гораздо проще: в аргументе, где речь идет о невозможности бытия или делания, реализуется онтологическое значение модального элемента, а в тезисе, где выражается невозможность утверждения (полагания, мнения) – эпистемическое значение. Этими соображениями мы уже, собственно, начали подведение итогов проведенного исследования, каковое и будет продолжено в заключительной части.

### Заключение

1) Анализ русских и французских примеров показал, что они действительно имеют единую концептуальную основу, в качестве которой выступает “каузальное умозаключение” – “психо-логический” механизм переработки информации, разворачивающийся от воспринимаемого следствия к выводной причине. Этот механизм обеспечивает две разные процедуры опровержения, которые выходят на уровень текста в виде контрапозиции (опровержение–отрицание) и конверсии (опровержение–утверждение). Функциональная модель опровержения (и утверждения, и отрицания) может быть представлена как в динамическом (с помощью “машинной метафоры”), так и в статическом, т.е. чисто структурном аспектах.

2) “Машинная схема” для **опровержения–отрицания** представляется следующей: “Да”-реплика одного коммуниканта (“на входе”) – “Нет”-реплика его собеседника (“на выходе”), причем возможны как диалогическая, так и монологическая (говорящий выступает своим собственным оппонентом) формы реализации. Информация “на входе” дает “установку” на поиск непременно отрицательного аргумента, в качестве которого выступает информация о фрагменте действительности (факт), но уже прошедшая первичную обработку сознанием. Последняя осуществляется в виде двух неравноценных по значимости операций – отрицания и модализации. Операция отрицания (исключая, конечно, случай получения от собеседника уже готовой отрицательной информации в виде высказывания, “пойманного на лету”) является **облигаторной**, ибо без нее невозможен переход – через положительный топос – к отрицательному заключению. Как правило, глубинное отрицание выходит на поверхность в виде соответствующих показателей (предикативного, морфологического и лексического способов выражения), но даже оставаясь невыраженным, оно непременно присутствует, благодаря чему и оказывается возможным моделирование корректной контрапозиции. Операция модализации является **факультативной**, так как с ней или без нее – указанный переход все равно состоится. Неудивительно, что модальные слова, выступающие в качестве факторов-модификаторов по отношению к основному предикату, представляют собой “плавающие” элементы, и переводчик поэтому может позволить себе – без всякого ущерба для смысла оригинала – переводить их или не переводить, а иногда даже добавлять глаголы *мочь* и *pouvoir*, например, там, где оригинал этого не требует. Однако, при всей своей факультативности, модальный элемент в составе пропозиции (значение эпистемической невозможности) все-таки играет более “весомо-

мую” роль, чем его “коллега” в рамках аргумента (значение онтологической невозможности), ибо в “подоператорном” пространстве здесь оказывается конечный продукт умозаключения, который претерпевает таким образом логическую и эмоциональную интенсификацию (подчеркивание ложности чужого мнения и, тем самым, собственной правоты). Когда же рефлектирующий субъект окончательно подпадает под власть, образно выражаясь, “интеллектуальных аффектов”, он может использовать риторический вопрос, отрицательный смысл которого скрывается за внешне положительной формой (отсутствие показателей отрицания). Не исключено (хотя опять же отнюдь не обязательно) и комбинированное употребление модального модификатора и риторического вопроса, в целях наиболее полного самовыражения и достижения эффекта максимальной убедительности.

3) **Опровержение-утверждение** имеет “на входе” “Нет”-реплику одного собеседника, а на “выходе” – “Si”-реплику оппонента (= “Да нет, и все-таки да”). Отрицательная реплика “толкает” оппонента искать аргумент, заключающий в себе однозначно положительную информацию; он как будто “знает” (хотя вряд ли отдает себе в этом отчет), что положительное по качеству заключение иначе не получится. Дедуцированная позитивная информация (“на выходе”) содержательно повторяет иницирующую реплику (“на входе”), но уже меняя “минус” на “плюс”; так появляется частица *si*, у которой в русском языке нет эквивалента. Облигаторная положительность аргумента и тезиса выражается и в том, что, даже если поверхностная структура компонентов содержит какие-то показатели отрицания, они так или иначе нейтрализуют друг друга. Использование модальных элементов и риторических вопросов также носит факультативный характер, но присутствие показателей отрицания в рамках риторического вопроса является облигаторным – иначе не получится утверждение (ср. с опровержением-отрицанием, где риторический вопрос “обязан” быть формально положительным).

4) При переходе от описания динамики мыслительного процесса к “плоскостному” его изображению на первый план выходит презентация синтаксических моделей в соответствии с диспозицией А и Т, или коммуникативной программой. Итоговые результаты синтаксического моделирования в рамках каждой из программ собраны в следующей сводке, учитывающей обе переводческие параллели: русско-французская (РФ) и французско-русская (ФР). **Первая коммуникативная программа: Если А, то Т. Опровержение-отрицание (контрапозиция).** 1) (РФ) *коль ... так = puisque ... c'est que*. 2) (ФР) *puisque ... c'est que = (-) – значит (= donc)*. 3) (РФ) а) *если уж ... то = le fait que ... prouve que*; б) *если ... то, стало быть = si ... c'est que*; в) *если уж ... так ведь = le fait même ... suffirait à prouver que ...* Наш перевод: *тот факт, что ... доказывает, что ...* Трансформация: (-) – значит / *donc*. **Опровержение-утверждение (конверсия).** 4) (РФ) *если ... то = si ... alors*. 5) (ФР) вопрос (непредикативное образование) + повествовательное предложение = вопрос (непредикативное образование) + риторический вопрос. Трансформация: (-) ... значит / *donc*. **Вторая коммуникативная программа: Т, так как / поскольку А. Опровержение-отрицание (в основном).** 6) (РФ) *стало быть ... если = а) si* (утверждение – перемена программы) ... *c'est que*; б) (-) (опровержение) = *puisque*. 7) (ФР) (-) ... *puisque / du moment que =* (наш перевод) (-) ... *коли / когда / раз*. 8) (РФ) Риторический вопрос [(-) ... *когда*] = Риторический вопрос [(-) ... *que*]. 9) (ФР) *Ce n'est pas possible ... puisque =* Риторический вопрос [(-) ... *раз*].

4) Опровержение, осуществляемое в рамках **первой коммуникативной программы (А–Т)**, имеет в коммуникативном фокусе заключение-тезис (отрицание или утверждение), т.е. то, ради чего оно, собственно, и предпринималось. В качестве исходных структур выступают выделенные из “живого” языка формы преобразованной импликации – контрапозиция и конверсия. Ядерная структура контрапозиции претерпевает модификации, первичную систему которых мы показали на простейших образцах [1а) – в)], а затем расширили за счет анализа более сложных литературных примеров. Выведенные синтаксические модели могут рассматриваться как трансформы по отношению к ядерной схеме. Эти трансформы образуются посредством варьирования союзных элементов внутри рамки, расширения объема рамочной конструкции за счет включения в

нее дополнительных частиц и союзных слов, замены союзной рамки лексическим “биномом”, эксплицирующим характер совершаемого логического действия (*доказывать*), а также редукции союзной пары до одного элемента – союза *значит*. Конверсия может реализоваться как в “стандартной” союзной рамке, так и в бессоюзных образованиях, включающих единицы разной коммуникативной природы и структурной завершенности. Однако все это разнообразие структур – как для конверсии, так и для контрапозиции – принципиально сводимо к 1б), что подтверждается, прежде всего, “естественным” синтаксическим экспериментом переводчика [ср. (ФР) 2)]. Это позволяет нам считать 1б) своего рода “супертрансформом” для всей деривационной системы, а возможность постановки дедуктивного коннектора, присутствующего, очень часто, лишь на уровне “неизреченной мысли”. – своего рода тестом, диагностирующим не только заключение о причине (пропозицию), но и саму коммуникативную программу.

5) Тестовым словом для **второй коммуникативной программы (Т-А)**, которая делает акцент на аргументе, является какой-нибудь причинный или, лучше будет сказать, “причинно-аргументативный” союз (см. ссылки на это определение и возражения против трактовки союза *раз* как причинного в [Иорданская 1988]), недаром же в русских риториках аргумент назывался “риторической причиной”. Соответственно, “супертрансформом” будет модель 2б) [ср. также (ФР) 7)]; это ясно, как представляется, и без специальных преобразований. Синтаксическая деривация здесь также создается за счет модификаций внутри союзной рамки, а также, и в гораздо большей степени, чем в предыдущем случае, посредством варьирования коммуникативной природы компонентов – использованием риторического вопроса. Последний, к тому же, “привлекает” не только “стандартные” связующие элементы, но и временные союзы и даже, что уж совсем непривычно, союз *где*, можно сказать, что эти лексемы, оказываясь функционально эквивалентными причинно-аргументативным союзам, “подключаются” к сфере так называемых “риторических” союзов, куда входит довольно большое количество связующих средств разного – но в основном, причинного и следственного, реже условного – значения (подробности см. в [Iordanskaja 1993]). Именно эта чисто функциональная характеристика союзных элементов нам представляется наиболее адекватной природе описываемого объекта.

6) В качестве самого последнего замечания, скажем, что заявленный в названии статьи “контрастивный” анализ оказался не столько противопоставляющим средства обоих сравниваемых языков, сколько объединяющим их в единую картину, своего рода межязыковую “гиперпарадигму”, ибо перевод (особенно с русского) способствовал не только более полному и разнообразному выражению авторской мысли, но порой и ее прояснению, о чем свидетельствуют, в частности, то, что мы назвали “совместными” русско-французскими и франко-русскими текстами. Вопрос же о преимущественном употреблении тех или иных средств в обоих языках может решаться только на базе статистических данных, которые мы пока не приводим.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Арутюнова 1988 – Н.Д. Арутюнова. Типы языковых значений. Оценка. Событие. Факт. М., 1988.
- Арутюнова 1999 – Н.Д. Арутюнова. Язык и мир человека. 2-е изд. исп. М., 1999.
- Булыгина, Шмелев 1997 – Т.В. Булыгина, А.Д. Шмелев. Языковая концептуализация мира (на материале русского языка). М., 1997.
- Гловинская 1993 – М.Я. Гловинская. Русские речевые акты со значением ментального воздействия // Логический анализ языка. Ментальные действия. М., 1993.
- Иорданская 1988 – Л.Н. Иорданская. Семантика русского союза РАЗ (в сравнении с некоторыми другими русскими союзами) // R.Ling. 1988. V. 1–2 № 3
- Каузальность 1993 – Каузальность и структуры рассуждений в русском языке // Межвузовский сб. науч. трудов. РГГУ. М., 1993

- Кривовосов 1996 – *А.Т. Кривовосов*. Язык, логика, мышление. Умозаключение в естественном языке. М.; Нью Йорк, 1996.
- Ляпон 1986 – *М.В. Ляпон*. Смысловая структура сложного предложения и текста. К типологии внутритекстовых отношений. М., 1986.
- Рутковский 1888 – *Л. Рутковский*. Основные типы умозаключений. СПб., 1888
- Теория 1990 – Теория функциональной грамматики. Темпоральность и модальность. Л., 1990
- Урысов 2001 – *Е.В. Урысов*. Союз ЕСЛИ и семантические примитивы // ВЯ 2001 № 4.
- Шатуновский 1996 – *И.Б. Шатуновский*. Семантика предложения и нерелевантные слова. М., 1996
- Шенк 1980 – *Р. Шенк*. Обработка концептуальной информации. М., 1980
- Brunot 1965 – *F. Brunot*. La pensée et la langue. 3-ème éd. Paris, 1965
- Boissel 1989 – *P. Boissel et al.* Paramètres énonciatifs et interprétatifs de POUVOIR // Langue française. № 84 1989.
- Hanse 1973 – Hanse. Car, comme, parce que, puisque // Bulletin de l'Académie Royale de langue et de littérature Bruxelles. 1973. T. I. № 1–4
- Iordanskaja 1993 – *L. Iordanskaja*. Pour une description lexicographique des conjonctions en français moderne // Le français moderne 1993. № 2.
- Laurian 1966 – *A. Laurian*. L'ordre des propositions dans la phrase contemporaine: la cause. Paris, 1966.
- Parret 1976 – *H. Parret*. La pragmatique des modalités // Langages № 43. 1976.
- Robert 1986 – Grand Robert de la langue de la langue française. Paris, 1986.
- Sandfeld 1936 – *K. Sandfeld*. Syntaxe du français contemporain. T. VII. Paris, 1936.

© 2004 г. Е.В. УРЫСОН

СОЮЗЫ *А* И *НО* И ФИГУРА ГОВОРЯЩЕГО\*

ВВЕДЕНИЕ

Союз *а* по праву считается одним из самых идиоматичных русских слов. Он не только не имеет эквивалентов в европейских языках, но и с большим трудом поддается семантической экспликации. Данный союз обладает целой гаммой значений (или, если угодно, употреблений), сближаясь в одних случаях с союзом *но*, ср.: *Дело к весне, а <но> мороз все жестче*, а в других – оказываясь совершенно выхолощенным, семантически более бедным, чем даже, казалось бы, самый, "пустой" союз *и*, ср.: *Иванова в отпуске, Петров болен, а Сидоров в командировке*<sup>1</sup>.

Союзу *а* посвящена обширная литература, причем некоторые особенности его поведения в семантике уже хорошо известны, см., например, [Грамматика-80; Крейдлин, Падучева 1974а; 1974б; Кручинина 1984; 1988; Левин 1970; Николаева 1997; Падучева 1997; Санников 1989; Фужерон 1997]. Тем не менее этот союз по-прежнему ставит перед исследователем неожиданные задачи.

Мы столкнулись с одной из них при описании, казалось бы, самого очевидного значения союза – "*а* несоответствия норме", представленного в контекстах типа *Дело к весне, а мороз все жестче; Пьеса слабая, а народ на нее валом валит; Два месяца отдыхал, а работать по-прежнему не могу*. Для того чтобы эксплицировать специфику данной лексемы<sup>2</sup> союза *а*, мы сравнивали приведенные примеры с аналогичными вы-

\* Одну из первых версий описания союза *а* автор докладывал на семинаре, которым руководила О.Н. Селиверстова, ныне покойная. Автор глубоко признателен О.Н. Селиверстовой за ценные критические замечания и за общую поддержку. Автор выражает глубокую благодарность Д. Пайару за полезное обсуждение первого варианта работы на руководимом им рабочем семинаре.

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проект 02-04-00306а), гранта Президента РФ № НШ-1576.2003.6. Программы фундаментальных исследований ОИФН РАН "История, языки и литературы славянских народов в мировом социокультурном контексте" (раздел 4 15), а также гранта 7-го конкурса-экспертизы Президиума РАН "Семантика, синтаксис и прагматика служебных слов".

Все многочисленные значения союза *а*, выделяемые словарями русского языка, естественным образом группируются в три блока [Крейдлин, Падучева 1974а; 1974б]: а) "*а* несоответствия норме", ср.: *Дело к весне, а мороз все жестче; Он сидел в тюрьме, а годы шли*; б) "*а* сопоставления", ср.: *Вы аристократ, а я демократка; Саша живет в Гольянове, а Маша – в Тушине; Иванова в отпуске, Петров болен, а Сидоров в командировке*; в) "*а* присоединения", ср.: *Мы ехали в Новосибирск, а зимой в том году была очень холодная; Катя готовилась к экзамену по химии, а это был единственный предмет, который она совсем не знала*. Последнюю лексему мы называем "*а* поворота повествования"; она описана в [Урысон 2000; 2002б].

<sup>2</sup> В соответствии со словоупотреблением, принятым в Московской семантической школе, мы называем лексемой слово в его конкретном значении. С лексикографической точки зрения слово – это набор (множество) лексем. Если слово имеет всего одно значение, то оно представляется единственной лексемой. Таким образом, лексема в нашем понимании – это лексико-семантический вариант А.И. Смирницкого.



сказываниями, содержащими союз *но*; ср.: *Дело к весне, но мороз все жестче; Пьеса слабая, но народ на нее валом валит; Два месяца отдыхал, но работать по-прежнему не могу* и т.п. В результате сравнения обнаружилось некоторые глубинные особенности и союза *но*, который хотя и кажется существенно более прозрачным, нежели его сосед по лексической системе, но тем не менее описан далеко не полностью.

Союзы *а* и *но*, наряду с союзом *и*, формируют ядро системы русских сочинительных союзов. Компонентами данной системы (равно как и любой другой подсистемы лексики) являются отдельные лексемы – именно они вступают друг с другом в те или иные противопоставления. При этом каждая лексема участвует в двух типах отношений. С одной стороны, она по определенным признакам противопоставлена другим лексемам того же союза, которые все вместе образуют структуру полисемии данного слова. Структура многозначности союза – это один "срез" системы союзов. С другой стороны, отдельная лексема каждого союза по каким-то признакам противопоставлена лексемам других союзов – это второй "срез" той же системы. В идеале требуется описать оба этих среза, выявив типы регулярной многозначности союзов и типы противопоставлений между отдельными лексемами, принадлежащими разным союзам.

Однако такое описание выходит далеко за рамки журнальной статьи. Поэтому мы остановились на анализе союза "*а* несоответствия норме" и близких ему значений союза *но*, дополнив описание одной лексемой союза *и*, максимально им противопоставленной. Она представлена в контекстах типа *Дело к весне, и мороз слабеет; Роман скучный, и критики его не замечают*.

В ходе работы мы столкнулись с некоторыми проблемами, для решения которых пришлось обратиться к семантике двух подчинительных союзов – *если* и *хотя*. Союз *если* формирует пресуппозицию союзов *а* и *но*. Союз *хотя* чрезвычайно близок союзу *но*, и его анализ позволяет выявить некоторые общие закономерности актантной структуры союзов. Данным подчинительным союзам посвящены отдельные экскурсы.

Результат работы – небольшой фрагмент описания системы русских союзов.

## 1. ПРЕСУПОЗИЦИЯ СОЮЗОВ *А* И *НО*

Сравним примеры [Санников 1989: 156]:

(1) *День был дождливый (P), но Коля не взял зонт (Q),*

(2) *День был дождливый (P), а Коля не взял зонт (Q).*

Оба высказывания указывают на несоответствие данного положения дел представлению об обычном, нормальном житейском распорядке. Действительно, погода обычно влияет на человека – на то, какую одежду он надевает, выходя на улицу, берет ли с собой зонт и т.п. В данном случае субъект ведет себя "не по правилам". Именно на это нарушение правил, на нарушение обычного, нормального распорядка и указывают союзы *но* и *а* в примерах (1)–(2). Если удалить союз из примеров (1) и (2), то полученное высказывание не выразит ничего подобного, ср.: *День был дождливый, Коля не взял зонт*.

Значит, описывая высказывания (1)–(2), необходимо сослаться на представление о "житейской норме". Ясно, что представление о том, как люди обычно, "в норме", ведут себя в той или иной ситуации (в частности – в ту или иную погоду), а также о том, как вообще устроен мир, не является чисто языковым. Это так называемая "наивная энциклопедия", часть общего знания говорящих на данном языке. Однако без обращения к этому несобственно языковому знанию невозможно описать семантику союзов в приведенных примерах [Вольф 1985; Левин 1970; Санников 1989].

Очевидно, что в значение союзов *а* и *но* входит не перечень конкретных житейских или жизненных правил типа "обычно, если погода дождливая, человек берет с собой зонт", а нечто гораздо более абстрактное. Мы предлагаем представлять соответствующий фрагмент семантики данных союзов в первом приближении так:

(A<sub>0</sub>) 'Обычно ситуация типа P влияет на имеющееся положение дел; в результате если имеет ситуация типа P, то не имеет место ситуация типа Q'.

'Положение дел' – это совокупность ситуаций, связанных друг с другом, причем говорящий может указать лишь одну из них. Возможно, данный компонент является неопределяемым. 'Ситуация Р влияет на данное положение дел' = 'ситуация Р может быть или является причиной или условием того, что данное положение дел изменится' = 'из-за ситуации Р положение дел изменяется или может измениться'.

Может показаться, что выражение ( $A_0$ ) избыточно, и достаточно более краткое указание:

( $A_1$ ) 'обычно, если имеет место ситуация типа Р, то не имеет место ситуация типа Q' (или сокращенно: 'если Р, то не-Q').

Необходимость компонента 'Обычно ситуация типа Р влияет на имеющееся положение дел' в выражении ( $A_0$ ) будет обоснована в Экскурсе 2.

Сейчас покажем, что выражение ( $A_0$ ), хотя и является "ядром" пресуппозиции союзов *а* и *но*, все же несколько упрощает суть дела.

**УТОЧНЕНИЕ 1.** Пресуппозиция всех рассмотренных примеров с союзом *а* или *но* – это фрагмент некоего общего для говорящих знания о мире, поэтому она и вводится компонентом 'обычно'. Однако пресуппозицией высказывания с *а* или *но* может быть и достаточно частное предположение говорящего или адресата. Ср.:

(3) *Иван развелся с Лидией (Р), а <но> на Кате так и не женился (Q).*

Можно считать, что пресуппозиция данного высказывания – это некий общий житейский закон: если человек разводится с одной женщиной, он обычно женится на другой. Однако столь же естественно считать, что в данном случае речь идет всего лишь о мнении (ожидании) нескольких людей, обсуждающих взаимоотношения конкретных Ивана и Кати: говорящий или адресат считал, что если Иван разведется с женой, то он женится на Кате. Поэтому строго говоря, пресуппозиция союзов *а* и *но* вводится дизъюнктивным компонентом: 'обычно или по мнению говорящего или слушающего'.

**УТОЧНЕНИЕ 2.** В пресуппозиции всех приведенных примеров речь идет о том, что ситуация Р непосредственно влияет на имеющееся положение дел и "порождает" ситуацию не-Q. Однако ситуации Р и не-Q могут быть связаны и опосредованной каузальной зависимостью. Ср.:

(4) *Выиграл чемпионат Европы (Р), а <но> на Олимпиаде не вошел в шестерку сильнейших (Q).*

В данном случае на имеющееся положение дел влияет не ситуация Р как таковая, а высокий уровень мастерства данного спортсмена, т.е. некая третья, неназванная ситуация. Обычно эта третья ситуация порождает и ситуацию типа Р ('субъект выиграл чемпионат Европы'), и ситуацию типа не-Q ('субъект вошел на Олимпиаде в шестерку сильнейших'). В данном случае эта закономерность нарушена: ситуация Р имеет место, но вместо ожидаемой ситуации не-Q имеет место Q.

Ср. также следующий пример (из работы [Крейдлин, Падучева 1974а]):

(5) *Чемодан полон (Р), а вещи еще остались (Q).*

В данном случае ситуации Р и Q – это результат того, что субъект складывал вещи в дорогу. В норме, если человек собирается в дорогу, он складывает вещи так, чтобы они уместились в предназначенные для них вместилища (ситуация не-Q) и чтобы вместилища были заполнены (ситуация Р). Иными словами, ситуация 'собираться в дорогу' влияет на имеющееся положение дел и в норме порождает две ситуации: Р и не-Q. В данном случае эта закономерность не выполняется: ситуация Р имеет место, но вместо ожидаемой ситуации не-Q имеет место Q.

Случай такой каузальной зависимости, когда существование двух ситуаций Р и не-Q обусловлено некоей третьей ситуацией, тоже должен быть отражен в пресуппозиции союзов *а* и *но*<sup>3</sup>.

<sup>3</sup> Заметим, что опосредованная каузальная связь тоже оформляется союзом *если*: обычно, если Р, то не-Q. Ср.: *Обычно, если спортсмен выигрывает чемпионат Европы (Р), он хорошо выступает и на Олимпиаде (Q): Обычно, если чемодан полон (Р), то все вещи уже в нем (Q).*

С учетом всего сказанного пресуппозиция союзов *а* и *но* переписывается в следующем виде:

(А) [пресуппозиция] 'обычно или по мнению говорящего или слушающего:

[а] ситуация типа Р влияет на имеющееся положение дел; в результате: если имеет место ситуация типа Р, то имеет место ситуация типа не-Q; или

[б] ситуация типа Р вызывается той же причиной или возникает благодаря тому же условию, что и ситуация типа не-Q; в результате: если имеет место ситуация типа Р, то имеет место ситуация типа не-Q'.

Некоторые высказывания с союзом *а* или *но* допускают два понимания, которые соответствуют двум компонентам дизъюнкции [а] и [б]. Ср.:

(б) *Маша преподает в Высшей школе экономики (Р), а <но> одевается как бабка на базаре (Q).*

Первое понимание: обычно ситуация 'субъект преподает в Высшей школе экономики' (Р) влияет на положение дел (так что, например, субъект хорошо зарабатывает или от него требуют хорошо одеваться); в результате обычно имеет место ситуация 'субъект хорошо одевается' (не-Q). Второе понимание: обычно ситуация 'субъект преподает в Высшей школе экономики' (Р) обусловлена ситуацией 'субъект из определенных кругов' (т.е. в Высшей школе экономики "плохих" не держат), а она обуславливает и ситуацию 'субъект хорошо одевается' (не-Q).

Будучи частью значения союза, компонент (А) входит и в семантическое представление всего высказывания. Однако в семантическом представлении высказывания переменные Р и Q получают конкретные значения. Так, в семантической структуре примеров (1)–(2) компонент (А) присутствует в следующем виде (упрощенно): "обычно погода влияет на то, какую одежду, обувь и т.п. надевает человек и что он берет с собой, когда выходит на улицу; в результате, если погода дождливая, человек обычно берет с собой зонт". Данное утверждение является семантической пресуппозицией высказываний (1) и (2). Действительно, если оно ложно, то высказывания (1) и (2) аномальны или бессмысленны<sup>4</sup>.

Пресуппозиция высказываний (1) и (2) – это "кусочек" некоторого знания, известного и говорящему и слушающему (т.е. фрагмент "наивной энциклопедии") или же мнение, разделяемое участниками речевого акта. Естественно считать, что "наивная энциклопедия" и "общее мнение" имеют какую-то единую организацию.

"Наивная энциклопедия", скорее всего, представляет собой свод "аксиом действительности", "принципов поведения" и "общечеловеческих утверждений" [Мартемьянов, Дорофеев 1983], эксплицирующих так называемую житейскую логику. В книге В.З. Санникова они названы общими принципами, "с которыми говорящий вынужден считаться, хотя, будучи осознанными, они в применении к конкретной ситуации могут показаться ему странными" [Санников 1989: 162]. Известно, что эти "аксиомы" или "общие принципы" лежат в основе порождения и понимания как фраз с союзами типа *а* или *но* [Санников 1989], так и целых текстов [Мартемьянов, Дорофеев 1983]. Что касается "общего мнения", то оно состоит из каких-то похожих утверждений, которые, однако, формулируют принципы, разделяемые лишь какой-то группой говорящих.

<sup>4</sup> Напомним определение семантической пресуппозиции (или, в терминологии Е.В. Падучевой, презумпции) высказывания: "семантический компонент Р [в нашем случае компонент (А)] является презумпцией S, если ложность Р в некоторой ситуации делает утверждение S в этой ситуации неуместным, аномальным, бессмысленным" [Падучева 1985: 53]. Поскольку утверждение (А) предполагается известным слушающему, оно, очевидно, является и прагматической пресуппозицией высказываний (1)–(2). Действительно, "прагматическая презумпция – это суждение, которое слушающему должно быть известно, чтобы высказывание было нормативным" [Падучева 1985: 58].

Вопрос о том, каким образом происходит соотнесение конкретных описываемых ситуаций с общим знанием, т.е. каким образом переменные Р и Q в (А) получают конкретные значения, выходит далеко за рамки предлагаемой работы. По-видимому, проблема узнавания "аксиом действительности" при анализе высказывания относится не к семантике языка как таковой, а к области понимания текста, см. [Урысон 2002а]. Мы сосредоточимся на семантике союзов.

## 2. СОЮЗ "А НЕСООТВЕТСТВИЯ НОРМЕ": ДВА КВАЗИКОНВЕРСИВА

### 2.1. Лексема "а ненормального следствия"

Рассматриваемые нами лексемы *а* и *но* имеют одинаковую пресуппозицию. Чем же они различаются?

Точная экспликация трудноуловимого различия между фразами (1) и (2) дана В.З. Санниковым: "Союз *но* указывает на зависимость компонентов Р и Q (Коля знал, что погода дождливая, и все-таки не взял зонт); союз *а* описывает события как не зависящие (возможно, когда Коля собирался, дождя еще не было)" [Санников 1989: 170–171].

Попытаемся представить это различие между союзами в возможно более простом и общем виде.

Обратим внимание на то, что фразы с союзом *но* легко допускают продолжение, указывающее на причину нарушения обычного распорядка. Ср.:

(1а) *День был дождливый (Р), но Коля не взял зонт (Q), потому что у него был плащ.*

Союз *а*, напротив, плохо совместим с объяснением того, почему ситуация Q все-таки имеет место. Ср.:

(2а) *День был дождливый (Р), а Коля не взял зонт (Q), потому что у него был плащ.*

Приведем еще некоторые аналогичные примеры, ср.:

(7) *Был ветер (Р), но сгорел всего один квартал (Q) – Был ветер (Р), но благодаря слаженной работе пожарных <но по счастью> (R) сгорел всего один квартал (Q);*

(8) *Был ветер (Р), а сгорел всего один квартал (Q) – "Был ветер (Р), а благодаря слаженной работе пожарных <а по счастью> (R) сгорел всего один квартал (Q);*

(9) *Дорога проселочная (Р), но ехать легко и приятно (Q) – Дорога проселочная (Р), но, если погода хорошая (R), ехать легко и приятно (Q);*

(10) *Дорога проселочная (Р), а ехать легко и приятно (Q) – "Дорога проселочная (Р), а, если погода хорошая (R), ехать легко и приятно (Q).*

Это различие между союзами *но* и *а* требуется интерпретировать.

Возьмем для определенности примеры (1) и (2).

Фраза (1) – с союзом *но* – указывает на то, что Коля знал, что погода дождливая. Значит, он не взял зонт сознательно, по какой-то причине. Следовательно, ситуация 'дождливая погода' как-то влияла на него, но существовал и какой-то другой, более сильный фактор (обозначим его R), благодаря которому и возникла ситуация Q 'Коля не взял зонт'. В высказывании (1) этот фактор R никак не обозначен, а в (1а) он выражен: 'у Коли был плащ'. Итак, союз *но* указывает на привычную нам причинно-следственную связь между ситуациями, когда на имеющееся положение дел влияют разные факторы и один из них преодолевается другим.

В отличие от *но*, союз *а* подает дело так, как если бы ситуация Q возникла без какой-либо известной, ясной причины. Поэтому фраза (2а) и аномальна. С одной стороны, союз *а* указывает на то, что неизвестно, по какой причине ситуация Q возникла, а с другой стороны, во фразе (2а) эта причина ясно обозначена: 'у Коли был плащ'. При этом остается неясным, влияла ли вообще ситуация Р ('дождливая погода') на имею-

щееся положение дел. (Отсюда и представление о независимости ситуаций Р и Q, эклипсированное в [Левин 1970: 78; Санников 1989: 170].)

При этом указание на существование какой-то неизвестной причины вполне совместимо с союзом *а*. Ср.:

(11) *Зарплату повысили (P), а денег по-прежнему не хватает (Q) – Зарплату повысили (P), а денег почему-то (R) по-прежнему не хватает (Q)* (лексема *почему-то* указывает на то, что причина R ситуации Q существует, но неизвестна говорящему):

(12) *Солнце село (P), а жара не спадает (Q) – Солнце село (P), а жара почему-то (R) не спадает (Q);*

(8a) *Был ветер (P), а сгорел почему-то всего один квартал (Q);*

(10a) *Дорога проселочная (P), а ехать почему-то легко и приятно (Q).*

Значит, союз *а* не исключает причины существования Q – важно, что ее не знает говорящий<sup>5</sup>.

Теперь можно дать толкование лексемы "анормального следствия".

(I) *P, а Q [День был дождливый (P), а Коля не взял зонт (Q)] =*

(i) \*имеет место ситуация P;

(ii) [пресуппозиция] обычно или по мнению говорящего или слушающего:

[a] ситуация типа P влияет на имеющееся положение дел; в результате: если имеет место ситуация типа P, то имеет место ситуация типа не-Q; или

[b] ситуация типа P вызывается той же причиной или возникает благодаря тому же условию, что и ситуация типа не-Q; в результате: если имеет место ситуация типа P, то имеет место ситуация типа не-Q;

(iii) имеет место ситуация Q;

(iv) говорящий не знает, почему имеет место Q'.

Семантическому актанту P на синтаксическом уровне соответствует синтаксическая валентность (или в соответствии с более широкой концепцией, развиваемой И.М. Богуславским, синтаксическая сфера действия), реализуемая первым из сочиненных предложений. Семантическому актанту Q соответствует синтаксическая валентность (синтаксическая сфера действия), реализуемая вторым из сочиненных предложений. Обе эти синтаксические валентности союза *а* являются обязательными.

Компонент (iv) толкования обеспечивает несовместимость союза *а* с объяснением того, почему ситуация Q имеет место. Указание на говорящего, на его незнание чего-то объясняет ту трудноуловимую "субъективность" союза *а*, которая неоднократно отме-

<sup>5</sup> Здесь необходимо сделать оговорку относительно применяемого нами метода анализа союзов. Для того чтобы выявить семантику исследуемых служебных слов, мы проверяем, как сочетается контекст, содержащий тот или иной союз, с обозначением причины (с причинными конструкциями). Наблюдая взаимодействие союза *а* или *но* с выражением причины, мы делаем выводы относительно семантики данного союза. Метод исследования лексической семантики, основанный на подобных экспериментах, давно и хорошо известен, ср. [Щерба 1931; Апресян 1974; Санников 1989]. Правда, мы имеем дело со сложным предложением, которое, подобно тексту, строится в соответствии с определенной прагматической задачей. В частности, придаточное причины, при том что оно описывает некоторое положение дел, может вводиться говорящим с определенной риторической целью: прогнозируя ход мысли адресата, он заранее отвечает на возникающий у того вопрос о причине возникновения описываемого "ненормального" положения дел. Об этом "факторе адресата" в высказываниях, описывающих каузальную связь, см. [Ляпон 1988]. Мы, однако, отвлекаемся от подобной прагматики и ограничиваемся собственно лексической семантикой. В связи с этим мы не привлекаем к рассмотрению контексты с единицами *ведь*; *дело в том, что, сам понимаешь* и т.п., которые хотя и указывают на причинно-следственное отношение между ситуациями, но содержат при этом явную "апелляцию к адресату" [Ляпон 1988].

чалась исследователями; см. [Виноградов 1972: 558] и особенно [Йокояма 1990; Падучева 1997]<sup>6</sup>.

## 2.2. Лексема "а ненормального обстоятельства" – квазиконверсив лексемы "а ненормального следствия"

Следующее значение союза *а*, очень близкое рассмотренному, иллюстрируется примерами типа:

- (13) *Он хотел жениться, готовился к новому путешествию (Q), а опухоль все росла и росла (P);*  
(14) *Они пели, веселились (Q), а поезд мчал их на фронт (P);*  
(15) *Он сидел в тюрьме (Q), а годы шли (P).*

Данные фразы, подобно примерам из предыдущего раздела, указывают на ненормальность описываемого положения дел. Существенно, что если удалить из фраз (13)–(15) союз *а*, то полученный пример не будет обозначать ничего ненормального. Ср.: *Они пели, веселились. Поезд мчал их на фронт; Он сидел в тюрьме. Годы шли.* Значит, соответствующие компоненты значения в примерах (13)–(15) выражаются союзом *а*, а не контекстом.

Переставим в (13)–(15) сочиненные предложения местами, и перед нами окажутся высказывания, почти тождественные фразам из предыдущего раздела, т.е. примерам с союзом "а ненормального следствия". Ср.:

- (13а) *Опухоль все росла и росла (P), а он хотел жениться, готовился к новому путешествию (Q);*  
(14а) *Поезд мчал их на фронт (P), а они пели, веселились (Q);*  
(15а) *Годы шли (P), а он (все так же) сидел в тюрьме (Q).*

Значит, союз *а* в примерах (13)–(15) – это конверсив лексемы "а ненормального следствия". Однако это конверсив неточный.

Действительно, примеры (13а)–(15а), в отличие от фраз, рассмотренных в предыдущем разделе, не содержат никакого указания на то, что говорящему неизвестна причина существования ситуации Q. Поэтому примеры (13а)–(15а) допускают продолжение, объясняющее, почему ситуация Q все-таки существует. Ср.:

- (13б) *Опухоль все росла и росла (P), а он хотел жениться, готовился к новому путешествию (Q) – потому что не знал, что дни его сочтены;*  
(14б) *Поезд мчал их на фронт (P), а они пели, веселились (Q), потому что были молоды и не хотели думать о смерти;*  
(15б) *Годы шли (P), а он (все так же) сидел в тюрьме (Q), потому что некому было за него хлопотать.*

Дело в том, что в примерах (13а, б)–(15а, б) представлена не лексема "а ненормального следствия" как таковая, а ее контекстная модификация, отчасти сближающаяся с "а сопоставления". Эта модификация, указывает на ненормальное положение дел, однако не содержит компонента (iv) 'говорящий не знает, почему имеет место Q'.

Такое же ненормальное положение дел описывают и примеры (13) – (15). В этих высказываниях, как и в (13а, б) – (15а, б), на наш взгляд, тоже нет указания на фигуру говорящего. Они выражают иной смысл – ситуация P, которая обычно влияет на положение дел, в данном случае ни на что не повлияла.

Во фразах (13)–(15) союз *а* вводит ненормальное обстоятельство, которое, вообще говоря, препятствует существованию данной ситуации. Поэтому назовем лексему *а* в случаях типа (13)–(15) лексемой "а ненормального обстоятельства". Очевидно, что эта лексема является конверсивом союза *а*, представленного в (13а, б)–(15а, б) (т.е.

<sup>6</sup> Фигуру говорящего впервые ввела в толкование "а ненормального следствия" Е.В. Падучева. В работе [Падучева 1997] специфика данного значения союза *а* объясняется обязательным совпадением говорящего и субъекта сознания.

конверсивом контекстной модификации лексемы "а ненормального следствия"), и квазиконверсивом самой лексемы "а ненормального следствия".

Для того чтобы отразить различие между конверсивами, актанты предиката в словарном описании ранжируют по важности, так что самый важный актант получает первый номер, следующий по важности актант – второй номер и т.д. Будем считать, что у союза первый ранг приписан тому его актанту, выражение которого вводится данным союзом. В нашем случае это второе из двух сочиненных предложений. Второй ранг будем приписывать актанту, выражаемому первым из сочиненных предложений. В соответствии с этими соглашениями, лексема "а ненормального следствия" и ее модификация, т.е. союз *а* в (13а, б)–(15а, б), имеет следующую актантную структуру:

(В<sub>1</sub>) *P* (2), *а Q* (1) [ср. *Поезд мчал их на фронт (P), а они пели, веселились (Q)*].

Союз "а ненормального обстоятельства" имеет обращенную актантную структуру:

(В<sub>2</sub>) *Q* (2), *а P* (1) [ср. *Они пели, веселились (Q), а поезд мчал их на фронт (P)*].

Предлагаем следующее толкование союза "а ненормального обстоятельства":

(III) *Q* (2), *а P* (1) [*Они пели, веселились (Q), а поезд мчал их на фронт (P)*] =

(i) имеет место ситуация *Q*;

(ii) имеет место ситуация *P*;

(iii) [пресуппозиция] обычно или по мнению говорящего или слушающего: ситуация типа *P* влияет на имеющееся положение дел; в результате: если имеет место ситуация типа *P*, то имеет место ситуация типа не-*Q*;

(iv) в данном случае ситуация *P* не влияет на имеющееся положение дел'.

Обратим внимание на то, что пресуппозиция лексемы "а ненормального обстоятельства" относительно проста – она указывает лишь на непосредственное влияние ситуации *P* на имеющееся положение дел.

Лексема "а ненормального обстоятельства" стилистически отмечена как нарративная. В высказываниях с этой лексемой есть некая недосказанность.

Лексема "а ненормального обстоятельства", в отличие от "а ненормального следствия", часто требует контекстной поддержки. Так, нормальна фраза *Дело к весне, а мороз все жестче* (союз "а ненормального следствия"), однако не вполне понятно высказывание *Мороз все жестче, а дело к весне* (союз "а ненормального следствия"). Последний пример станет совершенно ясным, если ввести в него частицу *-то* или *ведь*; ср.: *Мороз все жестче, а дело-то к весне <а ведь дело к весне>*. Ср. также: *Простая деревенская девушка, а какая воспитанная, выдержанная* (союз "а ненормального следствия") VS. *Какая воспитанная, выдержанная, а ведь простая деревенская девушка* (союз "а ненормального обстоятельства"; без частицы *ведь* высказывание сомнительно). О "срастании" союза *а* с частицами *ведь*, *-то* и другими см. [Николаева 1985].

Лексема "а ненормального обстоятельства", будучи квазиконверсивом лексемы "а ненормального следствия", объединяется с ней в блок. Однако данная лексема близка и другим лексемам союза *а* и при этом представляет собой пример сложного взаимодействия семантики контекста и значения лексемы. Подробное описание этого взаимодействия выходит за рамки данной работы.

### 3. СОЮЗ *НО*: НАБОР КОНВЕРСИВОВ

Вернемся к примерам:

(1а) *День был дождливый (P), но Коля не взял зонт (Q), потому что у него был плащ (R)*.

VS.

(2а) *День был дождливый (P), а Коля не взял зонт (Q), потому что у него был плащ (R)*.

В соответствии с предложенным описанием в толкование союза *а* входит компонент: 'говорящий не знает, почему имеет место *Q*'. Этот компонент и "блокирует" в

высказывания вида *P*, а *Q* указание на причину *R* существования ситуации *Q*. А чем объяснить тот факт, что фраза с похожим союзом *но* так легко и естественно допускает пояснение типа *потому что R* или *благодаря R*?

С логической точки зрения возможны два ответа на этот вопрос:

1) союз *но* не содержит в своей семантике никакого подобного запрета, и поэтому ничто не мешает ввести во фразу типа *P, но Q* объяснение причины существования *Q*;

2) в значение союза *но* входит специальное указание на то, что ситуация *Q* существует по какой-то причине *R* (хотя эта причина совсем не всегда обозначается в реальном высказывании).

Первый подход кажется гораздо более естественным и привлекательным. Действительно, при втором подходе придется признать, что союз *но* имеет не два, а три семантических актанта – им соответствуют переменные *P*, *Q* и *R*. На первый взгляд, такое описание и громоздко, и ничем не верифицируемо – ведь сама по себе возможность какого-то продолжения фразы с союзом *но* ничего не говорит нам о количестве семантических актантов этого предиката.

Тем не менее, существуют языковые факты, которые легко и системно объясняются именно в рамках второго подхода.

Сравним следующие примеры:

(16) *Петя пошел в столовую (P), но поесть ему не удалось (Q), потому что столовая уже закрылась (R).*

(17) *Петя пошел в столовую (P), но столовая уже закрылась (R), поэтому поесть ему не удалось (Q).*

Во фразе (16) союз *но* вводит обозначение ненормального следствия (*Q*), а в примере (17) – обозначение ситуации, противодействующей нормальному положению дел, т.е. причины ненормального положения дел (*R*). Для удобства будем говорить, что в примерах типа (16) представлено "но ненормального следствия", а в примерах типа (17) – "но противодействия"<sup>7</sup>. Заметим, что "но ненормального следствия", в отличие от "но противодействия", сближается с классическим уступительным союзом *хотя*. Ср.: *Петя пошел в столовую, но поесть ему не удалось – Хотя Петя пошел в столовую, поесть ему не удалось*. Фраза (17) такой трансформации не допускает; ср.: *Петя пошел в столовую, но столовая уже закрылась – \*Хотя Петя пошел в столовую, столовая уже закрылась*.

Двойственное поведение союза *но*, способного вводить обозначение как ненормального следствия, так и противодействия нормальному ходу вещей, хорошо известно [Левин 1970: 78–79; Санников 1989: 156–161]. Однако в этих и других исследованиях усилия сосредоточены на поиске смысловой общности примеров типа (16) и (17), т.е. на поиске инварианта, лежащего в основе семантики союза *но* и обеспечивающего столь "широкое" его поведение. Мы ставим другую задачу – найти в поведении союза *но* отражение каких-то общих закономерностей, присущих лексической системе языка в целом.

Посмотрим на фразы (16) и (17) внимательнее. Данные примеры описывают одно и то же положение дел. Оно состоит из трех ситуаций: 'Петя пошел в столовую' (*P*), 'Пете не удалось поесть' (*Q*), 'столовая уже закрылась' (*R*).

Обе фразы опираются на следующий фрагмент "наивной энциклопедии": обычно в столовую ходят, чтобы там поесть. Иными словами, в обеих фразах выражена следующая пресуппозиция (упрощенно): 'обычно ситуация "субъект пошел в столовую" влияет на имеющееся положение дел; в результате имеет место ситуация "субъект поел"'. И в примере (16), и в примере (17) речь идет о нарушении этой житейской закономерности. При этом фраза (16) имеет уже хорошо известную нам структуру:

(16а) *P, но Q, потому что R.*

Фраза (17) имеет другую структуру:

(17а) *P, но R, поэтому Q.*

<sup>7</sup> Мы заимствуем оба названия из книги [Санников 1989].



Различие между структурами (16а) и (17а) сводится к различию между выражениями *Q*. *потому что R* и *R*. *потому Q*, т.е. к различию между конверсивами *потому что* и *потому*.

Вернемся к союзу *но*. В соответствии с соглашениями, принятыми выше, будем считать, что первый ранг приписан тому его актанту, выражение которого вводится данным союзом, т.е. второму из двух сочиненных предложений. Второй ранг будем приписывать актанту, выражаемому первым из сочиненных предложений. Тогда и в (16), и в (17) вторым актантом союза *но* является ситуация *R*. Что касается первого актанта, то в примере (16) это ситуация *Q*, а в примере (17) – ситуация *R*. Ср.:

(16б) *P* (2), *но Q* (1), *потому что R*.

(17б) *P* (2), *но R* (1), *потому Q*.

Эта странная "рокировка" получает совершенно естественное объяснение, если принять, что союз *но* имеет три семантических актанта. В случае (16) третьим актантом союза *но* является ситуация *R*. В примерах типа (17) третий ранг имеет ситуация *Q*. Ср.:

(16в) *P* (2), *но Q* (1), *потому что R* (3).

(17в) *P* (2), *но R* (1), *потому Q* (3).

Тогда "но ненормального следствия" и "но противодействия" – это конверсивы по первому и третьему месту<sup>8</sup>.

Хорошо известно (см. монографию [Падучева 2004], а также [Кустова 2001; Розина 2004]), что конверсное преобразование – это стандартное преобразование, обеспечивающее переход от одного значения многозначного глагола к другому. В работе [Урысон 2003] мы показали, что такое же преобразование лежит в основе структуры многозначности некоторых союзов и фразовых частиц. Выше продемонстрировано, что конверсное преобразование связывает и два "соседних" значения союза *а*. Приняв, что союз *но* имеет три семантических актанта, мы смогли дать аналогичное системное описание и этому союзу<sup>9</sup>.

Предлагаем следующее предварительное толкование союза "но ненормального следствия".

(III) *P* (2), *но Q* (1), *потому что R* (3) [*День был дождливый (P)*, *но Коля не взял зонтик (Q)*, *потому что у него был плащ (R)*] =

(i) 'имеет место ситуация *P*;

(ii) имеет место ситуация *R*;

(iii) [пресуппозиция] обычно или по мнению говорящего или слушающего:

[а] ситуация типа *P* влияет на имеющееся положение дел; в результате: если имеет место ситуация типа *P*, то имеет место ситуация типа не-*Q*; или

[б] ситуация типа *P* вызывается той же причиной или возникает благодаря тому же условию, что и ситуация типа не-*Q*; в результате: если имеет место ситуация типа *P*, то имеет место ситуация типа не-*Q*;

(iv) [пресуппозиция] обычно или по мнению говорящего или слушающего ситуация типа *R* влияет на имеющееся положение дел; в результате: обычно, если имеет место ситуация типа *R*, то имеет место ситуация типа *Q*;

<sup>8</sup> О типологии конверсивов, построенной на основании исчисления возможных перестановок пронумерованных мест предиката, см. [Апресян 1974]. "Пары конверсивов могут отличаться друг от друга номерами мест, которые связаны отношением конверсии. Поскольку конверсия проявляет себя в перестановке аргументов (имен актантов), типы конверсивов, выделяемые по этому признаку, могут быть исчислены на основании элементарных комбинаторных соображений" [Апресян 1974: 267].

<sup>9</sup> Быть может, лексема "а ненормального обстоятельства", подобно союзу *но*, тоже имеет третий семантический актант? Для такого описания у нас нет никаких оснований – ведь трехактантность союза *но* обосновывается наличием у него лексем-конверсивов по первому и третьему местам. А две выделенные лексемы союза *а* конверсны по первому и второму местам.

(v) в данном случае ситуация R влияет на имеющееся положение дел больше, чем ситуация P или какая-то другая ситуация; в результате:

(vi) имеет место ситуация Q'.

Семантическому актанту P на синтаксическом уровне соответствует синтаксическая валентность (или в соответствии с более широкой концепцией, развиваемой И.М. Богуславским, синтаксическая сфера действия), реализуемая первым из сочиненных предложений. Семантическому актанту Q соответствует синтаксическая валентность (синтаксическая сфера действия), реализуемая вторым из сочиненных предложений. Обе эти синтаксические валентности у союза *но* (так же как и у союза *а*) являются обязательными.

Что касается третьего семантического актанта союза *но* ("благоприятный фактор" R), то ему на синтаксическом уровне не соответствует никакая синтаксическая валентность (и никакая сфера действия). Действительно, не существует никаких синтаксических, т.е. сколько-нибудь формальных, опирающихся на синтаксическую или подобную информацию правил, с помощью которых можно было бы найти в высказывании фрагмент, обозначающий этот фактор R. Для определения данного фрагмента требуется не столько лингвистическая информация, сколько правила понимания высказывания, правила построения и обработки понятийной сети текста. Эта задача выходит за рамки лексической семантики и синтаксиса. В терминах модели "Смысл ↔ Текст" [Мельчук 1974], семантический актант R союза *но* невыразим на синтаксическом уровне. Это, разумеется, не значит, что соответствующую информацию нельзя выразить в тексте. Просто она не оформляется по тем жестким правилам, которые предъявляются к синтаксическим актантам лексемы. Ср. глагол *промахнуться*: он имеет семантический актант цели, которому, однако, вряд ли соответствует синтаксическая валентность. Поэтому в высказывании типа *На тропе появился тигр, охотник выстрелил в него, но промахнулся* ни лексема *тигр*, ни анафорическое местоимение *он* не заполняют никакой синтаксической валентности глагола *промахнуться* (хотя фрагмент 'тигр' в семантическом представлении данного высказывания соответствует семантическому актанту цели данного глагола)<sup>10</sup>.

Тем самым, на синтаксическом уровне союз *но*, сближаясь с союзом *а*, является двухместным предикатом. Семантический актант R ("благоприятный фактор") союза "*но* ненормального следствия" часто остается вообще неназванным: говорящий лишь указывает на его существование.

Союз "*но* противодействия" получается из лексемы "*но* ненормального следствия" конверсным преобразованием. При этом у союза "*но* противодействия" тем семантическим актантом, который не имеет четкого выражения на синтаксическом уровне, является актант "ненормальное следствие" Q. Ср.: *День был дождливый (P = 2), но у Коли был плащ (R = 1), поэтому он не взял зонт (Q = 3)*.

Естественно считать, что "*но* ненормального следствия" и "*но* противодействия" – это две разные лексемы союза *но*<sup>11</sup>. Заметим, что "*но* противодействия" характерно для диалогов; ср. *Сходи за хлебом. – Но я только что пришел*<sup>12</sup>.

По-видимому, в набор лексем союза *но* входит еще одна лексема, получаемая из описанных преобразованием типа конверсного. Ср.:

(18) *Коля не взял зонт (Q), но день был дождливый (P) [И Коля вымок до нитки].*

<sup>10</sup> Подробнее о семантических и синтаксических актантах и валентностях лексемы см. [Мельчук 1974; Апресян 1974]; о сфере действия лексемы см. [Богуславский 1996].

<sup>11</sup> Считать их контекстными модификациями одного значения нет никаких оснований: невозможно сформулировать, в каком именно контексте выступает та или иная модификация.

<sup>12</sup> У этой лексемы есть особое производное значение, которое представлено в случаях *Есть одно маленькое "но"*; *Никаких "но"* и т.п.

В данном случае  $P = 1$ ,  $Q = 2$ . Что касается третьего актанта – "благоприятный фактор"  $R$ , то у данной лексики его просто нет. Тем самым, союз *но* в этом примере – это квазиконверсив двух описанных лексем союза *но*<sup>13</sup>.

**ЗАМЕЧАНИЕ.** Нужно оговорить, что некоторые высказывания с союзом *а* тоже допускают продолжение, естественное для фраз с *но*. Ср.:

(19) *Такое несчастье (P), а они улыбаются, потому что стариков огорчать не хотят (Q):*

(20) *Такое несчастье (P), но они улыбаются (Q), потому что стариков огорчать не хотят (R).*

Но высказывания (19) и (20) отличаются друг от друга.

Фраза (19) – с союзом *а* – может передавать размышления говорящего: сначала он констатирует, что ситуация  $P$  не повлияла на субъекта, а затем находит этому объяснение. Такую речь можно передать с помощью более выразительной пунктуации; ср.: *Такое несчастье, а они улыбаются... потому что стариков огорчать не хотят*. Эта ситуация, предполагающая добавление, поправку и т.п., не будет нас интересовать.

Однако пример (19) может быть и вполне подготовленным, совершенно "гладким" высказыванием (и тогда перед *потому что* нет столь большой паузы). При таком произнесении говорящий указывает на несоответствие несчастью (ситуации  $P$ ) всего поведения субъекта, т.е. и его улыбки, и причины, по которой он улыбается. Иными словами, переменная  $Q$  соответствуют здесь две связанные друг с другом ситуации: 'они улыбаются' и 'они не хотят огорчать стариков'. Что касается фразы (20) с союзом *но*, то здесь ситуация 'они улыбаются' соответствует переменной  $Q$ , а ситуация 'они не хотят огорчать стариков' соответствует семантическому актанту  $R$ .

#### ЭКСКУРС 1. АКТАННАЯ СТРУКТУРА СОЮЗА *ХОТЯ*

Рассмотрим теперь классический уступительный союз *хотя*<sup>14</sup>, представленный во фразах типа

(21) *Хотя день был дождливый (P), Коля не взял зонт (Q).*

Данный пример максимально близок высказыванию (1) с союзом *но*. Фраза с *хотя* тоже указывает на то, что Коля знал, что погода дождливая, и значит, пошел без зон-та сознательно, по какой-то причине. Иными словами, на субъекта влияла и ситуация 'дождливая погода', и какой-то другой, более сильный фактор  $R$ , благодаря которому и возникла ситуация  $Q$  'Коля не взял зонт'. Этот другой фактор часто обозначается в тексте, ср.:

(21а) *Хотя день был дождливый (P), Коля не взял зонт (Q), потому что у него был плащ (R).*

Но следует ли отсюда, что в толковании союза *хотя* должны быть упомянуты те же три ситуации, что и в толковании союза *но*? (Заметим, что именно такой подход принят во многих работах по русистике, см. [Богомолова 1955; Эстрина 1968; Гречиш-никова 1971; Печенкина 1976; Перфильева 1985; Теремова 1986].)

На наш взгляд, представление о том, что та или иная ситуация обычно чем-то обусловлена, т.е. имеет какую-то причину, настолько естественно, что, быть может, является универсальной чертой языковой картины мира и человеческого мышления вообще. Что касается союза *хотя*, то он просто не содержит в своей семантике никакого запрета на указание того фактора, благодаря которому имеет место ситуация  $Q$ . Поэтому ничто не мешает ввести во фразу типа *Хотя P, Q* указание на этот фактор. Однако у нас нет никаких оснований считать, что союз *хотя* описывает положение дел с

<sup>13</sup> Заметим, что среди рассмотренных лексем союзов *а* и *но* синонимичны лишь "а ненормального следствия" и "но ненормального следствия". Их квазиконверсивы "а ненормального обстоятельства" и "но противодействия" синонимами не являются.

<sup>14</sup> Союз *хотя* многозначен. Сейчас мы рассматриваем его лексему *хотя 1*. Подробно о союзе *хотя* см. работы [Урысон 2002а; 2003].

тремя участниками (P, Q и R). Перед нами союз с двумя семантическими и синтаксическими актантами. Мы толкуем его так:

(IV) *Хотя P, Q* [*Хотя день был дождливый (P), Коля не взял зонт (Q)*] =

(i) \*имеет место ситуация P;

(ii) [пресуппозиция] обычно или по мнению говорящего или слушающего:

[a] ситуация типа P влияет на имеющееся положение дел; в результате: если имеет место ситуация типа P, то имеет место ситуация типа не-Q; или

[b] ситуация типа P вызывается той же причиной или возникает благодаря тому же условию, что и ситуация типа не-Q; в результате: если имеет место ситуация типа P, то имеет место ситуация типа не-Q;

(iii) в данном случае имеет место ситуация Q'.

Приведем примеры, в которых реализуется компонент [b] пресуппозиции [см. комментарий к примерам (4)–(5) в разделе 1]:

(22) *Хотя чемодан уже полон (P), вещи еще остались (Q).*

(23) *Хотя Петров был первым на чемпионате мира (P), на первенстве Европы он даже не вошел в финал (Q).*

Семантическому актанту P на синтаксическом уровне соответствует синтаксическая валентность (синтаксическая сфера действия), реализуемая придаточным предложением, вводимым союзом *хотя*. Семантическому актанту Q соответствует синтаксическая валентность (синтаксическая сфера действия), реализуемая главным предложением. Обе эти синтаксические валентности у союза *хотя*, так же как у союзов *а* и *но*, являются обязательными.

Актантная структура данной лексемы союза *хотя* такова: P = 1, Q = 2. Союз "но ненормального следствия" имеет похожую актантную структуру: P = 2, Q = 1, R = 0. Легко видеть, что данные лексемы *хотя* и *но* являются неточными конверсивами.

При этом у данной лексемы *хотя 1* есть еще один квазиконверсив по первому и второму местам – это лексема *хотя 2*. Ср.:

(24) а. *Хотя такие туманные летние дни хороши (P = 1), охотники их не любят (Q = 2).* VS. б. *Хороши такие туманные летние дни (P = 2), хотя охотники их не любят (Q = 1).*

Этот квазиконверсив классического уступительного союза *хотя*, представленный в примере (б), имеет следующую актантную структуру: P = 2, Q = 1.

Данная лексема *хотя 2* отличается от союза *но* лишь отсутствием третьего, факультативно выражаемого, семантического актанта R. В остальном актантные структуры лексем *хотя 2* и *но* совпадают. Поэтому данные две лексемы воспринимаются как очень близкие и часто описываются в грамматиках вместе. Есть и еще один фактор, обеспечивающий их сходство: для *хотя 2* практически обязательна постпозиция вводимого им предложения, и это тоже сближает *хотя 2* с сочинительными союзами<sup>15</sup>.

Отметим, что союз *но* наиболее полно отражает представление о взаимодействии разных факторов, прелятствующих и, наоборот, благоприятствующих, существованию некоторой ситуации. Союз *хотя* и другие слова с подобной семантикой выражают такое представление в менее полном виде; см. об этом [Урысон 2003].

#### 4. СИСТЕМА СОЧИНИТЕЛЬНЫХ СОЮЗОВ И, А И НО: КАУЗАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Союзы *а* и *но* предполагают каузальную связь между ситуациями (обычно между P и не-Q, но, возможно, между этими двумя и какой-то третьей). Входит ли указание на каузальность в семантику союза *и* – ближайшего соседа союзов *а* и *но* в лексической системе?

<sup>15</sup> Как отметила (устно) Е.В. Падучева, естественно говорить, что союзы *а*, *но* и *хотя* допускают преобразование диатезы, в результате которого: а) каждый из этих союзов предстает как набор (квази)конверсивов; и б) лексемы разных союзов оказываются (квази)конверсивами по отношению друг к другу

Интуитивно кажется, что – да, союз *и* может указывать на причинно-следственную связь. Ср.: *Мне стало душно, и я вышел; Подул ветер, и с деревьев полетели листья.* Соответствующее значение выделяет у этого союза [МАС]; ср. также описание предложений с союзом *и* в [Грамматика-80]. Однако неясно, чем выражается в подобных примерах причинно-следственное отношение – союзом *и* как таковым или всем контекстом. Действительно, если удалить из этих фраз союз *и*, то причинно-следственное понимание сохранится; ср.: *Мне стало душно, я вышел; Подул ветер. С деревьев полетели желтые листья.* Очевидно, для того чтобы обосновать выделение причинно-следственного значения у союза *и*, нужно оперировать такими примерами, в которых причинно-следственное понимание зависит только от наличия союза *и*, никак не навязываясь контекстом или нашим знанием действительности.

Именно такие примеры были приведены В.З. Санниковым. Ср.:

(25) *Коля ушел домой. Петя остался в школе.*

(26) *Коля ушел домой, и Петя остался в школе.*

В примерах (25)–(26) описаны одни и те же ситуации (события) – уход Коли домой и пребывание Пети в школе. Однако связаны эти ситуации по-разному. В (25) они поданы как независимые, в частности, Петя мог и не знать об уходе Коли. А в примере (26) эти ситуации связаны причинно-следственным отношением: "Петя наверняка знал об уходе Коли и пребывание Пети в школе связано с уходом Коли, является нормальной реакцией на этот уход. И приписать это значение нормального следствия можно лишь союзу *и* – поскольку все остальные компоненты во фразах совпадают" [Санников 1989: 186].

Предлагаем следующее толкование данной лексемы союза *и*.

(Ш)  $P, \text{ и } Q$  [*Коля ушел домой (P), и Петя остался в школе (Q)*] =

(i) 'имеет место ситуация P;

(ii) в соответствии с ожиданием говорящего и слушающего, ситуация P влияет на имеющееся положение дел; в результате

(iii) имеет место ситуация Q'.

Ср. еще некоторые примеры: *День был дождливый (P), и Коля взял зонт (Q); Был ветер (P), и сгорело много домов (Q); У них несчастье (P), и они плачут (Q); Петя совсем не занимался алгеброй (P), и на экзамене получил два (Q)*<sup>16</sup>.

Союзы *и*, *а* и *но* в рассмотренном значении образуют четкую систему. Все они имеют presupпозицию, в которой указывают на каузальную связь между ситуациями. Союз *и* обладает элементарным, ничем не осложненным, каузальным значением. Союзы *а* и *но* богаче: каузальный компонент в их значении описывает не актуальное, а обычное, нормальное положение дел. При этом данные союзы указывают на нарушение обычного "жизненного распорядка". Союз *но* предполагает и наличие фактора, обеспечивающего существование "ненормальной" ситуации, – этот сочинительный союз семантически трехвалентен. Лексема "*а* ненормального положения дел" вводит в высказывание фигуру говорящего – данный союз указывает на незнание говорящим того, почему существует ситуация Q.

Скорее всего, значение данных лексем *и* и *но* не уникально и неидиоматично: слова с точно таким же значением, хотя, быть может, с другой сочетаемостью, могут встретиться и в других (неславянских) языках<sup>17</sup>. Лексема "*а* ненормального положения дел", напротив, представляется вполне идиоматичной: за пределами славянских языков подобная конфигурация смыслов может не встретиться. Входящий в ее значение компо-

<sup>16</sup> Разумеется, у союза *и* есть и другие значения, ср. хотя бы "*и* перечисления", представленное в контекстах типа *Маши и Пети женаты уже два года*. См. описание союза *и* в [Урысон 2000].

<sup>17</sup> Тем не менее данные союзы, подобно знаменательной лексике, скорее всего, национально специфичны – за счет каких-то особых лексем или употреблений *и*, как следствие, за счет специфической структуры многозначности. См., например [Карлсон 1986; Lakof 1971].

мент 'говорящий не знает, почему имеет место ситуация Q' представляется яркой чертой национальной языковой картины мира.

## ЭКСКУРС 2. КОМПОНЕНТ 'ЕСЛИ' В ПРЕСУППОЗИЦИИ СОЮЗОВ *а* И *НО*<sup>18</sup>

Как мы уже говорили, пресуппозицию союзов *а* и *но* принято представлять так:

(A<sub>1</sub>) 'обычно если имеет место ситуация типа P, то не имеет место ситуация типа Q' (или сокращенно: 'если P, то не-Q').

Если пресуппозиция наших союзов действительно такова, то можно взять фразу с союзом *если* и на ее основе построить высказывание с *а* или *но*, так что фраза с *если* будет пресуппозицией этого высказывания. Ср..

(27) а. *Если погода дождливая (P), Коля берет зонт (Q) → б. Погода была дождливая (P), а Коля не взял зонт (Q); в. Погода была дождливая (P), но Коля не взял зонт (Q);*

(28) а. *Если у Ивана много денег (P), он едет на выходные в Варшаву (Q) → б. Деньги у Ивана есть (P), а в Варшаву на выходные он не едет (Q); в. Деньги у Ивана есть (P), но в Варшаву на выходные он не едет (Q).*

(29) а. *Если Петя бил Катю (P), она уходила (Q) → б. Петя бил Катю (P), а она не уходила (Q); в. Петя бил Катю (P), но она не уходила (Q).*

В общем виде эту трансформацию можно представить так:

а. *Если P. Q → б. P, а не Q; в. P, но не Q*<sup>19</sup>.

С определенной долей условности, высказывание (а) с союзом *если* выражает пресуппозицию высказываний (б–в) с союзом *а* или *но*. Подобные примеры легко умножить, и пока получается, что пресуппозиция примеров с союзом *а* или *но* – это выражение (A<sub>1</sub>), не содержащее никакого указания на то, что некоторая ситуация влияет на имеющееся положение дел.

Однако не всякое высказывание с *если* типа (A<sub>1</sub>) может служить пресуппозицией высказывания с *а* или *но*, и причина этого – в специфике союза *если*.

Возьмем следующую тройку примеров:

(30) а. *Если он встречал ее (P), она не обращала на него внимания (Q) – б. 'Он встретил ее (P), а она обратила на него внимание (Q); в. "Он встретил ее (P), но она обратила на него внимание (Q).*

Высказывание (30б) кажется как минимум странным. Высказывание (30в) еще хуже, поскольку семантически аномально: трудно представить, какая ситуация, пусть даже нестандартная, им описывается. Между тем пример (30а) абсолютно нормален и понятен. Почему же в данном случае трансформация *Если P, Q → P, а <но> не Q* оказалась неприменимой?

Причина в соотношении описываемых ситуаций P и Q. Во всех приведенных примерах, за исключением (30а), союз *если* обозначает каузальную связь между P и Q: ситуация P является причиной или условием существования ситуации Q, или, другими словами, ситуация P обуславливает существование ситуации Q. Действительно, дождливая погода – это причина того, что Коля берет зонт; наличие у Ивана денег – условие того, что на выходные он едет в Варшаву; плохое отношение Пети к Кате – причина того, что она уходит от него и т.п. Союзы *а* и *но* в этих примерах обозначают нарушение этой каузальной зависимости.

Высказывание (30а) не предполагает каузальной зависимости между P и Q: ситуация P никак не обуславливает существование ситуации Q. Поэтому примеры (30б–в)

<sup>18</sup> Пресуппозиция союзов *а* и *но* по существу не отличается от пресуппозиции уступительного союза *хотя*, описанной нами в [Урысон 2002а; 2003].

<sup>19</sup> Разумеется, при переходе от исходной фразы с *если* к высказыванию с союзом *а* или *но* требуется не только заменить в ней главное предложение Q на его отрицание, но и произвести некоторые другие трансформации, связанные, например, с референциальным статусом описываемых ситуаций, см., в частности [Урысон 2002а].

странны или аномальны: непонятно, на нарушение какой закономерности указывают в них союзы *а* и *но*.

Приведем аналогичный пример, в котором союз *если* не выражает каузальной зависимости между ситуациями *P* и *Q* и поэтому не может служить пресуппозицией высказывания с союзом *а* или *но*. Ср.:

(31) а. *Если Пете больно (P), он улыбается (Q)* – б. *Пете больно (P), а он не улыбается (Q)*; в. *Пете больно (P), но он не улыбается (Q)*.

Пример (31а) абсолютно нормален и понятен. Между тем высказывания (31б) и (31в) очень странны – они описывают в высшей степени нестандартную ситуацию, предполагая при этом столь же нестандартную пресуппозицию: 'Петя улыбается в том случае, если ему больно'. (Справедливости ради отметим, что пример (31а) допускает и это странное "каузальное" понимание, однако его естественное прочтение не предполагает никакой подобной зависимости между *P* и *Q*.) При естественном, "некаузальном", прочтении пример (31а) не может служить пресуппозицией высказываний (31б, в).

Вообще говоря, фразы типа (30а)–(31а) с "некаузальным" *если* тоже трансформируются во фразы с *а* или *но*, но по совершенно другому преобразованию – не требуя замены *Q* на не-*Q*. Ср.: *Пете больно (P), а он улыбается (Q)*; *Пете больно (P), но он улыбается (Q)*.

Союз *если* в подобных контекстах даже признается "эквивалентом уступительного союза" [Грамматика–80: 588]. Иными словами, утверждается, что следующие высказывания эквивалентны, ср.:

(32) а. *Если Пете больно (P), он улыбается (Q)* – б. *Хотя Пете больно (P), он улыбается (Q)*.

(33) а. *Если он встречал ее (P), она не обращала на него внимания (Q)* – б. *Хотя он встречал ее (P), она не обращала на него внимания (Q)*.

Ясно, что для высказываний с "каузальным *если*" такая трансформация неприменима – в них при замене *если* на *хотя* требуется и замена *Q* на не-*Q*<sup>20</sup>. Ср.: *Если погода дождливая (P), Коля берет зонт (Q)* → *Хотя погода была дождливая (P), Коля не взял зонт (Q)*; *Если у Ивана есть деньги (P), он едет на выходные в Варшаву (Q)* → *Хотя деньги у Ивана были (P), на выходные в Варшаву он не поехал (Q)*; *Если Петя бил Катю (P), она уходила (Q)* → *Хотя Петя бил Катю (P), она не уходила (Q)*.

Но верно ли, что (32а) и (32б) [или (33а) и (33б)] эквивалентны? Разумеется, они описывают одни и те же ситуации: 'Пете больно' и 'он улыбается' ('он встречал ее' и 'она не обращала на него внимания'). Однако при этом фразы внутри пар (32а) и (32б) [или (33а) и (33б)] отнюдь не равнозначны: они выражают совершенно различную связь между описываемыми ситуациями. Фраза с *хотя* указывает на то, что ситуация *P* препятствует существованию ситуации *Q*, а фраза с *если* ничего подобного не выражает. Почему же тогда в этих примерах союзы *хотя* и *если* так легко заменяют друг друга?

Все дело в специфике описываемых ситуаций, или, шире, в устройстве нашего мира. Зная действительность, мы понимаем, что бывает трудно улыбаться, когда тебе больно (или что когда встречаешь знакомого, то странно не обратить на него внимание). При этом с помощью союза *хотя* мы специально указываем на то, что одна ситуация препятствует существованию другой. Употребляя *если*, мы не выражаем подобный смысл средствами языка – он ясен нам, поскольку мы обладаем знанием о мире. Поэтому фразы (32а)–(32б) [(33а)–(33б)] могут быть лишь ситуативно равнозначны: союзы *если* и *хотя* и в данном случае выражают различную связь между описываемыми ситуациями.

До сих пор мы рассматривали пресуппозицию высказываний, предполагающих, что ситуация *P* непосредственно влияет на имеющееся положение дел. Перейдем теперь к

<sup>20</sup> Это – еще одно проявление семантической близости подчинительного союза *хотя* сочинительным союзам *а* и *но*.

таким высказываниям с союзом *а* или *но*, которые предполагают, что данное положение дел обусловлено какой-то третьей ситуацией. Ср.:

(4) *Выиграл чемпионат Европы (P), а <но> на Олимпиаде не вошел в шестерку сильнейших (Q)* (о пресуппозиции этого высказывания см. выше).

(34) *Фамилия у него немецкая (P), но по национальности он русский (Q)*.

Пресуппозицию последнего высказывания мы формулируем так: 'существует нечто, что передается человеку от его родителей, а им – от их родителей и т.д. и что является причиной существования ситуации типа P и ситуации типа не-Q (т.е. того, что человек носит определенную фамилию и имеет определенную национальность, причем фамилия и национальность соответствуют друг другу); в результате, если имеет место ситуация типа P, то имеет место ситуация типа не-Q'.

В случае обусловленности двух ситуаций P и Q каким-то третьим фактором, союз *если* уже не вводит ситуацию-условие (она остается невыраженной) – он просто указывает на сосуществование двух ситуаций<sup>21</sup>. Поэтому для данных высказываний справедливо следующее квазисинонимическое преобразование:

(35) *Обычно, если P, то Q ≈ Обычно если Q, то P*.

Ср.: *Обычно, если спортсмен выигрывает чемпионат Европы (P), он и на Олимпиаде входит в число сильнейших (Q) ≈ Обычно, если спортсмен входит в число сильнейших на Олимпиаде (Q), он выигрывает и чемпионат Европы (P); Обычно, если человек по национальности русский (P), то он носит русскую фамилию (Q) ≈ Обычно, если человек носит русскую фамилию (Q), то по национальности он русский (P)*.

Подчеркнем, что союз *если* и в этих высказываниях выражает каузальную зависимость между ситуациями. Однако в данном случае существование ситуаций Q и P обусловлено некоторой третьей ситуацией, и благодаря этому в данном классе высказываний союз *если* приобретает определенное сходство с симметричными предикатами.

Это свойство союза *если* очень последовательно отражается в высказываниях с союзами *а* и *но*, если их пресуппозиция предполагает опосредованную каузальную связь между P и Q. Такие высказывания допускают аналогичное симметричное преобразование:

(36) *P, а <но> Q ≈ Q, а <но> P*.

Ср.:

(37) *Чемпионат Европы выиграл (P), а <но> на Олимпиаде не вошел в шестерку сильнейших (Q) – На Олимпиаде не вошел в шестерку сильнейших (Q), а <но> чемпионат Европы выиграл (P)*.

(38) *Он русский (P), но его фамилия Вернер (Q) – Его фамилия Вернер (Q), но он русский (P)*.

(39) *Чемодан полон (P), а вещи еще остались (Q) – Вещи еще остались (Q), а чемодан полон (P)*.

Комментарий к последнему примеру см. в разделе 1.

Мы убедились, что в высказываниях с союзом *а* или *но* предполагается каузальная зависимость между ситуациями, и это должно быть эксплицировано в пресуппозиции союза. Между тем краткое выражение вида (A<sub>1</sub>) 'обычно, если имеет место ситуация типа P, то не имеет место ситуация типа Q' описывает как каузальную, так и некаузальную зависимость между P и Q. Поэтому оно не может служить пресуппозицией союзов *а* и *но*. Что касается выражения (A), то оно как раз содержит эксплицитное указание на наличие каузальной зависимости: 'ситуация P влияет на имеющееся положение дел и изменяет его...'. Поэтому (A) является адекватным представлением пресуппозиции союзов *а* и *но*.

Несколько слов о союзе *если*. Вслед за [Жолковский 1964; Вежбицкая 1996] мы считаем, что во всех приведенных примерах этот союз имеет одно и то же значение.

<sup>21</sup> В работе [Гладкий 1982] отношение между ситуациями, обозначаемое союзом *если*, называется сопутствованием.



Специфика союза *если* состоит в том, что, с одной стороны, он нетолкуем и является семантическим примитивом, а с другой стороны, выражает целую гамму отношений между ситуациями, причем среди них есть и каузальные, и некаузальное. В работе [Урысон 2001] мы показали, что союз *если* обладает достаточно сложным значением с дизъюнктивной организацией, причем некоторые фрагменты его значения вполне вербализуемы. В семантику этого союза входит и компонент, указывающий на каузальную зависимость между ситуациями, и невербализуемый элемент, указывающий на какую-то самую элементарную, некаузальную зависимость между ситуациями, как в (32а) – (33а). В presupпозиции союзов *а* и *но* этот элемент значения не нужен. В выражении (А) он "зачеркивается" компонентом 'ситуация Р влияет на имеющееся положение дел и изменяет его'.

#### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Привято считать, что основная функция сочинительных союзов *и*, *а* и *но* – связывать между собой компоненты в составе сложносочиненного предложения или же однородные члены внутри простого предложения. Тем не менее все эти союзы имеют каузальное значение (а союзы *а* и *но* даже более одного такого значения). Правда, у союза *и* каузальное значение, как правило, поддерживается контекстом, а потому выражено менее ярко, чем у *а* и *но*. Тем не менее, соответствующие лексемы данных союзов образуют четкую систему.

Наличие у основных сочинительных союзов *и*, *а* и *но* каузального значения неудивительно.

Хорошо известно, что между предложениями внутри текста существует некая смысловая связь, благодаря чему каждое предложение не просто обозначает ситуацию, но представляет ее во взаимосвязи с другими ситуациями, описываемыми в тексте. Одно из основных значений, выражаемых простым соположением высказываний, – значение каузальности, обусловленности<sup>22</sup>. Ср.: *Начался дождь. пляж сразу опустел; Все устали и проголодались. Работа замедлилась; Дети опять заболели. От прогулки пришлось отказаться.* Одна из прототипических позиций союза – позиция между двумя линейно соседними высказываниями в тексте. Находясь между ними, союзы *и*, *а* и *но* как бы вбирают в свою семантику данную внутритекстовую смысловую связь.

Внутритекстовые семантические отношения, которые выражаются линейной последовательностью высказываний внутри текста, могут быть достаточно разными. Однако естественно считать, что они образуют компактный набор. Выявление его входит в задачи грамматики текста.

Можно ожидать, что союзы выражают какой-то похожий набор значений – данная часть речи конкретизирует или просто дублирует внутритекстовые семантические отношения. Поэтому описав смысловые отношения, обозначаемые в тексте соположением высказываний (т.е. выявив "грамматику линейных последовательностей" [Николаева 1978: 13]), мы, возможно, получим и совокупность значений, выражаемых союзами как частью речи. И обратно, описав семантику союзов, мы сможем лучше уяснить внутритекстовые смысловые отношения, даже и выражаемые бессоюзно.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Апресян 1974 – Ю.Д. Апресян. Лексическая семантика. Синонимические средства языка. М., 1974.  
Богомолова 1955 – А.В. Богомолова. Уступительные конструкции с союзом *хотя* (*хоть*) в современном русском литературном языке: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Л., 1955.  
Богуславский 1996 – И.М. Богуславский. Сфера действия лексических единиц. М., 1996.

<sup>22</sup> В связи с этим в работе [Малинович 1982] вводится особая категория текста – каузальность.

- Вежбицкая 1996 – *А Вежбицкая* The semantics of logical concepts // Московский лингвистический журнал Т. 2. М., 1996.
- Виноградов 1972 – *В.В. Виноградов*. Русский язык: Грамматическое учение о слове. 2 изд. М., 1972.
- Вольф 1985 – *Е.М. Вольф* Функциональная семантика оценки. М., 1985.
- Гладкий 1982 – *А.В. Гладкий*. О значении союза *если* // Семиотика и информатика Вып. 18 М., 1982
- Грамматика–80 – Русская грамматика Т I–II. М., 1980.
- Гречишникова 1971 – *Р.М. Гречишникова* Сложное предложение с фразеологизирующимися средствами выражения уступительных отношений в современном литературном русском языке Автореф. дис. . канд. филол. наук. Л., 1971
- Жолковский 1964 – *А.К. Жолковский*. Лексика целесообразной деятельности // Машинный перевод и прикладная лингвистика. Вып. 8. М., 1964.
- Йокояма 1990 – *О Йокояма* К анализу русских сочинительных союзов // Логический анализ языка Противоречивость и аномальность текстов М., 1990.
- Карлсон 1986 – *Л. Карлсон* Соединительный союз *but* // Новое в зарубежной лингвистике Вып. XVIII. Логический анализ естественного языка М., 1986
- Крейдлин, Падучева 1974а – *Е.Г. Крейдлин, Е.В. Падучева* Значение и синтаксические свойства союза *а* // НТИ. Сер. 2. 1974. № 9.
- Крейдлин, Падучева 1974б – *Е.Г. Крейдлин, Е.В. Падучева* Взаимодействие ассоциативных связей и актуального членения в предложениях с союзом *а* // НТИ Сер. 2 1974. № 10
- Кручинина 1984 – *И.Н. Кручинина*. Текстобразующие функции сочинительной связи // Русский язык. Функционирование грамматических категорий Текст и контекст. М., 1984
- Кручинина 1988 – *И.Н. Кручинина* Структура и функции сочинительной связи в русском языке М., 1988.
- Кустова 2001 – *Г.И. Кустова* Типы производных значений и механизмы семантической деривации Автореф. дис. . докт. филол. наук М., 2001
- Левин 1970 – *Ю.И. Левин* Об одной группе союзов русского языка // Машинный перевод и прикладная лингвистика Вып. 13 М., 1970.
- Ляпон 1988 – *М.В. Ляпон*. Прагматика каузальности // Русистика сегодня. М., 1988.
- Малинович 1982 – *М.В. Малинович*. Текстуальные отношения каузальности (к проблеме категорий текста) // Проблемы лингвистического анализа текста Иркутск, 1982.
- Мартемьянов, Дорофеев 1983 – *Ю.С. Мартемьянов, Г.В. Дорофеев*. Опыт терминологизации общелитературной лексики О мире тщеславия по Ф. де Ларошфуко // Вопросы кибернетики: Логика рассуждений и ее моделирование М., 1983
- МАС – Толковый словарь русского языка: В 4-х тт. М., 1985–1990
- Мельчук 1974 – *И.М. Мельчук* Опыт теории построения моделей 'Смысл ⇔ Текст' М., 1974.
- Николаева 1978 – *Т.М. Николаева* Лингвистика текста Современное состояние и перспективы // Новое в зарубежной лингвистике Вып. VIII: Лингвистика текста М., 1978.
- Николаева 1985 – *Т.М. Николаева* Функции частиц в высказывании на материале славянских языков М., 1985.
- Николаева 1997 – *Т.М. Николаева* Сочинительные союзы *а, но, и*: история, сходства и различия // Славянские сочинительные союзы. М., 1997.
- Падучева 1985 – *Е.В. Падучева* Высказывание и его соотносительность с действительностью (референциальные аспекты семантики местоимений). М., 1985.
- Падучева 1997 – *Е.В. Падучева* Эгоцентрическая семантика союзов *а* и *но* // Славянские сочинительные союзы. М., 1997.
- Падучева 2004 – *Е.В. Падучева*. Динамические модели в семантике лексики М., 2004.
- Перфильева 1985 – *Н.П. Перфильева* Синтаксический статус уступительно-противительных конструкций (в сопоставлении с адверсативными конструкциями) // Структурно-функциональный анализ языковых единиц. Иркутск, 1985
- Печенкина 1976 – *Т.Г. Печенкина* Синтаксическая категория уступительности и формы ее выражения в русском литературном языке второй половины XIX века: Автореф. дис. . канд. филол. наук. Л., 1976.
- Розина 2004 – *Р.И. Розина*. Семантическое развитие слова в русском языке и современном сленге: глагол: Автореф. дис. . докт. филол. наук М., 2004
- Санников 1989 – *В.З. Санников* Русские сочинительные конструкции: Семантика. Прагматика. Синтаксис. М., 1989.

- Теремова 1986 – *Р М Теремова* Семантика уступительности и ее выражение в современном русском языке Л., 1986
- Урысон 2000 – *Е В Урысон*. Русский союз и частица *и*: структура значения // ВЯ 2000 № 3
- Урысон 2001 – *Е В Урысон*. Союз *если* и семантические примитивы // ВЯ 2001 № 4
- Урысон 2002а – *Е В. Урысон* Союз *хотя* сквозь призму семантических примитивов // ВЯ 2002 № 6
- Урысон 2002б – *Е В Урысон* Союз *а* как сигнал поворота повествования // Логический анализ языка. Семантика начала и конца / Отв. ред. чл -корр. РАН Н.Д. Арутюнова. М., 2002.
- Урысон 2003 – *Е.В. Урысон* Семантическая и валентная структура слов с уступительным значением // Русский язык в научном освещении. 2003. № 6.
- Фужерон 1997 – *И. Фужерон* О некоторых особенностях русских сочинительных союзов. Союзы *и* и *а*, союзы *а* и *но* // Славянские сочинительные союзы. М., 1997.
- Шерба 1931 – *Л В. Шерба* О тройном аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании [1931] // *В А Звегинцев* История языкознания XIX–XX веков в очерках и извлечениях. Ч. II. М., 1965.
- Эстрина 1968 – *Л С Эстрина*. Уступительные конструкции, формируемые местоименными словами с частицей *ни* в современном русском литературном языке: Автореф дис. канд филол. наук. Орел, 1968.
- Lakof 1971 – *R. Lakof* If's, and's, and but's about conjunction // *Studies in linguistic semantics* / Eds. Ch.J. Fillmore, D T Langendoen. New York 1971

© 2004 г. Т.А. МИХАЙЛОВА

“ПИКТСКИЕ” ЭТНОНИМЫ НА КАРТЕ ПТОЛЕМЕЯ: ЭПИДИИ

В классической работе о языке пиктов К. Джэксона [Jackson 1955] приводится список из пятнадцати этнонимов (и населенных пунктов), приведенных на карте Птолемея (Птолемея), восемь из которых автор считает предположительно кельтскими, а оставшиеся полагает не имеющими надежной кельтской этимологии. Отсюда он делает вывод о том, что в начале нашей эры севернее Антонинова вала жили одновременно бриттские племена, занимавшие главенствующее положение, и некое автохтонное население, этническая принадлежность которого не ясна. “По крайней мере два разных языка, – пишет он, – сосуществовали на территории Северной Шотландии до начала заселения ее гойделами в V в. Один из них был галло-бриттским диалектом, причем – не идентичным тому, на котором говорило население южнее Антонинова вала, хотя отдельные общие черты при этом наблюдались. Другой вообще не был кельтским и даже не индоевропейским, но принадлежал автохтонному населению Шотландии. Ведь не оставляет сомнений тот факт, что до заселения Британии кельтами ее население должно было говорить на *каком-то* языке” [Jackson 1955: 152]. Как он полагает далее, население региона в целом было двуязычным, причем язык главенствующей группы населения был кельтским, а поработенное население говорило на неизвестном “местном” языке

(термин “диглоссия” им, естественно, не употребляется, поскольку тогда он еще не был изобретен).

Вопрос о примерной принадлежности данного “местного” языка до сих пор остается не решенным. Сам Джэксон предположительно считал его родственным баскскому, и такая точка зрения до сих пор имеет много сторонников (см., например [Guiter 1968]; обзор литературы по вопросу см. в [Nicoll 1995]). С другой стороны – высказывались мнения о том, что до-кельтское население северной Британии было родственно финно-уграм (см. об этом, например, в [Dunbavin 1998]). Сочетание археологических и чисто лингвистических подходов позволяет, в частности, соотнести пиктов с протосаамами, также сохранившими отдельные черты северного палеосубстрата, как это считает, например, В.В. Напольских, полагаящий, что “не лишены смысла поиски субстратной палеоевропейской лексики, сопоставимой с таковой в самском, – в германских и кельтских языках. Под новым углом зрения может быть рассмотрена в этой связи и проблема уникального реликта – неиндоевропейского языка пиктов, зафиксированного в огамической эпиграфике Шотландии” [Напольских 1997: 206]. И, добавим мы, в пиктской топо- и этнонимике.

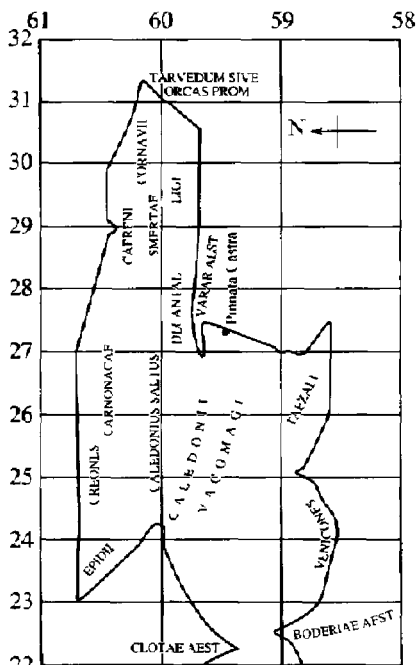


Рис. 1. Северная Шотландия на карте Птолемея

Проблема лингвистической (и этнической) атрибуции автохтонного населения Шотландии, как и шире – проблема до-индоевропейского субстрата Британских островов, до сих пор остается не решенной, хотя в кельтологии и относится к одной из наиболее интересных<sup>1</sup>. Однако не полностью однозначным решением оказывается и отнесение оставшейся части языкового материала (в нашем случае – этнонимов и топонимов) к кельтским. Каким именно "кельтским"? Протогойдельским (что считается маловероятным), галло-бриттским или, шире *p*-кельтским? Либо можно говорить о некоей тупиковой ветви *p*-кельтских языков, которую можно условно назвать "притенской" (от реконструированной на основе ирландского, *Cruithin*, и валлийского, *Prydun*, обозначений пиктов прото-формы \*Priteni – см. [O'Rahilly 1976a: 444], вряд ли существовавшей реально). Данная ветвь должна явиться либо самостоятельным и отдельным продолжением галло-бриттской группы кельтских языков, либо – отделиться позднее, когда бриттский уже не только отделился от галльского (точнее – галльских диалектов), но и начал сам подразделяться на протоязыки, давшие позднее засвидетельствованные уже гораздо более надежно кумбрийский, корнский и валлийский. См. предположительное место (а точнее – места) "языка пиктов" в книге С. Форстер [Forster 1996: 23] – рис. 2:

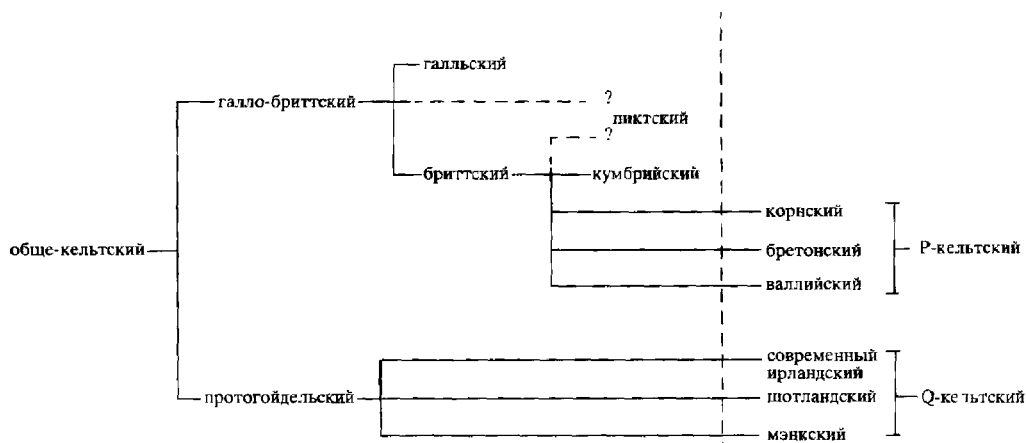


Рис. 2. "Древо" кельтских языков

В принципе, данная схема должна, как можно предположить, иконически воспроизводить развитие кельтских языков во времени. однако сделать это, как нам кажется, можно с достаточной долей аргументированности лишь для языков, представленных в ее правой части, тогда как языки более древние ставят перед исследователем слишком много проблем, хотя бы ввиду отсутствия надежных и достаточно обильных фиксаций. И более того, применительно к кельтским языкам Британских островов, как, наверное, и ко многим другим, мы можем поставить достаточно важный и принципиальный вопрос: где именно проходит чисто лингвистическая граница между родственными языками? То есть, иными словами, как можем мы доказать, что пикты-кельты начала нашей эры говорили не только на *p*-языке, но на самостоятельной ветви бриттской группы языков, а не просто по-бриттски? А если это не так, то как можем мы это опровергнуть при отсутствии достаточного количества памятников, с одной стороны, и при условии постоянного контакта между носителями, с другой? Как, возможно, слишком резко пишет об этом П. Расселл. "теоретически можно предполо-

<sup>1</sup> Этнонимы на карте Птолемея, которые К. Джэксон однозначно считал не-кельтскими (*caledonii*, *venocones*, *taexali*, *vacomagi*) также заслуживают особого анализа в данной связи.

жить, что все субгруппы кельтских языков происходят непосредственно от одного протоязыка, а близость отдельных языковых черт внутри данных субгрупп произошла в результате контактов между носителями" [Russell 1995: 17].

Естественно, на самом деле положение не столь уж безнадежно. Реконструкция системы регулярных фонологических изменений позволяет с относительной надежностью восстановить в диахронии примерные границы между родственными языками, чему, например, посвящена книга "Относительная хронология древних и средневековых звуковых изменений в кельтских языках" К. МакКона [McCone 1996]. Однако, возвращаясь уже конкретнее к нашей проблеме – анализ этнонимов на карте Птолемея – мы должны осознавать еще одну дополнительную трудность: никогда нельзя быть уверенным в том, что мы имеем дело с автоэтнонимом, а не с названием данного племени его соседями, или, более того, с искаженным воспроизведением еще какого-то этнонима. И поэтому, строго говоря, интерпретация этнонима как кельтского еще не доказывает того, что само данное племя было кельтским. В данной связи этноним *epidii* кажется нам особенно интересным.

На первый взгляд, лексема *epidii* кажется поразительно прозрачной семантически и достаточно понятной фоно-морфологически. В ее основе лежит продолжение и.-е. корня, обозначающего "лошадь, коня" – \*ek<sup>h</sup>o-s (ср. лат. *equus*, скр. *ásvah*, греч. ἵπλος), согласно реконструкции К. МакКона – \*h<sub>1</sub>ékwo-s [McCone 1994: 99], и представленного примерно с тем же значением практически во всех кельтских языках – ср. ирл. *ech*, галльск. *Epo-* и валл. *ebol* 'жеребенок' (интервокальное -b- на месте -p- возникло в результате так называемой "бриттской лениции", имевшей место, как принято считать, во второй половине V в., см., например [Jackson 1953: 545, 695]). Данная основа, как можно предположить, в период кельтской общности служила основным обозначением для "лошади, коня", однако, имела при этом ряд синонимов, также засвидетельствованных в ряде позднейших кельтских диалектов. Синонимов, естественно, не точных, но скорее специфицирующих столь важный для культуры того времени объект. Еще в греческих источниках (см. в [Evans 1967: 198]) отмечается лексема μαρκ-, ставшая основной для британских языков (валл. *march* ср.-корн. *margh*, брет. *marc'h*), имеющая параллели в германском (ср. др.-в.-нем. *mar(i)ha*, др.-англ. *mea(h)*) и являющаяся, предположительно, заимствованной из алтайских языков, видимо, не непосредственно, но через какую-то диалектную зону, в которой она получила статус "бродячего слова" (см. [Гамкрелидзе, Иванов 1984: 939]). Видимо, основа *eqwo-* могла закрепиться за обозначением тягловой лошади, тогда как *marc-* обозначала лошадь верховую (ср. корн. *marrek* 'всадник' при ирл. *marcach* 'то же', в то время как основным обозначением лошади в гойдельских языках до начала ново-ирландского периода остается *ech*).

В книге Л. и Дж. Лэнг высказывается предположение, что в районе Западной Шотландии и Гебридских островов, обозначенном у Птолемея как область, населенная "эпидиями", существовала традиция разведения лошадей, причем не только для собственного использования, но и "на экспорт", чем и объясняется сам этноним; реликты этой традиции они предлагают увидеть и в особой теме "мудрой лошади", описанной св. Адамнаном в его "Житии Колумбы", т.е. – на о. Иона [Laing 2001: 82]. Данная идея, как нам кажется, предполагает, что само слово *эпидии* изначально было не автоэтнонимом, а аллоэтнонимом: так обозначались племена, маркированные в глазах соседей данным признаком.

Сама форма *epidii* представляет собой, как принято считать, субстантивированное активное причастие, восходящее к общекеельтскому \**ekvidios*, продолжения которого засвидетельствованы также в гойдельских огамических надписях в форме EQODDI и др. (см. [Королев 1984: 153], откуда также распространенное ирландское имя *Eochu*, *Eochaid* [McManus 1997: 122]). Семантика этнонима (как и целого ряда имен собственных), таким образом, означает примерно – "имеющие дело с лошадьми" или "управляющие колесницами" (но, видимо, учитывая сказанное выше – не "всадники"). Однако при такой трактовке неясным все же оказывается вокализм этнонима, который дол-

жен был бы иметь форму \**epodii*<sup>2</sup>. Поэтому заслуживающей внимания нам представляется трактовка Т. О'Рахилли, который видит как в нашем этнониме, так и в имени ирландского божества *Echde* не старое причастие, а субстантивный композит. Реконструированное \**ekvo-dios* он раскладывает на \**ekvo-* и \**dios*, 'конь-бог', а значение названия племени на карте Птолемея объясняет как "почитающие бога Коня" (см. [O'Rahilly 1976a: 292]). С другой стороны, как пишет А.А. Королев, "сохранение -о-следует объяснить действием лабиовелярного [k<sup>w</sup>]" [Королев 1984: 153]; сохраняется оно также в латинской надгробной надписи LAPIS ECHODI 'камень Эохайда', зафиксированной на о. Иона и датированной эпиграфически началом VII в. [Sims-Williams 2003: 118; Swift 1997: 77] и в латинизованном имени *Echodius* в Житии св. Колума (Колумбы) Килле Адамнана (конец VII в.). Таким образом, можно предположительно реконструировать две протокельтских формы, имеющих вариативный статус, каждая из которых имеет как континентальные, так и островные продолжения: 1 – \**ekvidios* (этноним *epidii*, ирл. *Eichde*, галльск. *Epius* etc.) и 2 – \**ekvodius*<sup>3</sup> (галльск. *Epaticcus*, *Epo-redorix* etc., ирл. огамич. EQODD, EQODDI, ECHADI, ирл. *Eochaid* etc.<sup>4</sup>, ирл. комп. *Echmarcach*, *Echmilid*, *Echri* [Uhlich 1993: 237]). Группа ирландских имен, таким образом, оказывается совпадающей с отдельными галльскими формами, а также этнонимом *эпидии* лишь по первому элементу, который ни этимологически, ни семантически в любом случае, казалось бы, сомнений не вызывает.

Развитие и.-е. \**k<sup>w</sup>* в *p* и *k*, соответственно, лежит в основе классификации кельтских языков (оно было впервые отмечено Джоном Рисом еще в 1882 г. в [Rhy 1882]), однако у нас нет надежных данных для того, чтобы сказать, когда именно это краеугольное разделение имело место и где, и более того, обилие флуктуаций в галльских диалектах демонстрирует относительную аллофонию в данной области. Применительно к периоду историческому (классический древнеирландский, древневаллийский и проч.) мы действительно достаточно надежно находим необходимые соответствия. Ср. валл. *penn* при ирл. *cenn* 'голова' (ср. галльск. *Penno-windos* 'бело-головой') валл. *pru* при ирл. *cia* 'кто', валл. *mar* при ирл. *mac* 'сын' (к протокельтскому \**mak<sup>w</sup>k<sup>w</sup>-os*), валл. *pedwar* при ирл. *cethar* 'четыре' и проч. Континентальные кельтские языки, как кажется, иллюстрируют аналогичную дистрибуцию, что позволяет отнести кельтиберский к *k*-языкам (ср. постпозитивный союз *-sue* 'и, также'), а лепонтийский и галльский – к *p*-языкам (леп. *-pe* 'то же', галльск. *petru-* 'четыре' и проч.).

Таким образом, казалось бы, этноним *epidii* может быть дополнительным аргументом в пользу того, что "загадочные" пикты были просто одной из туниковых ветвей протобриттской группы кельтских языков. Именно так считает К. Форсайт, которая в своей книге "Язык в стране пиктов: дело против не-индоевропейского пиктского" включает данный этноним в список кельтских пиктских племенных имен и, более того, считает его "диагностически бриттским" [Forsyth 1997: 20]. Ее основной вывод (к которому она приходит, по ее выражению, "пункт за пунктом опровергнув аргументацию К. Джэксона") – в стране пиктов существовал только один язык, который был "северным рефлексом бриттского" [Forsyth 1997: 37]. Данный вывод кажется нам поспешным. Не возвращаясь к романтической области до-индоевропейского субстрата Британских островов и пиктским данным, не имеющим надежной индоевропейской интерпретации, взглянемся подробнее в лексику, кельтский характер которой сомнений не вызывает.

Островные кельтские языки демонстрируют, как мы показали, четкое разделение на *p*- ~ *k*-группы, из которых потом развились, соответственно, языки бриттские и гойдельские. Однако совокупность континентальных данных показывает, что в определенный период (видимо – на рубеже нашей эры или несколько ранее) *p* и *k*, восходя-

<sup>2</sup> Ср. однако в галльских именах собственных – *Epillus*, *Epetina*, *Episi*, *Epiu* etc. [Evans 1967: 198].

<sup>3</sup> \**[eχ<sup>w</sup>ad'ih]* – см. [Harvey 1987: 64].

<sup>4</sup> О развитии ирл. форм *Eochu*, *Eochaid* при *Echach*, *Echdach* – см. [Bergin 1932: 140–146].

щие к общекельтскому \*k<sup>w</sup> могли выступать в качестве аллофонов. Так, с одной стороны, в Галлии существовал культ богини, называемой – Эпона (Еропа), которая считалась антропоморфизированным образом древней богини-лошади и изображалась обычно сидящей верхом. Ее имя, видимо, было образовано от и.-е. основы, обозначающей лошадь, и кельтского суффикса *-on-*, используемого в именах мифологических персонажей (см. [Hamr 1978: 152]). С другой стороны, известен месяц *equos* 'конский' из так называемого "Календаря из Колины", предположительно датировуемого II в. н.э. (см. [Lambert 1997: 109]); зафиксирован также гидроним *Sequana* и др. Среди личных галльских имен также известно значительное число с первым элементом *Equ-* (см. [Evans 1967: 199–200]). По мнению К. Шмидта, переход лабиовелярного и.-е. \*k<sup>w</sup> в *qu* произошел не одновременно с соответствующим переходом в *p-* другой группы континентальных кельтских диалектов, но для определенного этапа составил фонетическую инновацию, которая в соответствующих языковых зонах закрепились и в дальнейшем в так называемых "значимых словах" стала, напротив, представлять собой своего рода архаизирующий элемент (см. [Schmidt 1978–1980: 197]). Нам кажется, что инновацией, напротив, может быть назван скорее переход \*k<sup>w</sup> в \**p-* при том, что протогойделлы в данном случае проявляют определенный фонетический консерватизм (см. соотношение с экстралингвистическими данными в [Waddell 1991: 5–7]). Для гойдельских языков сохранение лабиовелярного *k<sup>w</sup>* может датироваться достаточно надежно: процесс слияния данного звука с *k*, как принято считать, произошел примерно в 500 г. н.э. С одной стороны, известно, что звук *p* в британских и латинских заимствованиях интерпретировался гойделами как *k<sup>w</sup>* а не как *k*. Так, имя патрона Ирландии, святого Патрика (*Patricius*), прибывшего на остров в середине V в., в раннем варианте предстает еще как *Cothriche*, а не как \**Cathriche* (лабиальность согласного вызвала соответствующую огубленность следующего за ним гласного). В то же время в надгробной надписи ирландскому королю, умершему, предположительно, в 550 г., \**Uotek<sup>w</sup>orix*, уже отмечен звук *k* – *VOTECORIGES* [Jackson 1953: 169].

По мнению К. МакКона, переход и.-е. глухого лабиовелярного в *p* совершился как своего рода реакция на падение в кельтских языках исконного и.-е. *p*, которое в свою очередь могло произойти под влиянием субстрата: в баскском и аквитанском данного звука вообще нет (см. [McCone 1996: 43]). В таком случае континентальные кельты, разучившись произносить *p*, частично – переселились в Ирландию и дали начало гойдельской ветви языков, частично – остались на континенте и затем постепенно заселили Британию, параллельно развив в своей фонетической системе новое *p*, имеющее иное происхождение. Действительно, еще в огамических надписях мы можем найти и предположительные рефлексы и.-е. *p* (первый знак второй семьи, обозначающей придыхание как последнюю ступень падения и.-е. *p*), и разные знаки для звуков *kw* и *k*, которые в период распространения огамических надписей (IV–VII вв.) уже слились в один звук. В любом случае – данный процесс был относительно поздним и проходил в разных зонах неравномерно.

Но согласно данной теории, протобритты, вступая уже в более поздний период на островах в контакт с переселившимися туда ранее протогойделами, должны были отчасти узнавать в их *k-* (точнее – *qu*) свое *p-*, которое еще недавно звучало как *kw* и в отдельных словах продолжало звучать именно так. Иными словами, до того, как в силу ряда резких фонетических, морфологических и синтаксических изменений, континентальные кельтские языки превратились в островные (примерно V–VI вв. н.э.), как мы можем предположить, на определенном этапе данные языки могли быть взаимопонятными для носителей, хотя, наверное, в разной степени. Так, известным примером в данном случае служит уже приведенное нами выше ирландское имя короля, жившего на территории Уэльса – *VOTECORIGES*. Надпись представляет собой ирландско-латинскую билингву, где в качестве латинского (бриттского) эквивалента имени представлена форма – *VOTEPORIGIS* (см. [Jackson 1953: 169; Sims-Williams 2003: 356], о значении имени см. [Королев 1984: 200]).



Заселение кельтскими племенами Британских островов представляло собой не какое-то глобальное единовременное переселение, но своего рода континуум, в процессе которого группы племен, переживших те или иные языковые сдвиги, накладывались на племена, которые с точки зрения лингвистической отстояли от них всего на несколько шагов (в первую очередь это, естественно, касалось фонетических изменений). Постоянные контакты и волны вторичных переселений, о которых мы находим достаточное количество упоминаний как в ирландских сагах и средневаллийских мабиногион, так и в латинских источниках, также, видимо, обуславливали взаимовлияние языков. Причем, насколько мы понимаем, наиболее "контактной" зоной оказывалась именно северо-западная Британия, т.е. область, заселенная пиктами (кем бы они ни были) и граничащая с бриттами на юге и гойделами ("скоттами") на западе через пролив. Более того, уже собственно Ирландия, особенно – северо-восточная ее область, с данной точки зрения представляла собой также далеко не гомогенную этнически зону. Территория современного Ольстера (северо-восток острова) долгое время была заселена не собственно гойдельскими племенами, но народом, называемым *cruithni*. Последний этноним является, видимо, гойдельской реинтерпретацией британского \**Priteni* (к исходному \**Qriteni*), сохранившемуся в средневалл. обозначении страны пиктов – *Prydyn*. Политическая, антропологическая и культурная автономность данной зоны в Ирландии ощущалась вплоть до VII в., однако с точки зрения лингвистической дело, видимо, обстояло иначе и уже на очень раннем этапе по данным топонимики и ономастики местных правителей "круитни" принадлежали к гойдельской ветви кельтских языков<sup>5</sup>.

Но где именно проходила граница между протогойделами и протобриттами, иными словами – где именно находились области, заселенные той группой кельтских языков, в которой общекельтское \**k<sup>w</sup>* перешло в *qi*? Ответить на этот вопрос довольно сложно, поскольку, о чем мы уже упоминали, северо-восток Ирландии и северо-запад Британии представляли собой в период начиная с рубежа нашей эры особую "плавленную" языковую и этническую зону. Об этом периоде сохранилось не так много надежных свидетельств, однако уже сейчас достаточно очевидно, что традиционная история "гойделизации" современной Шотландии, начинающаяся, якобы, лишь в V в. с заселения ирландцами Дал Риады, в значительной степени упрощает истинное положение вещей. Более того, в одной из недавних работ по вопросу (см. [Campbell 2001: 290]) предлагается еще более радикальное решение проблемы: шотландское население явилось не только продолжением ирландских колонистов, пусть даже и более ранних периодов, но отчасти потомками прото-протогойделов, заселявших западные районы Шотландии, см. карту-схему на рис. 3.

Но сопоставление данной карты-схемы с картой Птолемея показывает нам, что обитателями данной зоны в указанный период как раз и были так называемые "эпидии". Так кем же в таком случае они могли быть?

Еще К. Джексон полагал, что этноним *epidii*, равно как и название мыса Кинтир (Kintyre) – *Epidion Akron*, 'конский мыс' (?) не должны входить в число собственно пиктских, поскольку данная область с точки зрения чисто географической находилась южнее Антонинова вала – границы, отделяющей собственно пиктов от других племен, преимущественно британских [Jackson 1955: 134]. Более того, если мы будем говорить о пиктах в более узком смысле слова – как об особой исторической общности, со своим, достаточно специфическим укладом, то мы тем более не должны будем включать в данную зону Аргайл, где, согласно Птолемею, жили эпидии. Еще в 1926 г. было предложено условно считать "пиктами" этнос, который в качестве жилья использовал своеобразные полуподземные постройки – брохи [Watson 1926: 407]. Вайнврайт полагает это не совсем точным и предлагает относить к пиктам этнос, который использо-

<sup>5</sup> Отметим, что такой феномен, как полная смена языка в истории кельтских племен и диалектов, встречается поразительно часто!

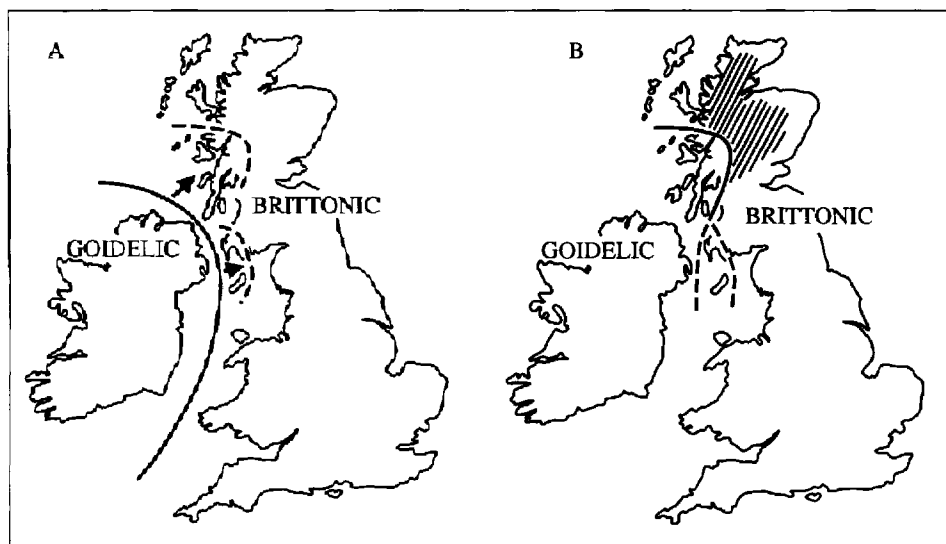


Рис. 3 Альтернативные точки зрения на территориальное распределение гойдельских и бриттских языков

вал особые "пиктские символы" – выгравированные на камнях-надгробиях знаки, предположительно соотносимые с родом занятий, полом и происхождением умершего [Wainwright 1955: 45]. Ни первые, ни вторые, однако, в данной зоне вообще не встречаются, и, таким образом, в область распространения пиктов заселенный "эпидиями" Аргайл не входит. Но в таком случае мы, видимо, должны будем определить данное племя как бриттское (прото-бриттское)?

В гойдельской топонимике данный регион также часто связывается с и.-е. основой, обозначающей коня, а в легендарной истории – с именами перво-предков, имеющих соответствующую этимологию. Так, мифическим предком обитателей этой области – основателем династии королей Дал Арайде – считается Эохайд Мунремар, или Эохайд Риада. В ирландских же источниках встречается перифрастическое название обитателей Дал Риады – *Sil Echdach* "конское семя". Известно также название озера в Северной Ирландии – *Loch nEchach* "Конское озеро" (совр. *Lough Neagh*), возникшее в результате того, что легендарный Финн взял из земли огромный камень и забросил его на восток в воду, от чего появился остров Мэн. В этой легенде можно увидеть также одно из метафорических описаний переселений "конских людей" с запада на восток. Мы можем увидеть здесь рефлексы либо культа бога-коня, как полагал О'Рахилли, либо маркированного и, видимо, сакрализованного использования колесниц, либо просто – развитого коневодства, в любом случае закрепившиеся в названии племени, известном на обоих (!) берегах Ирландского моря и в обоих регионах – семантически мотивированном.

Более того, как отмечает Дж. Фрэйзер, в ирландских же текстах мыс, называемый у Птолемея *epidion akron*, обозначается как *Ardd Echde*, причем в последней форме он видит не калькированное воспроизведение "исконного" бриттского топонима, а скорее параллельное и "независимое" обозначение данной части побережья Шотландии" [Fraser 1928: 189]. Последнее свидетельство кажется нам очень важным. Таким образом, мы можем реконструировать обозначение племени, которое на западном берегу Ирландского моря было известно как *Sil Echdach*, а на восточном – как *epidii*, как же при этом называли себя они сами и какое название было исходным, сказать довольно сложно. Поскольку в бриттских языках, в отличие от гойдельских, продолжения и.-е. основы, обозначающей коня, не засвидетельствованы в качестве общего названия, мы могли бы предположить, что исходным было гойдельское название племени, звучащее примерно как *\*ekwidii*. Данный этноним мог быть затем реинтерпретирован брит-

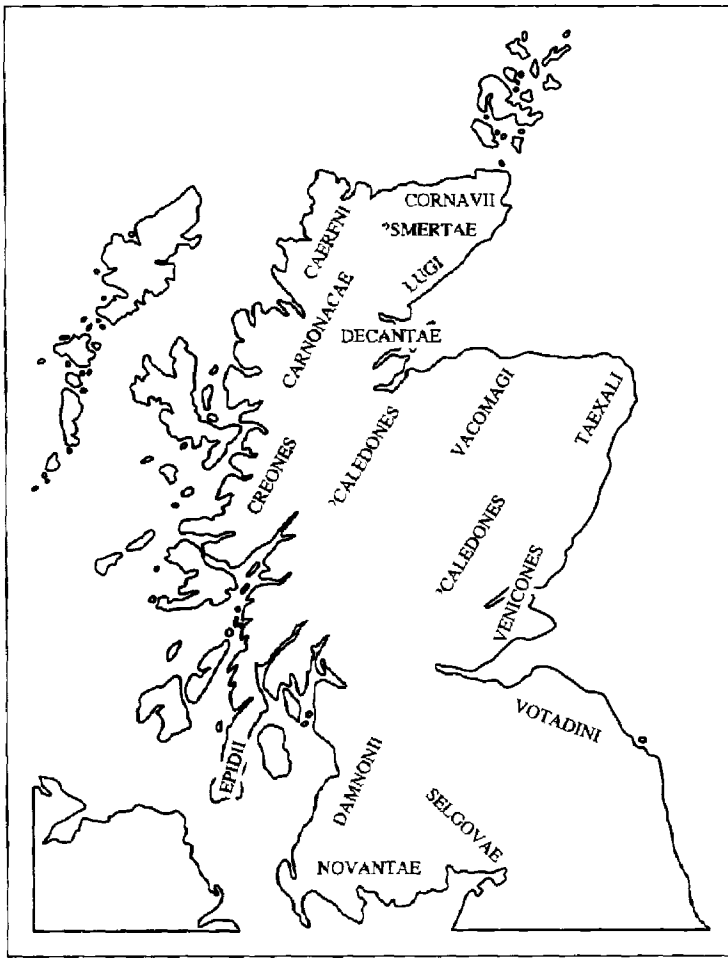


Рис 4. Этнонимы Птолемея и реальная география

тами как *epidi* и в такой форме стал известен Птолемею. Следует обратить внимание, однако, еще на одну деталь. Как отмечал в устном выступлении на конференции, посвященной ирландскому Средневековью (июнь 2003) археолог А. Вулф, Птолемей называл некоторые из Гебридских островов – EBOUDAI, в чем можно увидеть гойдельское произношение бриттского этнонима (с характерным озвончением "чужого" *p* в интервокальном положении, ср., например, *pobal* 'народ', из лат. *populus*). У Птолемея эти острова выглядят как относящиеся к Ирландии, в силу того, что Шотландия на его карте ошибочно развернута на Восток. На самом деле, Гебридские острова примыкают к Западу Северной Шотландии (см. рис. 4). Данный факт может, как нам кажется, служить аргументом в пользу того, что в собственно гойдельском ареале слово *\*ekidii* вообще, возможно, не фигурировало как этноним, хотя исторически этот регион и его население для ирландцев и были как-то традиционно связаны с лошадьми

Итак, суммируя наши рассуждения, мы можем реконструировать примерно следующую предположительную схему

- зона Аргайла и примыкающих к нему островов была "гойделизирована" уже в начале нашей эры, если не ранее. однако долгое время оставалась своего рода "контактной зоной" между гойдельской и бриттской ветвями кельтов,
- жители этого региона занимались коневодством и/или почитали божество Коня. чем были известны контактными племенам:

- на Востоке гойдельского региона возник этноним \**ekwidu* либо как автоэтноним, либо как раннее гойдельское название (аллоэтноним),
- форма \**ekwidu* по той или иной причине не сохранилась и была вытеснена ее британским вариантом *epidu*, который был семантически прозрачной калькой оригинального названия.

Все сказанное, естественно, носит предположительный характер, поскольку, как справедливо отметила Миранда Грин, 'когда речь заходит о ранней истории кельтов, сразу встает проблема этнической самоидентификации' [Green 1996 35]

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Гамкрелидзе Иванов 1984 – Т В Гамкрелидзе Вяч Вс Иванов Индоевропейский язык и индоевропейцы Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры Тбилиси 1984 (Благовещенск, 1998)
- Королев 1984 – А А Королев Древнейшие памятники ирландского языка М 1984
- Напольских 1997 – В В Напольских Происхождение субстратных палеоевропейских компонентов в составе западных финно-угров // Балто-славянские исследования 1988–1996 М., 1997
- Bergin 1932 – О Bergin Varia 10 Eochu, Eochaid // Eriu 1932 V XI
- Campbell 2001 – E Campbell Were the Scots Irish? // Antiquity 2001 V 75
- Dunbavin 1998 – P Dunbavin Picts and Ancient Britons An exploration of Pictish origins Oxford, 1998
- Evans 1967 – D E Evans Gaulish personal names Oxford, 1967
- Forster 1996 – S M Forster Picts Gaels and Scots Early historic Scotland London, 1996
- Forsyth 1997 – K Forsyth Language in Pictland the case against non-Indo-European Pictish Utrecht 1997
- Fraser 1928 – J Fraser The Question of the Picts // Scottish Gaelic studies V II 1928
- Green 1996 – M Green Art and religion Aspects of identity in Pagan Celtic Europe // Celtica 1996 V XXX
- Guter 1968 – H Guter La langue des Pictes // Boletín de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País V 24 San Sebastian 1968
- Hamp 1978 – E Hamp Varia II 2 Gwion and Fer Fi // Eriu V XXIX 1978
- Harvey 1987 – A Harvey The Ogam inscriptions and their Geminate consonant symbols // Eriu 1987 V XXXVIII
- Jackson 1953 – K H Jackson Language and history in Early Britain Edinburgh, 1953 (Dublin 1994)
- Jackson 1955 – K H Jackson The Pictish language // The problem of the Picts / Ed by F T Wainwright Edinburgh, 1955
- Laing 2001 – L J Laing The Picts and the Scots Gloucestershire, 2001
- Lambert 1997 – P Y Lambert La langue gauloise Paris, 1997
- McCone 1994 – K McCone An tSean-Ghaeilge agus a reamhstair // Stair na Gaeilge Maigh Nuad, 1994
- McCone 1996 – K McCone Towards a relative chronology of Ancient and Medieval Celtic sound change Maynooth, 1996
- McManus 1997 – D McManus A Guide to Ogam Maynooth 1997 (1991)
- Nicoll 1995 – E H Nicoll (ed.) A Pictish panorama The story of the Picts and a pictish bibliography Ballyvaughan 1995
- O'Rahilly 1976a – T F O'Rahilly PRITENI PRITANI BRITANNI // T F O'Rahilly Early Irish history and mythology Dublin, 1976 (1946)
- O'Rahilly 1976b – T F O'Rahilly The heavenly horse // T F O'Rahilly Early Irish history and mythology Dublin 1976 (1946)
- Rhys 1882 – J Rhys Early Britain Celtic Britain London 1882
- Russell 1995 – P Russell An introduction to the Celtic languages London, 1995
- Sims-Williams 2003 – P Sims Williams The Celtic inscriptions of Britain Phonology and chronology Oxford 2003
- Schmidt 1978–1980 – K H Schmidt On the Celtic languages of continental Europe // BCS 1978–1980 V 28
- Swift 1997 – C Swift Ogam stones and the earliest Irish Christians Maynooth, 1997
- Uhlich 1993 – J Uhlich Die Morphologie der komponierten Personennamen des Altirischen Bonn, 1993
- Waddell 1991 – J Waddell The question of the celtization of Ireland // Emania Bulletin of the Navan research group № 9 1991
- Wainwright 1955 – F T Wainwright (ed.) The Picts and the problem // The problem of the Picts Edinburgh, 1955
- Watson 1926 – W J Watson The history of the Celtic place-names of Scotland Edinburgh, 1926

© 2004 г. П. Н. ДОНЕЦ

## К ВОПРОСУ ОБ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЕДИНИЦЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Считается что всякая научная дисциплина претендующая на самостоятельный статус, должна обладать собственной исследовательской единицей (ср фонетика ⇒ фонема, теория словообразования ⇒ морфема, лексикология ⇒ лексема и т. д.). Попытки определить такую базовую исследовательскую единицу неоднократно предпринимались и в теории межкультурной коммуникации (далее – МКК), интенсивно развивающейся в последнее время, однако без особого успеха.

Решить эту задачу действительно непросто учитывая сколь большому числу критериев искомая единица должна удовлетворять. Так, она, среди прочего должна

- быть культурно-совместимой" и позволять описывать как центральные, так и периферические элементы культуры,
- быть коммуникативно-совместимой" и способной, наряду с прочим охватывать содержательные элементы МКК разных уровней, причем как неязыкового, так и языкового характера
- быть пригодной для исследования как системно-языковых, так и дискурсивных (речевых), а также текстовых феноменов
- быть применимой на предметном, смысловом (концептуальном) и семантическом уровнях,
- подходить для анализа как самой МКК, так и смежных явлений (межкультурной деятельности, национально-культурной когниции и т. д.)

Прежде чем перейти к изложению собственной точки зрения на эту проблему, рассмотрим некоторые подходы к ее решению, представленные в теории МКК.

Теоретически, отталкиваясь от самого термина межкультурная коммуникация, в поисках соответствующей категории можно исходить как из "культуры", так и из "коммуникации"

Первый из возможных подходов к решению этой проблемы представляет к примеру, Э. Оксаар предложившая на роль базовой единицы коммуникации так называемые *культуреми*<sup>1</sup> причем, истолковывая их в основном поведенчески (как *бихевиоремы*) которые в свою очередь, могут быть "вербальными, параязыковыми, невербальными и экстравербальными и выражаться, например, в том, что некто здоровается, выражает благодарность, проявляет или не проявляет свои эмоции, придерживается тематических табу, должен хранить молчание или нет" [Oksaar 1991: 17]

Этот подход страдает обычными недостатками бихевиоризма, в частности, трудностями при дифференциации понятий "деятельность" и "поведение". Неясным остается также, почему вся культура должна быть сужена до поведения". Кроме того, поскольку "поведение" представляет собой процесс, при помощи этой категории нелегко охватить такие, в принципе, статичные вещи, как знания, вера, значение, искусство и т. д. Однако самый весомый недостаток термина "культурема" видится в том, что он с самого начала обоснован "монистично"<sup>2</sup> т. е. не учитывает контрастивно-культурологическую подоплеку феномена МКК.

<sup>1</sup> Вероятно, по аналогии с известным лингвистическим разграничением фонема ⇔ звук

<sup>2</sup> Здесь в значении монокультурно

Бихевиористской в конечном счете оказывается и одна из наиболее интересных концепций последнего времени – концепция так называемых *культурных стандартов*, принадлежащая А. Томасу. Согласно А. Томасу, центральные признаки культурно-специфической системы можно определить как ‘культурные стандарты’. Под культурными стандартами понимаются все виды восприятия, мышления, оценки и деятельности, которые большинством членов определенной культуры для себя лично и для других рассматриваются как сами собой разумеющиеся, типичные и обязательные. Чужое и собственное *поведение* оценивается и регулируется на основе этих культурных стандартов. Центральными культурными стандартами следует считать те стандарты, которые проявляются в самых разных ситуациях и регулируют широкие сферы восприятия, мышления, оценки и деятельности и особенно значимы для управления процессами межличностного восприятия, оценки и деятельности. Культурные стандарты структурированы иерархически и связаны друг с другом. Они могут быть выделены на различных уровнях абстракции – от общих ценностей до весьма специфических обязательных норм поведения.

Понятие “стандарт” представляется чрезмерно категоричным для явлений культуры, потому что вполне достаточными для этого статуса чаще всего оказываются параметры “относительно распространенное” и “относительно известное”. Кроме того, ориентация на *центральные* стандарты снижает эвристический потенциал этого понятия с точки зрения изучения и описания частных, конкретных проявлений культуры. Следует также отметить, что бихевиористская основа усложняет его применение для исследования культурной специфики текстов и языковых явлений в целом. Весьма важным недостатком категории “культурный стандарт” является также и присущий ей, как и “культуре” Э. Оксаар, “монизм”.

Еще одной категорией достаточно высокого уровня абстракции, способной претендовать на роль базовой единицы МКК, является термин *культурный символ*, предложенный И.К. Швердтфегер с опорой на философскую концепцию Э. Кассирера. Насколько можно судить по объяснениям и иллюстрациям автора, она истолковывает эту единицу довольно широко. Так, к “культурным символам”, на ее взгляд, относятся: “образы видения пространства, времени и территориальности, частной и общественной жизни, работы и болезни, траура, вежливости, света, цвета, извлечения научного знания, дружбы, зла, молчания и многого другого. Интересно, однако, то, что эти культурные символы известны во всех культурах. Они получают в каждой культуре специфическое, фиксированное значение, передающееся в процессе социализации...” [Schwerdtfeger 1991: 241].

Из приведенной цитаты вытекает, что “культурные символы” представляют собой своего рода культурные универсалии, в связи с чем эта категория плохо подходит для контрастно-культурологических исследований. Она вряд ли найдет широкое применение также и потому, что понятие “символ” уже задействовано в лингвистике и семиотике как общий термин для знака (или одной из разновидностей знаков). В паре *культурный символ* – *значение* просматриваются определенные эмпирически-этические параллели с оппозицией *культурема* ⇔ *бихевиорема* Э. Оксаар, но и в этом случае ее понимание “значения” противоречит устоявшейся лингвистической традиции.

Что же касается второго подхода к определению исследовательской единицы МКК, отталкивающегося от “коммуникации”, условно говоря от “коммуникатем” (т.е. ее элементов, составных частей), то в дисциплинах, изучающих различные аспекты МКК (контрастная лингвистика, этнопсихолингвистика, теория перевода, лингвострановедение и др.) было предложено немало единиц, которые позволили охватить значительную часть элементов коммуникации, создающих затруднения в МКК: *лакуны*, *реалии*, *безэквивалентная и фоновая лексика*, *этномаркированная лексика*, *кснизмы* и т.д.

Выдающееся место в этом ряду занимает, несомненно, категория “лакуны”, особенно в интерпретации И. Марковиной и Ю.А. Сорокина [Марковина, Сорокин 1989].

В трактовке этих авторов "лакуна" становится своего рода собирательным (родовым) понятием для всевозможных межкультурных, межъязыковых и межтекстовых расхождений, проявляющихся в МКК и при межкультурном сопоставлении. Разработанная ими классификация включает более 40 типов лаун и, что примечательно, носит в значительной степени таксономический характер. "Внутренняя форма" этого термина показательна в смысле трудностей, возникающих при попытках определения исследовательской единицы МКК, которые, в свою очередь, обуславливаются ее "биполярностью", тем, что она возникает на стыке, при сопоставлении и взаимодействии двух языков и культур, в ситуации *контраста*. В основе термина "лакуна" лежит образ "пробела", "дыры", "скважины" и т.д.<sup>3</sup>, в силу чего внимание акцентируется на отсутствующей или отличной части культурного, языкового или текстового контраста. Парадоксальным образом *наличествующее, бытующее* остается при этом в тени, что на практическом уровне анализа – в связи с естественной инверсией противоречий – может быть, не очень бросается в глаза, но сразу же обнаруживается при попытках теоретического обоснования.

Какой же термин можно было бы предложить в качестве коррелята "лакуны" для уровня манифестации, данного?

Принимая во внимание, что основным дифференциальным признаком первичных форм МКК по отношению к обычной, монокультурной коммуникации выступает столкновение с "чужим" (так называемое "оуждение" – см. [Донец 2001: 102–111]), было бы заманчиво связать этот коррелят с категорией "чужого". Подобные попытки неоднократно предпринимались в теории МКК и смежных дисциплинах (в частности, в теории перевода, контактной лингвистике, герменевтике). На роль соответствующей единицы предлагался чаще всего грецизированный термин *ксенизм*, который, однако, использовался не в качестве гиперонима, а для обозначения заимствований (трансференций) из других языков (языковых вариантов), еще не утративших своей чуждости (см., например [Jung 1993: 214]), а также в отношении ошибочных конструкций при речи на иностранном языке [Ehlich 1986: 50–51]. Некоторыми авторами, впрочем, он распространяется и на явления паралингвистического характера (см. [Hess-Lüttich 1990: 56]).

Термин "ксенизм" неудобен еще и тем, что категория "чужого" имеет в своем составе, среди прочего, и прагматический компонент ("отталкивающее", "внушающее страх" и т.п.). По этой причине представляется, что на роль базовой лучше подходит не столь коннотированная категория *специфического*, а на роль коррелята "лакуны" для уровня манифестации, соответственно, можно предложить – с опорой на распространенную категорию "реалий" – новый термин *специалия*. Эта категория мыслится как единица максимально высокого уровня обобщения, охватывающая все виды специфики культуры, языка, а также речи и текстов на этом языке (дискурса). Вместе с "лакуной" "специалия" образует бинарную единицу *контраста*, охватывающую, в свою очередь, все виды *несовпадений* между сопоставляемыми культурами, языками, дискурсами и текстами. Соотношение между этими категориями можно представить в виде формулы:  $контраст_{x \leftrightarrow y} = специалия_x + лакуна_y$ .

Соответственно, вся сфера специфических явлений, возникающих на стыке, при сопоставлении и контакте двух языков и культур, может быть первоначально подразделена на *культурные, (системно-) языковые, дискурсивные и текстовые* специальности.

Только что введенная категория "специалий" сама по себе не может претендовать на статус рабочей исследовательской единицы МКК – для этого ее содержание слишком расплывчато и гетерогенно. Ее можно использовать, пожалуй, лишь для теоретических построений общего характера или в качестве гиперонима в кореферентных терминологических цепочках. Область "специалий" теоретически поддается рассмотрению на трех уровнях: предметном, смысловом (концептуальном) и семантическом.

<sup>3</sup> Схожую мотивацию имеют и англоязычные термины "holes in patterns" (Ч. Хоккет) или "gaps" (К. Хэйл), от которых отталкиваются И.Ю. Марковина и Ю.А. Сорокин [Марковина, Сорокин 1989: 84–85].

В первом случае исследователь должен отталкиваться от самих реалий, какими они существуют в действительности; во втором – от их отражений в человеческом сознании (смыслы, концепты), и в третьем – от языковых знаков, связывающих эти смыслы (значения, семантика).

Слабые места предметного подхода хорошо известны – к примеру, наличие большого количества абстрактных, невещественных, фиктивных и иных когнитивных образований, существующих лишь в ментальной форме. Учитывая, что в коммуникации речь также идет, в основном, о предметах, недоступных для непосредственного наблюдения, т.е. о тех или иных продуктах концептуализации, следует признать, что предметный уровень вряд ли является подходящим для наших целей.

Что же касается преимуществ и недостатков смыслового (концептуального) и семантического подходов, то на них целесообразно остановиться отдельно.

Наибольшее развитие семантический подход к исследуемой проблеме, вероятно, получил в лингвострановедении, где была предложена специальная семасиологическая ("континентская") теория слова. Ее ядро составляет положение о том, что слово или, точнее говоря, словарное значение является "вместилищем" знаний о неязыковой действительности [Верещагин, Костомаров 1980: 192].

Второй важный элемент этой концепции – разложение значения слова на две составных части: *лексическое понятие*, с одной стороны, и *лексический фон* – с другой. "Лексическое понятие" состоит из признаков (так называемых "семантических долей"), "...обеспечивающих узнавание и именованное соответствующего предмета или явления" [Верещагин, Костомаров 1980: 178]. "Лексический фон" же, в свою очередь, включает в себя, по мнению Е.М. Верещагина и В.Г. Костомарова, все непонятные "семантические доли", относящиеся к слову, и представляет собой поэтому основное "вместилище" страноведческих знаний.

С точки зрения поиска подходящей исследовательской единицы для интеркультуральной разработки "лингвострановедческой теории слова" означала несомненный шаг вперед. Здесь, безусловно, имелась исходная величина, а именно, "значение", что позволило использовать обширный и глубоко проработанный аппарат семасиологии для целей исследования и преподавания. Вопрос контрастивности относительно легко снимался введением термина "национально-культурная семантика"; стало возможным говорить о национально-культурной семантике практически всех "содержательных" единиц языка – слова, предложения, текста, что, в свою очередь, дало возможность охватить значительную часть страноведчески маркированных (национально-культурных) феноменов (в том числе – благодаря категории "фоновой лексики" – и феноменов частично специфических) и т.д.

Вместе с тем, односторонняя привязка к категории значения значительно снижает эвристический потенциал искомой исследовательской единицы, в связи с рядом субстанциональных свойств, присущих языковому Коду:

- языковой Код является принципиально ограниченным по сравнению с неограниченным многообразием мира вещей и идей;
- в связи с этим Код не может не обобщать, т.е. его единицы (по крайней мере, большая их часть) должны обозначать целые классы сущностей;
- по той же причине в Код не входят имена, обозначающие индивидуальные, уникальные объекты (= имена собственные);
- указанное первым противоречие преодолевается не только путем генерализации (обобщения), но и так называемой "асимметрией языкового знака", т.е. способностью языковой формы связывать несколько значений, и наоборот, возможностью выражения одного и того же неязыкового содержания несколькими языковыми формами<sup>4</sup>.

Проиллюстрировать последнюю закономерность применительно к интересующей нас тематике можно на примере лексемы *перестройка*. До конца 80-х годов это было совершенно обычное слово (ни его "лексическое понятие", ни "лексический фон" не

<sup>4</sup> Удачно сформулировал эти соотношения Ф.И. Хаусман: "Выражения полисемичны, а смыслы полиморфны" [Хаусман 1993 : 474].



имели никакой страноведческой окраски), и, тем не менее, с указанного времени оно приобрело культурно-специфическое значение "реформы" и, более того, стало ключевым словом эпохи. Схожую судьбу в бывшей ГДР испытало слово *Wende* ("поворот").

Таким образом, мир смыслов (концептов) гораздо богаче, чем мир языковых знаков, и опора на смысловую уровень может оказаться гораздо более эффективной с точки зрения поиска исследовательской единицы МКК.

И действительно, возвращаясь к приведенным выше требованиям к единице МКК, можно установить, что категория "смысла" отвечает многим из них:

- смысл представляет собой одну из фундаментальных философских категорий, однако легко поддается специализации и конкретизации;
- смысл соотносится с категорией информации и тем самым может привлекаться для описания процессов генерирования и модификации информации в рамках отдельных факторов коммуникации;
- существует устойчивая традиция говорить о смысле Текста – важнейшего коммуникативного фактора (т.е. *смысл* = "содержание");
- отталкиваясь от *смысла*, нетрудно перейти к категории *значения*<sup>5</sup> и охватить таким образом как неязыковые, так и языковые аспекты МКК;
- возможен также обратный путь (через ономазиологический метод);
- привлечение категории *смысла* позволяет анализировать абстрактные, обобщенные и т.п. понятия (в отличие, например, от "реалий")...
- а также выводную (имплицитивную) информацию (в отличие, например, от "концептов")...
- наконец, смысл хорошо стыкуется с так называемыми "менталистскими" моделями культуры, базирующимися на категориях "знака", "значения", "информации" и т.д.

В качестве одной из разновидностей последних может быть предложена "смысловая модель" культуры. Согласно этой модели, культура представляет собой систему, которая: а) генерирует разнообразные смыслы, б) вытесняет их; в) реактуализирует, а также г) подвергает их переоценке; д) заимствует смыслы в иных культурах или, напротив, е) транслирует собственные смыслы вовне, в иные культуры.

Еще один центральный тезис "смысловой" модели культуры состоит в том, что значительная часть смыслов, циркулирующих в культуре, носит специфический характер, присуща только ей.

Культурно-специфические смыслы могут быть противопоставлены *интернационально известным* (в данном случае мы оставляем их за рамками рассмотрения), с одной стороны, и *универсальным* смыслам – с другой. Большинство затруднений (межъязыковой) МКК и переводе связано с наличием в Сообщении (и других звеньях коммуникативной цепочки) культурно-специфических смыслов, а также смыслов, специфика которых восходит к особенностям выражения универсальных смыслов в разных языках.

Перед тем как перейти к более подробному рассмотрению культурно-специфических смыслов, кратко остановимся на смыслах, специфика которых имеет чисто языковую природу.

В соответствии с вышеприведенным разграничением "специалий" на (системно-) языковые, дискурсивные и текстовые, мы можем выделить *лингво-специфические* ("языково-специфические" звучало бы, вероятно, несколько неблагозвучно), *дискурсивно-специфические* и *текстуально-специфические* смыслы.

Первые из названных смыслов восходят к различиям в системе (строе) контактирующих в МКК языков. Лингвоспецифические смыслы могут быть подразделены на: а) смыслы, обусловленные *внешней формой* языковых элементов и б) обусловленные *внутриязыковой формой* смысла. К проявлениям (а) можно отнести, например, рифму в поэзии, образование фразеологических единиц, игру слов, текстуализированные

<sup>5</sup> Ср. мнение М.В. Никитина о том, что значения словестных знаков суть те же понятия, лишь связанные знаком (см. [Никитин 1988 : 46]).

вербальные ассоциации, дополнительный стилистико-прагматический эффект при употреблении территориальных или социальных вариантов произношения и т.д.

Список лингвоспецифических смыслов, детерминированных особенностями внутриязыковой формы смысла, – пункт (б) – гораздо шире. В него входят, в частности, распределение содержания между различными языковыми уровнями, лексическая сегментация понятийных полей, номинативная мотивация слова, сочетаемость, количество идеографических и стилистических синонимов, образность, морфологический и грамматический инвентарь (артикл, род и множественное число существительных; вид и время глаголов) и т.д. Сюда же можно причислить эксплицитность / имплицитность выражения и порядок следования языковых элементов в речевой цепи.

Палитра дискурсивно-специфических смыслов также весьма разнообразна – начиная от глобальных различий типа "разговорчивости" / "молчаливости" культур или предпочтений, отдаваемых в данной культуре устному или письменному модусу коммуникации, и кончая темпом речи или высотой тона при произнесении того или иного речевого сегмента.

Вся область дискурсивно-специфического первоначально может быть разделена на группу паралингвистических и группу узуальных явлений.

Паралингвистические дискурсивно-специфические смыслы можно определить как внешнюю форму дискурса. Они охватывают такие феномены, как интонация, громкость, паузы, заполнители пауз, слушательские сигналы ("эхо"), покашливание и т.д.

Узуальные дискурсивно-специфические смыслы, в свою очередь, поддаются описанию в терминах внутренней формы дискурса. Часть из них коррелирует с номинативной мотивацией лингвоспецифических смыслов (отбор специфических признаков ситуации – ср.: *Push!* ↔ *От себя!*, *Vorsicht, bissiger Hund* ↔ *Осторожно, злая собака!*), а часть может быть охарактеризована как продукт вторичной кодификации: если обычные системно-языковые знаки кодифицированы по линии "означающее" – "означающее", то узуальные единицы характеризуются устойчивой связью с различными коммуникативными факторами (Деятельность, Коммуникант, Ситуация, Тема и т.д.). Типичными проявлениями дискурсивно-специфических смыслов являются обращения, приветствия, объявления, предупреждения и другие микро- и макроречевые акты.

В современном языкознании, за немногими исключениями (ср. [Гальперин 1981: 18]), не принято разграничивать устные (дискурс) и письменные (тексты) Сообщения. Мы считаем, что это все же в некоторых случаях оправдано – хотя бы из эвристических и дидактических соображений.

На уровне текста также выделяется специфическая внешняя и "внутритекстуальная" форма смысла. К первой можно отнести различия в графемике, которые проявляются, к примеру, при переводе (транскрипция и транслитерация), различия в пунктуации, оформлении абзацев и т.д. Ко второй – особенности литературных жанров (хокку, лирик, шванк, повесть) и отдельных типов текста (письмо, рекламные и брачные объявления, заявление, договор и т.д.), специфику приближения к теме и ее развертывания, построения аргументации (например, в научных текстах) и т.д.

Культурно-специфические смыслы (далее – КСС) поддаются классификации на основе различных оппозиций и, в частности, могут подразделяться на: *дискретные* ↔ *недискретные*, *поверхностные* ↔ *глубинные*, *номинативно-связанные* ↔ *коммуникативно-факториальные*, *относительные* ↔ *абсолютные*, *полностью специфические* ↔ *частично специфические*, *серийные* ↔ *уникальные*, *прагматические* ↔ *когнитивные*, *культурно-релевантные* ↔ *культурно-иррелевантные* и др.

Под дискретными КСС понимаются более или менее четко отграничиваемые элементы существующего в сознании человека смыслового континуума, соотносящиеся с предметами, лицами, событиями и т.д. – с семасиологической точки зрения им соответствуют традиционные переводоведческие и лингвострановедческие категории реаллий и страноведчески значимых имен собственных. Разграничить реалии и имена собственные можно на основе оппозиции: *серийные КСС* (классы смыслов) ↔ *уникальные КСС* (индивидуальные смыслы).

*Недискретными КСС* могут считаться понятия высокой степени абстракции и обобщения (СВОБОДА, БОГАТСТВО, ТРАНСПОРТ и т.д.), многие из которых ак-

тивно изучаются в последнее время под именем "культурных концептов" (Ю С. Степанов, В.Н. Телия, В.А. Маслова и др.).

К недискретным можно отнести также и *глубинные* КСС, выявляемые в ходе культурной когниции и коррелирующие с базовыми, основополагающими чертами соответствующих культур (культурные архетипы, "измерения" Г. Хофстеде, "стандарты" А. Томаса и т.д.).

Дискретными являются, большей частью, *номинативно-связанные* КСС (имеющие более или менее устойчивое языковое обозначение). *Коммуникативно-факториальные* смыслы, генерируемые в неязыковых коммуникативных факторах (Отправитель, Ситуация и т.д.) и извлекаемые при помощи импликации (подтекстовая информация, косвенные речевые акты, аллюзии и т.д.), напротив, можно отнести к недискретным КСС.

*Абсолютно специфические* культурные смыслы коррелируют с явлениями, присутствующими лишь одной культуре и отсутствующими во всех других. Таковыми являются большинство уникальных КСС и некоторые реалии *Относительные* КСС могут быть представлены и в третьих культурах.

*Частично специфические* культурные смыслы отражают сущности, совпадающие в сопоставляемых культурах ядерными признаками и отличающиеся периферийными (под семасиологическим углом зрения – частичные реалии и так называемая фоновая лексика).

*Культурно-релевантные* КСС соотносятся с явлениями, занимающими высокое место в смысловой иерархии культуры-источника, культурно-иррелевантные, соответственно, – с менее значимыми.

Оппозиция *прагматическая* ↔ *когнитивные* КСС имеет в виду различия между вещественной и прагматической (оценочной, аксиологической) спецификой.

Подводя итоги нашего краткого исследования, можно утверждать, что понятийная система:  $\text{контраст}_{x \leftrightarrow y} = \text{специализ}_{x} + \text{лакуна}_{y}$ , лингво-, дискурсивно-, текстуально- и культурно-специфические смыслы (со всеми разрядами последних) позволяет охватить большую часть межъязыковых и межкультурных расхождений, проявляющихся в процессе МКК. Эти единицы могут с успехом использоваться в таких дисциплинах, как теория МКК, лингвострановедение, теория перевода, этнопсихолингвистика и других.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Верецагин, Костомаров 1980 – *Е.М. Верецагин, В.Г. Костомаров* Лингвострановедческая теория слова. М., 1980
- Гальперин 1981 – *И.Р. Гальперин* Текст как объект лингвистического исследования. М., 1981
- Донец 2001 – *П.Н. Донец* Основы общей теории межкультурной коммуникации: научный статус, понятийный аппарат, языковой и неязыковой аспекты, вопросы этики и дидактики Харьков, 2001
- Марковина, Сорокин 1989 – *И.Ю. Марковина, Ю.А. Сорокин*. Опыт систематизации лингвистических и экстралингвистических факторов, влияющих на понимание текста // Текст как явление культуры Новосибирск, 1989.
- Никитин 1988 – *М.В. Никитин*. Основы лингвистической теории значения. М., 1988.
- Ehlich 1986 – *K. Ehlich* Xenismen und die bleibende Fremdheit des Fremdsprachensprechers // Hess-Lüttich E.W.B. (Hrsg) Integration und Identität. Tübingen, 1986.
- Hausmann 1993 – *F.J. Hausmann* Ist der deutsche Wortschatz lernbar? Oder: Wortschatz ist Chaos // Info DaF. 5 1993
- Hess-Lüttich 1990 – *E.W.B. Hess-Lüttich* Xeno-Linguistik. Zur Rolle der Sprache in der Interkulturellen Germanistik // Hess-Lüttich E.W.B., Papiór J. (Hrsg.) Dialog: Interkulturelle Verständigung in Europa ein deutsch-polnisches Gespräch. Saarbrücken, 1990.
- Jung 1993 – *M. Jung* Sprachgrenzen und die Umrisse einer xenologischen Linguistik // Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache 19. München, 1993.
- Oksaar 1991 – *E. Oksaar* Problematik im interkulturellen Verstehen // Müller B.-D. (Hrsg.) Interkulturelle Wirtschaftskommunikation. München, 1991
- Schwerdtfeger 1991 – *I.C. Schwerdtfeger*. Kulturelle Symbole und Emotionen im Fremdsprachenunterricht Umriß eines Neuansatzes für den Unterricht von Landeskunde // Info DaF. 3. 1991.

**КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ**

**ОБЗОРЫ**

© 2004 г. М. В. КОЛТУНОВА

**КОНВЕНЦИИ КАК ПРАГМАТИЧЕСКИЙ ФАКТОР ДИАЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ\***

Суммируя представления зарубежных и отечественных лингвистов о правилах поведения для говорящего и слушающего, представления о коммуникативной целесообразности и взаимосвязанности конвенциональных ролей говорящего и слушающего, мы можем сказать о недостаточной структурированности и определенности понятия “речевые конвенции”. К ним, с одной стороны, относят нормы, правила, принципы, традиции, обычаи и ритуалы, определяющие специфику культуры, а с другой стороны, механизмы, регулирующие и гармонизирующие отношения коммуникантов.

В ряде работ зарубежных лингвистов (Дж. Морган, Э. Парре, Б. Фрейзер, П. Стросон и др.) термин “конвенции общения” используется достаточно произвольно и часто подменяет понятие “правила оформления высказывания”. Последние рассматриваются исследователями как необходимое условие успешного речевого взаимодействия, являющееся базисом эффективной коммуникации:

**Принцип правдивости и доверия:** произносимые речевые акты должны соответствовать коммуникативным ожиданиям, то есть соответствовать действительности;

**Принцип выразимости:** все, что может иметься в виду, можно адекватно выразить;

**Принцип неточности выражения в контексте:** приспособление высказывания к коммуникативной цели и отклонение при этом от требования точности;

**Принцип потенциальной выявимости оснований:** высказывание должно соответствовать требованию интенциональной прозрачности;

**Принцип оптимальности:** говорящий стремится минимизировать сложность поверхностной структуры высказывания и максимизировать тот объем информации, который может быть успешно сообщен адресату;

**Принцип договоренности о новом и старом:** задает тема-рематическую структуру высказывания.

Как видно из приведенных примеров, конвенции высказывания представляют собой нормативные требования к формально-логической и тематической организации высказывания, его контекстной уместности.

\* Статья представляет собой обзор работ современных зарубежных и отечественных авторов по названной теме до 2003 года.

Однако сведения о конвенциях как прагматическом факторе общения, то есть нормах и принципах речевого поведения до сих пор не нашли своего полного системного описания в языкознании.

Правила успешного взаимодействия коммуникантов, которые предписывают определенные типы речевого поведения, соотносимые с представлениями о релевантном поведении в институциональном общении, представляют собой **конвенции** – неписанные, но ясно осознаваемые социализированной личностью нормативные типы и модели речевого поведения. Человек в процессе социализации усваивает не только жанры и формы речи, не только этикетные формы и ритуалы, но и то, как нужно взаимодействовать с партнером в эмоциональном и рациональном планах, как ориентироваться в дискурсном пространстве и ориентировать в нем собеседника, как предупреждать конфликтные ситуации, гармонизировать интенциональные установки. Эти фоновые знания присутствуют в речевом сознании взрослого человека неосознанно, на уровне представлений. По выражению М.Л. Макарова, конвенции употребления языка “оперивчены”, то есть закреплены в виде навыков [Макаров 2003: 170].

Говоря о конвенциях диалогического взаимодействия, мы неизбежно приходим к разговору о системности употребления норм и правил конвенционального поведения в диалогическом общении, то есть о **конвенциональном поведении**, которое выражается в стремлении к ситуационно заданному кооперативному координированному коммуникативному взаимодействию.

Для того чтобы яснее представить себе терминологическое значение словосочетания “конвенциональное поведение”, считаем необходимым рассмотреть его в ряду таких понятий, как “социальный институт”, “социокультурный стереотип”, “национальные традиции”, “общие нормы и правила речевого взаимодействия”, “ритуальное поведение”, “этикетное поведение”, “жанр” и “сценарий”.

Социальные стереотипы непосредственно отражают содержание коммуникативного процесса, в то время как конвенции – схемы макродействий, типы взаимодействия, – структурное нормирование дискурса. Нарушение конвенциональных норм, так же, как и несоответствие высказывания социальным стереотипам, приводит к недопониманию, коммуникативным конфликтам и неудачам, иногда даже к коммуникативному шоку.

Интерес к проблеме стереотипного речевого поведения в современной лингвистике проявляется в интерпретации норм коммуникативного поведения [Стернин 1996] или поведенческих моделей конвенционального поведения в кросскультурной коммуникации [Стернин 1996; 2000; 2002; Токарева 1999], в контексте культуры, выявлении воздействия статусных ролей говорящих на речь [Антинескул, Двинянинова 1998], в анализе взаимодействия национально-культурных стереотипов речевого общения в межкультурном аспекте [Прохоров 1997; 1999].

Этот интерес вызван не только стремлением лингвистов исследовать социально уместное поведение коммуникантов, но и показать, как культура транслируется в стиль поведения говорящего, в манеру общения, в такие аспекты поведенческой компетенции, как вежливость, уважение или социально приемлемое поведение, то есть в **стереотипное** поведение. К видам стереотипного поведения относится ритуализированное поведение, к которому, в свою очередь, относится этикетное и неэтикетное ритуализированное поведение. Конвенциональное поведение с неизбежностью включает использование ритуализированных форм и моделей (ритуальных сценариев) общественного поведения.

По мнению Н.И. Формановской, “речевой этикет можно представить как социально заданные и национально специфичные ритуализированные регулирующие правила речевого поведения в ситуациях установления, поддержания и размыкания контакта коммуникантов в соответствии с их статусом и ролями, ролевыми и личностными отношениями, в официальной и неофициальной обстановке общения” [Формановская 2003: 354].

**Ритуал** – это система речевых действий, совершаемых по строго установленному порядку, традиционным способом и в определенное время. Ритуал является главным механизмом коллективной памяти, регулирующим социальную жизнь общества.

К. Лоренц [1994] выделяет три основные функции ритуала, характерные для обществ животных и человека:

- 1) снятие агрессии;
- 2) обозначение круга "своих";
- 3) отторжение "чужих".

Ритуал – важное средство поддержания общих норм и ценностей народа. Подражательность ритуального поведения основана на поведенческом стереотипе, действии, потерявшем целесообразность. По мнению В.А. Масловой [Маслова 2001], поведенческие стереотипы могут переходить в ритуалы.

Вся социальная жизнь общества соткана из ритуальных событий (инициации, прощания, награждения, презентации, юбилей, аттестации и т.п.), пронизана так называемым "диффузным ритуализмом", представленным перформативными высказываниями, закрепленными за привычными жанрами делового общения (приказы, распоряжения, просьбы, жалобы, предложения, заявления, посвящения и т.п.) [Колтунова 2002]. В перечисленных жанрах, безусловно, используются и этикетные высказывания – **этикетные клишированные фразы, этикетные текстовые модули, этикетные тексты.**

Однако понятие ритуального поведения включает обширный корпус конвенциональных речевых действий и жанров социального общения, относящихся к так называемым **процедурным ритуалам**. К ним относятся:

- ритуалы инициации/посвящения (прием в члены какой-либо организации, выдача удостоверений, аттестатов, лицензий и т.п.);
- ритуалы порицания (выговоры, замечания, предупреждения);
- ритуалы отторжения (исключение, увольнение, вывод из состава участников);
- ритуалы статусного регулирования (повышение, понижение в должности, назначение, перевод на другую работу);
- директивные ритуалы (постановления, распоряжения, приказы);
- собственно процедурные ритуалы (голосование, утверждение, открытие/закрытие заседания и т.п.).

Ритуальное поведение в институциональном дискурсе предполагает следование ситуационным стереотипам в речевой деятельности, т.е. оно строго регламентировано. Например, необходимость получения очередного отпуска для сотрудника означает необходимость подачи заявления на имя руководителя, подписания его руководителем предприятия или организации и издание соответствующего приказа. Причем сам текст заявления представляет собой стандартное ритуализированное обращение: *Прошу предоставить мне очередной отпуск с такого-то по такое-то число*. Отпуск предоставляется по закону и не может быть не предоставлен сотруднику, однако регламентированное стереотипное поведение в рамках русской организационной культуры предполагает исполнение данного ритуального действия в данной ситуации. (Причем такие заявления характерны именно для русской организационной культуры, в других странах подобной практики не существует.)

Применительно к ритуальным речевым действиям и к этикетным речевым действиям мы говорим о высокой степени **конвенционализации** речевых действий, то есть о принадлежности их к корпусу текстов и высказываний, закрепленных за регулятивными ситуациями социального общения и являющихся **эталонами** или образцами для участников общения в подобных ситуациях. То есть заявление о предоставлении очередного отпуска нельзя написать, например, следующим образом: *Отпустите меня отдохнуть, а то я очень устал за последнее время* или *Отдохнуть хочу с... по... где-нибудь в Турции*. При обращении к адресату более высокого институционального статуса конвенционально используется перформатив *Прошу/Просим*.

Конвенциональность институционального поведения, таким образом, неразрывно связана с такими понятиями, как "нормативность", "регламентация" и "стандартизация" поведения, реализующихся в конвенциональных ожиданиях.

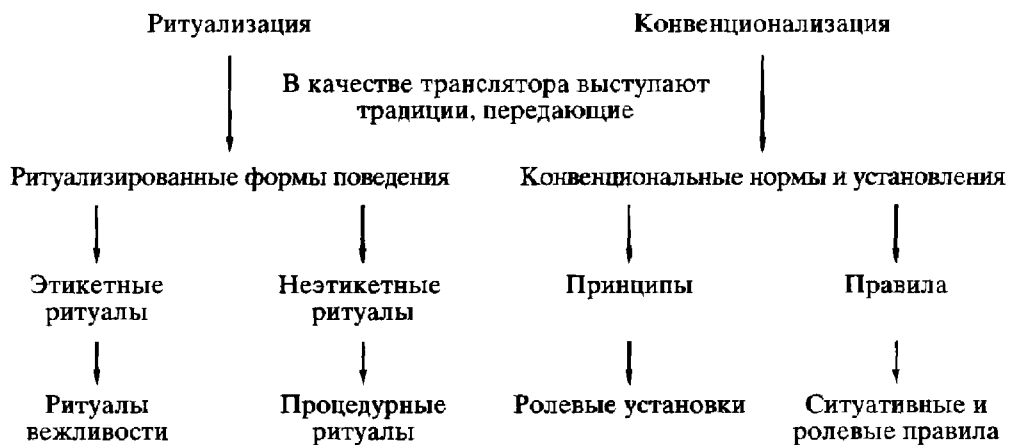
Ритуалы регламентируют общение (по времени и тематике), регулируют его (благодаря четкому распределению и исполнению ролей и жесткого закрепления речевых действий в рамках речевого сценария), определяют его социальное значение. Конвенции же определяют общие принципы и нормы, организующие социальное

общение, делают его рациональным, целенаправленным и организованным процессом передачи информации и волеизъявления, регулируют эмоциональное взаимодействие коммуникантов. Регулирующая функция конвенций незаметна и неощутима для участников диалога, потому что опирается на стереотипы как компоненты речевого сознания. Конвенциональные высказывания могут быть, так же, как и этикетные, не обязательны с точки зрения логико-содержательного развития дискурса, но обязательны для координации и регулирования речевого взаимодействия.

Конвенции, как и ритуалы, выполняют функцию ограничения и сдерживания речевой агрессии и разрушающих общение негативных факторов – в этом проявляется их важнейшая прагматическая функция. Они являются базовым элементом культуры общения. При системном нарушении конвенций речевое поведение перестает отвечать пороговому уровню адекватности, вежливости и становится неэффективным.

Важно отметить, что конвенции закреплены в социальном сознании, относятся к стереотипизированным знаниям. Конвенциональное поведение ориентировано на социокультурные стереотипы, нормы, модели и стандарты речевого поведения. Одни из них универсальны, характерны для речевого поведения представителей подавляющего большинства национальных культур (невозможность отдавать приказы или говорить приказным тоном нижестоящего с вышестоящим по служебной лестнице). Другие – характерны для данной национальной культуры (в американских правилах можно свободно высказывать свое несогласие с вышестоящим по служебной лестнице, а в японской культуре несогласие не высказывается вслух даже коллеге, занимающему такое же положение на предприятии). Конвенции связаны со следующими оценочными установками: “так положено”, “так принято”, “так прилично”, “так заведено”, то есть они осознаются и идентифицируются с определенной социокультурной нормой и традицией. Под традицией понимаем передачу социальных стереотипов поведения из поколения в поколение. Так, по Маркаряну, культурная традиция является “универсальным механизмом, предназначенным для селекции жизненного опыта, его аккумуляции и пространственно-временной трансмиссии”, причем без действия этого механизма “общественная жизнь людей просто немыслима” [Маркарян 1981: 87]. Традиция, таким образом, закрепляет результаты процессов ритуализации и конвенционализации в их системных отношениях, обусловленных рамками одного процесса стереотипизации речевого поведения.

### Стереотипизация речевого поведения



Позиционирование личности в социокультурном пространстве имеет большое значение для овладения типами конвенционального поведения. Социальное речевое поведение немыслимо без владения говорящими определенными типами речевого поведения, диалогического взаимодействия, которые создают комфортную атмо-

сферу общения, “вписываются” в рамки социальных и коммуникативных ролей, то есть отвечают ожиданиям коммуникантов. Под конвенциональностью понимают социальное измерение регулярных человеческих действий, имплицитную систему правил, ожиданий и поведения

Важнейший аспект конвенционального поведения связан с употреблением речевых и языковых форм. Соотношение их с феноменом речевой культуры будет различным. Мнение Дж. Остина [1986] и П. Стросона [1986] о конвенциональной природе иллокутивных актов основывается на их функциональной природе, т. е. на возможности посредством использования перформативов осуществлять речевые социально значимые действия.

- Заявляем о...
- Назначаю.
- Увольняю вас...
- Прошу считать утерявшим силу
- Настаиваю на выполнении обязательств.

**Декларативы, директивы, комиссивы, репрезентативы, этикетные и другие ритуализированные социальные формулы** относятся к так называемым институциональным типам высказываний, реализующимся в соответствующих жанрах официального общения. Кроме этого, к конвенциональным актам относятся разнообразнейшие ритуализованные действия: крещение, посвящение, голосование, арест, признание виновным, бракосочетание, подача в отставку и т. п. Социально значимые действия, осуществляемые при помощи этих иллокутивных актов, регулируют в том числе статусные отношения [Карасик 2002].

Сам выбор речевого акта с социолингвистической позиции должен быть обусловлен ситуацией и статусными отношениями коммуникантов. Неадекватным будет использование директивов нижестоящего вышестоящему по служебной лестнице или младшего по возрасту – старшему

Косвенные речевые акты, имеющие двойную иллокутивную силу, конвенциональны также в двух аспектах – языковом и прагматическом. Это речевые акты с выводимой интенцией, использование которых очевидно при желании говорящего скрыть ее.

Косвенно выражается целый спектр речевых действий – косвенно могут быть выражены просьба, совет, пожелание, побуждение и т. п. Они могут быть использованы в речи и интерпретированы при условии конвенционализации на языковом и прагматическом уровне (вхождении в систему правил речевого этикета данной национальной культуры). В этой связи необходимо заметить, что важную роль в выполнении правил и норм социально приемлемого общения, диктуемых теорией речевых ограничений (ТРО), играют **конвенциональные импликатуры и импликатуры вежливости**. Понятие релевантности социального поведения с неизбежностью включает целый ряд ситуаций, в которых информация должна передаваться косвенно (**косвенные конвенциональные речевые акты**) или посредством импликатур. Причина для использования импликатур как формы позитивной вежливости, как отмечает Дж. Лич, в сущности, состоит в следующем: быть косвенным в речевом поведении означает эффективно передавать сообщение: “У нас достаточно много общего, и мы довольно похожи, так что я знаю, Вы меня поймете” или “Я считаю нужным промолчать об этом, и – Вы знаете/догадываетесь – почему”. Понятно, что в этом случае речь идет о высокой степени кооперации и соционизации общения.

Вот почему такие дискурсивные жанры, в которых недоверие является наиболее сильным (например, в юридическом дискурсе), вызывают наибольшие ожидания строгого эксплицитного сообщения.

Цель вежливости – это сохранение гармоничных и ровных социальных отношений участников общения. Люди часто используют косвенность, когда их коммуникативные цели не совпадают: например, когда их желание уклониться от выражения собственного мнения, чтобы не обидеть, не задеть чувства кого-либо, противоречит их обязанности сказать правду. Например, вместо соответствующего действительности:



*У Вас неважная работа, она не годится для публикации, – соответствующее конвенциональным нормам: Вам нужно еще поработать над темой, учесть замечания и пересмотреть структуру второй главы.*

Конвенционально косвенно выражаются просьбы, советы, предложения:

- *Было бы замечательно, если бы мы встретили этот праздник вдвоем (Я знаю, ты хочешь пригласить гостей. Пропу тебя не делать этого);*
- *Тебе не трудно принести мне воды? (Я плохо себя чувствую и мне трудно вставать. Принеси мне воды);*
- *Мне кажется, тебе лучше было бы сегодня остаться дома. Зачем тебе ехать? (Уже очень поздно. Пропу тебя не ехать сегодня. Я буду волноваться).*

Как видно из примеров, косвенные речевые акты включают имплицатуры, мотивирующие выбор именно этой формы речевого воздействия.

Коммуникативная деятельность в рамках институционального общения, таким образом, опирается на конвенциональность, проявляющуюся в строгом закреплении социальных функций за речевыми действиями и системой речевых процедурных конвенций, представляющих собой поведенческие социальные стереотипы. Последние организуют социальную коммуникацию благодаря нормативно-регулирующей функции коммуникативных принципов, стратегий, правил, тактик речевой деятельности.

Соотношения между языком и социокультурным контекстом носят опосредованный характер, который определяется тем, что в процессе функционирования языка в речи во внешней среде, в речевой деятельности и общении человека происходит не только реализация системы языка, но и формирования иного рода системности – речевой. Отсюда можно заключить, что в непосредственную связь с компонентами культуры вступает не только язык, но и **отлитая в жанровые формы речь.**

С другой стороны, жанр речи тесно связан с такими понятиями, как “традиция” и “поведенческий стереотип”, закрепленный, в том числе, и в сценарной форме жанра. “Жанр – это апробированная, закрепленная традицией форма речевого воплощения функции практического назначения содержания произведения, в жанрах реализуется цель высказывания и, соответственно, практическое назначение языка” [Брандес 1990: 40]. Социальная природа жанрового формообразования опирается на традицию, понимаемую как механизм воздействия культуры на речевое общение. Таким образом, социальная природа речи проявляется в виде механизмов, регулирующих социальное общение, таких как традиция, стереотипизация речевого поведения и нормирование.

Возвращаясь к связи таких понятий, как “традиция” и “жанр”, следует отметить, что, по определению М.М. Бахтина, именно речевые жанры отражают все изменения, происходящие в общественной жизни [Бахтин 1986: 256]. Отсюда ясно, почему именно в недрах жанра протекают важнейшие языковые процессы, главный из которых – стереотипизация – затрагивает, прежде всего, модели речевого взаимодействия, закрепленные в таких когнитивных речевых формах, как сценарий, или скрипт.

Образ ситуации взаимодействия предстает в качестве **ситуативной модели** или, иначе, **сценария**, – пишет в своей монографии М.Л. Макаров: “...управляющие коммуникативным действием когнитивные структуры, как правило, организованы в виде сценариев, отражающих взаимодействие участников коммуникации типа (субъект – субъект) и опирающихся на доминирующее процедуральное знание” [Макаров 2003: 158] Исследователь предлагает называть когнитивные структуры такого рода **процедурными сценариями взаимодействия** (ср.: процедурный сценарий взаимодействия и декларативная модель предметно-референтной ситуации). Если темой фрейма предметно-референтной ситуации является сам предмет общения, то темой сценария взаимодействия – сам тип взаимодействия, или общения, то есть тип дискурса

Последовательность речевых действий и событий, правила исполнения социальных и коммуникативно-ситуативных ролей, тематическая структура отражены в по-

нятии процедурного сценария и закреплены конвенционально. Зафиксированные практикой употребления, прошедшие процесс конвенционализации и стереотипизации, они предстают в сознании говорящих в виде динамической многопараметровой модели речевого взаимодействия.

В письменной речи стереотипизация жанра протекает в виде закрепления стандартных аспектов документа за регулярными ситуациями общения. Под жанровыми конвенциями в данном случае понимаются типичные, устоявшиеся представления о содержании и форме. Так форма текстовой организации и тематические рамки устоявшихся письменных жанров делового общения не создаются говорящим, они даны ему как продукт социальной природы. Например, название документа “Приказ” создает у человека ряд устойчивых представлений о содержании и языковых особенностях этого жанра:

волеизъявление вышестоящего сотрудника, руководителя;

поручение, носящее обязательный характер;

форма, включающая необходимые компоненты текстовой организации: перформатив “Приказываю”, распространенный дополнениями по модели

*Приказываю*

– (кому?)

– (что выполнить?)

– (до какого числа?)

– (на кого возложить ответственность за исполнение приказа).

Таким образом, узусные конвенции – это базовые организующие диалогическое институциональное общение нормы и правила, отраженные в жанровых сценариях и формах (письменных жанров), в статусно-ролевых моделях речевого взаимодействия. Сама способность выполнять социальное взаимодействие посредством языка обусловлена владением этими нормами и правилами.

Традиция – это один из универсальных динамических механизмов трансляции и закрепления в речевой практике этноса стереотипных форм, моделей и правил социального взаимодействия и воздействия социокультурного контекста на речевое сознание в любой сфере коммуникации и в любой его форме. При этом существенно то, что социокультурные прагматические конвенции представлены на различных уровнях (на речеактовом, на уровне сценарного жанрового взаимодействия, на концептуальном, то есть на уровне речевых стратегий и установок). Все эти конвенции взаимодействуют и образуют систему, что и является предпосылкой для регламентации, то есть закрепления результатов конвенционализации в институциональном общении.

Понятие “конвенции общения” В.З. Демьянков, суммируя взгляды зарубежных исследователей, определяет через понятие “принципы конвенционального общения”, оговариваясь, что “границы между конвенциями, заключенными в принципах, правилах и стратегиях общения не строги: принцип может быть использован в качестве содержания для правила, а правило может быть воплощено в виде стратегии” [Демьянков 1982: 336].

В качестве ведущего принципа, определяющего специфику диалогического взаимодействия в процессе общения, Г.П. Грайс выделил **кооперативный** принцип, или принцип коммуникативного **сотрудничества**, включающий максимы количества, качества релевантности и ясности выражения (манеры речи). Сам Принцип сотрудничества проявляется и как стремление к кооперативности со стороны говорящего, и как предположение о таком стремлении слушающего, проявленное в интерпретации, получаемой адресатом.

**Принцип кооперации** – это универсальный принцип общения, без которого оно просто невымыслимо. Кооперация интерактивного взаимодействия в диалоге осуществляется в двух планах – в модальном и в когнитивном. Кооперация в когнитивном аспекте предполагает упорядоченное, осуществляемое посредством сознательного применения тактик и правил коммуникации, ориентированных на адресата, продвижение к общей цели обоими партнерами. “Твой коммуникативный вклад на данном шаге ди-

алога должен быть таким, какого требуют совместно принятая цель или направление обмена коммуникативными действиями, в котором ты участвуешь". – так определяет Грайс суть Принципа кооперации [Грайс 1985: 222]. К средствам, реализующим этот принцип, относятся вербализация коммуникативных намерений, целесообразно организованная мена коммуникативных ролей, правила передачи сложно организованной и объемной информации, проверка усвоения информации и ее обработки адресатом в ходе обсуждения, обозначение этапов обсуждения, симметричность коммуникативной активности, проявляющаяся во взаимной поддержке коммуникативных инициатив.

Эти правила связаны с предметно-логическим аспектом речевого взаимодействия, им должны следовать оба коммуниканта для оптимизации информационного обмена в процессе диалога. Однако следование постулатам Грайса может и не привести к намеченной коммуникативной цели. За границами внимания в данном случае остается значительная часть прагматического аспекта вербального взаимодействия (мена коммуникативных ролей, соотношение интенций, прозрачность и эксплицированность отношений и проч.). Установка на кооперацию обнаруживается через категорию вежливости.

Дж. Лич дифференцирует коммуникативные позиции адресанта и адресата речи в плане коммуникативных стратегий. Говорящий должен исходить из интересов слушающего. Отсюда и соответствующие максимы **Принципа вежливости**:

- **Максима такта**: не навреди другому, соблюдай интересы и права другого, уменьшай затраты других, увеличивай свои собственные затраты;
- **Максима великодушия**: уменьшай собственную выгоду, увеличивай выгоду другого;
- **Максима одобрения**: уменьшай порицание других, увеличивай одобрение других;
- **Максима скромности**: меньше хвали себя, больше порицай себя;
- **Максима симпатии**: уменьшай антипатию, увеличивай симпатии между собой и партнером.

Таким образом, Принцип вежливости универсален с точки зрения системности этических постулатов говорящего, освещенных культурной традицией человечества. Как верно указывает Н.И. Формановская [Формановская 2002], Принцип вежливости является не только этической категорией, но и прагмалингвистической категорией. Он регулирует социальную сторону общения, или иначе, служит целям солидаризации коммуникантов, создания между ними доверительных отношений, психологической синхронизации когнитивного процесса.

Как этическая категория принцип вежливости является ведущим при определении норм и приличий речевого поведения, соблюдения моральных ограничений. Говоря об этом, нельзя не отметить тот факт, что **значительная доля конвенциональных норм и правил существует в виде запретов и ограничений**.

Существование неких моделей речевого поведения, правил оформления высказывания, реакции на услышанное, правил мены коммуникативных ролей и т.д., которые нельзя или нежелательно нарушать, особенно в социальной сфере, свидетельствует о существовании конвенций. Они проявляются в коммуникативных табу, в запретах, в фигурах умолчания, в эвфемистических заменах и т.д. Как правило, они связаны с необходимостью сохранения лица адресата. Сам же факт нарушения таких запретов или отклонения от принятых моделей взаимодействия ярче всего обнаруживает или проявляет существование конвенций. Таким образом, социальное речевое поведение можно описать как результат действия таких ограничений, влияющих на выбор тактики при достижении целей в диалоге. Благодаря этим нормативным ограничениям, по мнению С.А. Сухих [Сухих 1989], и реализуется социальная коммуникация. Теория речевых, и шире – коммуникативных, ограничений опирается на такие понятия, как социальная уместность и национальная специфика. Теория речевых ограничений (ТРО) определяет социальную уместность как имеющую значение для поведенческой тактики вежливости.

“При достижении цели социально уместной тактикой является вежливое, обходительное и почтительное поведение; социально неуместной тактикой (действиями) является невежливое, неучтивое и грубое поведение” [Kellerman, Park 2001: 4]. ТРО определяет эффективность как выбор адекватных речевых тактик, учитывающих национальное своеобразие, социальные характеристики речевой ситуации, имеющие значение для поведенческой целесообразности. Кто начинает диалог, как передаются речевые ходы, какие темы могут считаться релевантными и приемлемыми, как заканчивается диалог, в каких ситуациях не принято возражать (на официально сделанные замечание или выговор), делать замечания (публично), иронизировать (над промахом, физическими недостатками или невольной ошибкой собеседника), комментировать (неудачное выступление, проигрыш и т.п.), – известно каждой социализированной личности. То же касается молчания: в каких ситуациях молчание может быть воспринято как знак солидаризации с адресатом (при сообщении о горестном событии), как свидетельство воспитанности и хороших манер (молчание в таких ситуациях соответствует коду цивилизованного, то есть конвенционального поведения), а когда оно является нарушением конвенциональных норм.

В речевом общении взаимные отношения партнеров “защищены” тактом: внешний вид или личные привычки партнера, как правило, не обсуждаются. Это табу может быть отменено в особых условиях: в неформальном общении или при желании нанести оскорбление. В формальном же общении по оценочным или стереотипным реакциям собеседника мы делаем выводы о степени его социализации и принадлежности к стереотипной культурной и социальной группе. Принадлежность к группе, представляющей высокие типы речевой культуры, проявляется в умении взаимодействовать с коммуникативным партнером, используя прямые и косвенные речевые тактики, в двух сферах – модальной и когнитивной в рамках кооперативного общения в рамках конвенциональных норм.

Одной из форм нарушения таких негласных норм является так называемое несанкционированное, то есть не предусмотренное нормами общения молчание. Как указывает Б. Малиновский, “молчание в некоторых ситуациях могло бы быть расценено как невежливость и невнимание, а иногда даже как враждебность” [Malinowski 1972].

Иными словами, молчание в тех случаях, когда от адресата **ождается** какая-то реакция, считается явным нарушением общепринятых конвенций (например, игнорирование вопроса). Молчание может быть и речевым актом в рамках вежливого поведения – промолчать вместо ответа на грубость или агрессивный выпад. В данном случае желание уклониться от выражения собственного мнения можно объяснить либо **принципом толерантного поведения**, представленным в том числе системой коммуникативных запретов, нацеленных на защиту реализации прав личности, либо как прагматический прием комуфлирования столкновения (конфликта) целей. Толерантность с позиции прагматики рассматривается как тип речевого взаимодействия, противопоставленный вербальной агрессии и близкий к понятию “терпимость”. Социальные нормы толерантного поведения не предусматривают критику убеждений, национальных особенностей поведения (обычаев), одежды и т. д. В сфере институционального общения к нормам толерантного поведения относится уважение иной точки зрения на предмет обсуждения, предоставление оппоненту права ее защиты и сохранения, терпимость к ошибкам и заблуждениям коммуникативных партнеров.

Как прагмалингвистическая категория Принцип вежливости реализуется, прежде всего, в экстралингвистических правилах и средствах организации и оптимизации диалогического общения, контактоподдержания. По выражению Д. Таннен, “вежливость – это включенность в общественные отношения”. Реплики согласия и одобрения, помимо создания психологически комфортной атмосферы общения, структурируют диалог, создают диалогическую перспективу, регулируют подачу и объем информации.

Принципы Грайса и Лича выработаны как постулаты речевого поведения адресанта, адресат при этом рассматривался лишь как объект воздействия говорящего.

На недостаточность такого понимания роли адресата речи указывали ряд отечественных (А.А. Романов, В.И. Лагутин, Л.А. Азнабаева) и зарубежных исследователей (Д. Франк).

Р. Лакофф, сводя значение принципов сотрудничества к двум правилам прагматической компетентности (“выражайся ясно” и “будь вежлив”), выделяет три правила вежливости: 1) не будь навязчив; 2) оставляя другому право выбора; 3) делай так, чтобы другой чувствовал себя хорошо.

В реализации тактик вежливости важную роль играют понятия **позитивной и негативной вежливости (стратегии сближения и отдаления)**. Дж. Лич считает, что негативная вежливость (стремление избежать разногласий, конфликтов) важнее, чем позитивная вежливость (стремление к согласию). Выделяя четыре типа стратегий вежливости, Р. Браун и Ст. Левинсон под позитивной вежливостью имеют в виду проявление дружеского уважения к адресату, а под негативной вежливостью – боязнь показаться навязчивым, помешать адресату, при этом авторы подчеркивают зависимость форм вежливости от ситуации общения (официальная/неофициальная), ролевых отношений (старший/младший). Весьма важным является положение авторов о том, что стратегии вежливости направлены на то, чтобы адресат “сохранил свое лицо”, утверждая, таким образом, необходимость соблюдения **конвенциональных отношений**.

Однако, как показала в своем исследовании Т.В. Ларина [Ларина 2003], вежливость имеет ярко выраженную национальную специфику. На примере сопоставления социальных отношений английской и русской культур исследователем были выявлены различия в понимании понятия “вежливость”: «...английская и русская вежливость имеют разную направленность и разную целевую установку: английская вежливость направлена на объект общения, русская замыкается в субъекте; английская вежливость – это “формальная этикетная деятельность” (вежливый тот, кто демонстрирует внимание к другим), русская вежливость – это “этикетное бездействие” (вежливый – тот, кто соблюдает правила приличия), но в то же время – и реальная, не формальная деятельность (“вежливость должна проявляться не на словах, а в делах”)» [Там же: 27]. Особенно ярко национальная специфика конвенциональных принципов и постулатов проявляется в конвенциональном закреплении в общении желательных и нежелательных тем общения. В западной (европейской и американской) культуре нежелательными считаются темы, потенциально конфликтные и этически неуместные: политика, деньги, личные доходы, проблемы со здоровьем, семейные конфликты. Желательными – вызывающие общий интерес и солидаризирующие – погода, спорт, культурные новости, новости науки и техники. В русской практике общения такие ограничения пока не действуют.

Таким образом, с конвенциональным общением тесно связано представление о предписанном социальном шаблоне поведения, которое ожидается или требуется от человека в данной ситуации в рамках данной национальной культуры [Шибутани 1969].

Исполнение коммуникантами **конвенциональных ролей** связано с исполнением ролевых ожиданий в процессе общения. Конвенциональная роль коммуниканта включает следующие коммуникативные установки:

- ориентация на адресата, учет его статусных, социально-психологических и культурных характеристик;
- прогнозирование речевых реакций в эмоциональном и когнитивном планах;
- моделирование отношений с адресатом в рамках конвенциональных норм.

Эти конвенциональные роли имеют социальные и коммуникативные характеристики и пр. Так, от руководителя подчиненный вправе ожидать корректных советов, распоряжений, иногда покровительства и защиты, но не грубых понуканий, окриков и унижения и т.д.

Конвенциональная роль каждого из коммуникантов (адресанта и адресата) имеет свою специфику, что доказала в своем исследовании Л.А. Азнабаева [Азнабаева 1998]. Так конвенциональная роль адресата оказывается не менее важной для ус-

пешного общения, чем роль говорящего. По мнению исследовательницы, она реализуется в двух ведущих принципах, представляющих специфику взаимодействия в модусной и когнитивной сферах общения.

**Принцип экспликации отношения** – анализ любого реагирующего высказывания, вскрывает в нем наличие эксплицитно или имплицитно выраженного **отношения к собеседнику**. По сути он основывается на презумпции доверия и позитивного отношения к адресату (в противном случае общение становится невозможным) и реализуется в тактиках согласия (искреннего и неискреннего), снижения категоричности, отражения эмоционального состояния и тактиках психологической поддержки (экспликации понимания психологического состояния, выражение сочувствия, утешение).

**Принцип антиципации** – это принцип взаимодействия в когнитивной сфере, сводящийся к предвосхищению в дискурсном развитии элементов высказывания последующих реплик, либо самих высказываний. Он реализует конвенциональные ожидания говорящего по отношению к отвечающему адресату, выявляя функциональную нагрузку адресата в речевом взаимодействии. То есть, говорящий может предвосхитить вопросы и возражения, снять сомнения и недопонимания собеседника. Данный принцип реализуется в таких речевых действиях, как пояснения, объяснения, уточнения, аргументирование.

Это представляется чрезвычайно важным, так как конвенции и проявляются во взаимодействии и субъектов общения, выполняя координирующую и регулирующую функции.

Другим важным положением, высказанным исследовательницей, является мысль о том, что “под конвенциональным речевым поведением понимаются не только эталонные формы, предписанные этикетом, но и **социально-приемлемые** тактики, даже если они не являются строго нормативными”. Это означает, что конвенциональное речевое поведение может расцениваться таковым, даже если содержит отступления от требований этикета, от предусмотренных сценариев поведения, этикетных форм. Так, например, заговорить с незнакомым попутчиком даже на не рекомендуемые в данной ситуации темы лучше, чем молчать. Молчание на протяжении всего пути может расцениваться как проявление высокомерия или враждебности.

Дж. Остин справедливо замечает, что трудно определить, где начинаются и где кончаются конвенции. Они пронизывают всю систему языка и реализуются в различных аспектах речевой деятельности. Они включают этические нормы и прагматические нормы речевого поведения, к которым в институциональной сфере относятся конвенция разрешения и конвенция о высказывании намерения.

**Конвенция разрешения:** действие совершается после получения разрешения на него. Во многих ситуациях институционального общения несанкционированное вступление в речевой контакт расценивается как грубое нарушение конвенциональных норм (например, несанкционированный звонок, факс, письмо).

**Конвенция о высказывании намерения:** говорящий должен высказывать свои коммуникативные намерения в целях ориентации адресата. Помимо цели общения, которая обычно задана жанром (например, цель коммерческих переговоров – договориться о параметрах сделки, подписать контракт), коммуникативный партнер должен знать о коммуникативных намерениях человека, с которым вступает в диалог. Намерения эти могут меняться в ходе переговоров:

- *Я хотел бы поставить вас в известность...*
- *Я хотела бы согласовать с вами ряд вопросов по данному протоколу о взаимных поставках.*
- *Мне нужно посоветоваться с вами и принять решение...*
- *Хотелось бы внести ясность в существующие разногласия по вопросу...*

Принцип кооперации в сфере когнитивного взаимодействия Спербер и Уилсон дополнили **Принципом релевантности** [Sperber, Wilson 1982], соотносимый с Макси-

мой релевантности Грайса (*говори по делу*), согласно которому каждая реплика должна опираться на тему предыдущего хода в дискурсе и быть максимально понятной для адресата.

Правила общения, которые мы можем отнести к прагматическим конвенциям, представляют собой правила исполнения коммуникативных ролей, правила структурирования диалога, правила организации информационного обмена и правила модусного взаимодействия коммуникантов, то есть механизмы, регулирующие и гармонизирующие отношения коммуникантов. Принципы, в свою очередь, реализуются в стратегиях и тактиках конвенционального речевого поведения. Особенно важно исходя из необходимости реализации макстратегических установок и целей гармонизировать сферу модусного взаимодействия. Модусная координация осуществляется посредством использования в дискурсе специальных регулирующих высказываний.

Будучи неинформативными в содержательном плане, не внося ничего нового в план содержания, такие конвенциональные высказывания служат сигналами установления доверительных отношений, подтверждения общей коммуникативной цели и согласия следовать установленным правилам взаимодействия.

- *Если вы не возражаете, мы могли бы начать обсуждение (координация когнитивных установок и гармонизация эмоциональной сферы).*
- *Давайте попробуем подойти к проблеме с другой стороны (координация когнитивных установок).*
- *Я хорошо понимаю ваши затруднения. . (экспликация проблем коммуникативного партнера)*
- *Понимаете, мы очень хотим найти с вами общие интересы и договориться по этим вопросам... (экспликация коммуникативного намерения)*
- *Я что хочу сказать/мы понимаем ваши трудности и готовы идти навстречу. . (экспликация проблем коммуникативного партнера).*

Итак, конвенциональное речевое поведение оказывается не тождественным понятиям “этикетное поведение” и “ритуальное поведение”, хотя и вступает с ними в системные отношения в рамках процесса стереотипизации речевого поведения.

Ритуалы закреплены в стандартных высказываниях, причем предусматривают только одну речевую форму их исполнения, отточенную до формулировки (*Объявляю вам строгий выговор; Награждаю Вас почетным знаком “Ветеран труда”*). Конвенции же представлены правилами и принципами речевого поведения, реализующимися в ролевых установках и правилах диалогического взаимодействия. Конвенциональные высказывания вариативны, но, как правило, закреплены в структуре диалога.

Особый интерес для анализа диалогического дискурса представляет проблема структурирования диалогического дискурса в аспекте конвенционального иллюкутивного вынуждения [Баранов, Крейдлин 1992] и передачи коммуникативных ролей (turns). Мена коммуникативных ролей – важнейшая категория дискурсного анализа (talk analysis, Gesprächsanalyse). Она также участвует в конструкции сценария взаимодействия, поскольку является одним из важнейших аспектов организации дискурса. В связи с этим некоторые лингвисты относят индексы мены коммуникативных ролей наряду с другими речеоорганизующими средствами (**дискурсные маркеры, акты коррекции и редактирования, акты поддержания внимания и проверки понимания** и т. д.) в сферу дейксиса дискурса, отмечая их метакоммуникативный характер.

Мена коммуникативных ролей является составной частью структурного компонента сценария взаимодействия, поскольку обусловлена механизмом иллюкутивного вынуждения и самовынуждения, выявляющим конвенциональную природу конверсационной структуры механизма сцепления реплик в минимальном диалогическом единстве (МДЕ). На вопрос обязательно должен следовать ответ. Отсутствие ответа может означать либо нежелание вступать в контакт/продолжать общение, либо невозможность отвечать ввиду нарушения конвенций (например, вопрос занимающему более

высокое институциональное положение “Какие у вас на сегодня планы?” скорее всего останется без ответа). Реакцией на просьбу должно быть согласие/отказ. Отказ может быть открытым и – в рамках конвенционального поведения – закомуфлированным, представленным косвенным способом. Отсутствие одной из двух реакций будет считаться нарушением конвенции. Реакцией на побуждение должно быть обещание выполнить, действие, либо отказ в его выполнении также конвенционально выражаемый косвенно. К анализируемым единицам мы будем относить конвенциональные высказывания; основным критерием их выделения мы считаем обязательность/желательность с точки зрения общепринятых конвенций.

И.Н. Борисова [Борисова 2003] вводит понятие **коммуникативной координации** (КК) речевого поведения, которая включает коммуникативные характеристики унисонного диалога: согласованность коммуникативных интенций, кооперативность поведения, понимаемую как согласованность речевых ходов, солидарность модально-оценочных смыслов речевых действий (поступков), унисонность тональности общения, симметричность коммуникативной активности и одинаковое понимание результатов общения. При этом основополагающим интегративным фактором (темой сценария) следует назвать тип дискурса, коррелирующий с типом социальной сферы. в данном случае – разговорный бытовой диалог. Несмотря на то, что автором статьи исследуются индивидуальные тактики и правила дискурсного взаимодействия с точки зрения достижения перлокутивного эффекта, в данной категории представлены, на наш взгляд, важнейшие параметры конвенционального поведения. Коммуникативная координация в когнитивной и модальной сферах является базовым понятием конвенциональности, но понимается нами значительно шире. Конвенции могут соблюдаться и в диссонансном общении.

Взаимоотношение социальных и личностных свойств коммуниканта с типами разговорного дискурса определяется принадлежностью к тому или иному типу институционального общения, определяющего тип конвенционального поведения, закрепленного за той или иной социальной сферой общения.

Конверсационные знания, что следует из вышесказанного, являются неперменным условием успешного общения, они позволяют преодолеть барьер “чужой” – “свой”, успешно выполнять различные социальные роли в конвенциональном общении, ибо основные правила диалога предполагают социализацию человека через речь.

Определяя организующую и регулирующую роль конвенций в различных аспектах коммуникативного взаимодействия, можно сказать, что они являются неотъемлемой составляющей диалогического общения. Мы можем выделять зоны максимального и минимального требования исполнения конвенциональных норм. Безусловно, самой “строгой” сферой, в которой соблюдение конвенциональных норм совершенно обязательно и строго регламентировано, является сфера официального или формального (по западной коммуникативной модели) общения.

Соответствующие максимальной степени официальности регламентные отношения предполагают четкое соблюдение коммуникативных и конвенциональных ролей и обязательность их исполнения. Так, представление сторон характерно для социального взаимодействия так же, как и для бытового общения, однако отношение к процедуре представления и там и там будет различным. Строгая прописанность порядка представляющихся сторон и используемых клише официальной речи противопоставлены в бытовой речи относительной свободе и вариативности используемых средств.

Поскольку каждая социальная сфера характеризуется единством конструктивных параметров, которые создают систему типовых речевых ситуаций, характерных для данной сферы и неотделимых от нее, следует предположить, что это проявляется в степени допустимости типов речевых действий [Сухих 1998: 128].

Проблема выделения различных типов социальных сфер напрямую сопряжена с выбором релевантных критериев. Большинство лингвистов сходятся в определении основных параметров ситуации общения, но по-разному трактуют их значимость и по-разному реализуют ситуативные параметры при создании типологий диалогов



или сфер общения (см. [Якобсон 1985; Henne, Rehbock 1995; Levinson 1983; Van Dijk 1980; Wunderlich 1976] и др.).

Наиболее удачной в этой связи представляется попытка С.А. Сухих [Сухих 1998: 9–10] разграничить социальные сферы на основе степени жесткости социального контроля, который описывается, прежде всего, в понятиях норм, конвенций и ритуалов, коммуникативных схем, а также допустимости тем общения и типов речевых действий. Такая типология кажется нам наиболее адекватной, и далее мы будем опираться именно на нее.

Из перечисленных выше критериев нас интересуют параметры чисто социальной природы, а именно: социальные нормы и конвенции, через которые преломляются когнитивные представления о ситуативном контексте, о составе и степени знакомства коммуникантов, об их социальных отношениях и ролях, а также об уровне формальности интеракции.

При комплексном применении этих социальных переменных социальные сферы условно можно разбить на две группы:

1. Формальная (высокий уровень формальности; жесткая необходимость соблюдения норм, обусловленная принципом кооперативности при решении совместных задач; асимметричные социальные отношения, т.е. наличие иерархии в отношениях и т.д.).

2. Неформальная (личностный характер общения, связанный иногда с отрицанием действующих в обществе норм; непринужденное, неофициальное общение; высокая степень знакомства; симметричные социальные отношения и т.д.).

Соответственно можно выделить следующие сферы общения:

1) сфера официального организованного общения в различных областях человеческой деятельности (жестко формальная);

2) полуофициальное общение – сфера обслуживания (потребительская сфера), общение в малых социальных группах (трудовые коллективы) (формальная с допущениями отступлений от правил);

3) сфера досуга (неформальная).

Причем, первая и вторая сферы общения представляют институциональное общение, определяющееся такими параметрами, как

– ориентация на структуру;

– максимум речевых ограничений;

– относительно фиксированная мена коммуникативных ролей;

– примат глобальной организации;

– меньшая обусловленность непосредственно ко-текстом (co-text);

– немногочисленность целей, но обычно имеющих глобальный характер [Макаров 2003].

Нужно добавить, что институциональные сферы общения характеризуются выраженной структурной системностью, поддерживаемой конвенциями. Это можно подтвердить следующей мыслью исследователя: “Функция института заключается в решении определенной социально значимой задачи с точки зрения групповых интересов, что, собственно, составляет социокультурную жизнь (в отличие от физиологической). Каждый институт имеет свою структуру – упорядоченность, выделенность, устойчивость, специфичность, что позволяет распознавать его как членам этой группы, так и сторонним наблюдателям” [Макаров 2003: 205–206].

Мысль М. Дугласа о том, что институт в минимальной философской форме может быть сведен к разновидности конвенции [Douglas 1986: 46], можно дополнить суждением о том, что именно институты закрепляют и систематизируют конвенции за определенными сферами, видами и жанрами общения. Поэтому институциональность проявляется и в степени конвенционализации общения, в разработанности и закреплённости определенных правил и норм социального речевого поведения в той или иной сфере общения.

Как справедливо замечает Н.Л. Овшиева [Овшиева 2002], правила речевого взаимодействия в формальной и неформальной обстановке различны. Возможность экс-

пликация отношения в неформальной обстановке коррелирует с коммуникативными ограничениями в формальной обстановке. Собственно, когда мы говорим о социально приемлемом поведении, мы чаще всего имеем в виду официальное общение

Коммуникация должна опираться на восприятие речи, и это наиболее очевидно в формальном общении. В определенном смысле восприятие речи может быть условием для коммуникации. В формальной обстановке восприятие речи в большей степени должно опираться на конвенции, то есть определенные социальные нормы, правила и тактики ведения диалога, основанные на коммуникативных ожиданиях. Соблюдение этих норм и правил, имеющих национальную специфику, является необходимым условием для успешной коммуникации и функционирования социальных институтов.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Азнабаева 1998 – *Л.А. Азнабаева* Принципы речевого поведения адресата в конвенциональном общении. Уфа, 1998
- Антинескул, Двнянинова 1998 – *О.Л. Антинескул, Г.С. Двнянинова* Статусные роли говорящих и их речь. Уч. пособ. Пермь, 1998.
- Баранов, Крейдлин 1992 – *А.Н. Баранов, Г.Е. Крейдлин* Иллокутивное вынуждение в структуре диалога // ВЯ. 1992. № 2.
- Бахтин 1986 – *М.М. Бахтин* Эстетика словесного творчества. М., 1986.
- Борисова 2003 – *И.Н. Борисова* Русский разговорный диалог зоны толерантного и нетолерантного общения // Философские и лингво-культурологические проблемы толерантности. Екатеринбург, 2003
- Брандес 1990 – *М.П. Брандес* Практикум по стилистике немецкого языка. М., 1990
- Грайс 1985 – *Г.П. Грайс* Логика и речевое общение // Новое в зарубежной лингвистике Вып. 16 Лингвистическая прагматика М., 1985.
- Дейк 1989 – *Т.А. ван Дейк* Язык. Познание. Коммуникация. М., 1989
- Демьянков 1982 – *В.З. Демьянков* Конвенции, правила и стратегия общения (интерпретирующий подход к аргументации) // ИАН СЛЯ. Т. 41. 1982. № 4.
- Карасик 2002 – *В.И. Карасик* Язык социального статуса. М., 2002.
- Колтунова 2002 – *М.В. Колтунова* Ритуальные речевые действия в социальном общении // Stylistika. Вып. XI. Opole. 2002
- Ларина 2003 – *Т.В. Ларина* Категория вежливости в английской и русской коммуникативных культурах. М., 2003.
- Макаров 1986 – *М.Л. Макаров* Метакоммуникативные единицы регламентного общения // Языковое общение и его единицы. Калинин, 1986.
- Макаров 1998 – *М.Л. Макаров* Интерпретативный анализ дискурса в малой группе Тверь, 1998
- Макаров 2003 – *М.Л. Макаров* Основы теории дискурса М., 2003
- Овщикова 2002 – *Н.Л. Овщикова* О стереотипном речевом поведении // Вестник ОГУ 148 2002. № 6.
- Остин 1986 – *Дж.Л. Остин* Слово как действие // Новое в зарубежной лингвистике Вып. 17: Теория речевых актов. М., 1986.
- Прохоров 1997 – *Ю.Е. Прохоров* Национальные социокультурные стереотипы речевого общения и их роль в межкультурной коммуникации // Функциональные исследования: Сборник статей по лингвистике. М., 1997. Вып. 4.
- Ратмайр 2003 – *Р. Ратмайр* Прагматика извинения. М., 2003.
- Стернин 1996 – *И.А. Стернин* Коммуникативное поведение и национальная культура // Дискурс: Новое в лингвистике. Вестник ВГУ Серия 1 Гуманитарные науки. Воронеж, 1996
- Стернин 2000 – *И.А. Стернин* Русское коммуникативное поведение // Проблема национальной идентичности в литературе и гуманитарных науках XX века Воронеж, 2000
- Стросон 1986 – *П.Ф. Стросон* Намерение и конвенция в речевых актах // Новое в зарубежной лингвистике Вып. 17: Теория речевых актов. М., 1986
- Сухих. Зеленская 1998 – *С.А. Сухих, В.В. Зеленская* Прагмалингвистическое моделирование коммуникативного процесса. Краснодар, 1998.
- Сухих 1989 – *С.А. Сухих* Языковая личность в диалоге // Личностные аспекты языкового общения. Калинин, 1989.

- Токарева 1999 – *Н.И. Токарева*. Этнокультурные стереотипы коммуникативного поведения. Автореф. дис. ... докт. филол. наук Минск, 1999.
- Формановская 1994 – *Н.И. Формановская*. Прагматика побуждения и логика языка // Русский язык за рубежом 1994, № 5/6
- Формановская 2003 – *Н.И. Формановская*. Ритуалы вежливости и толерантность // Философские и лингво-культурологические проблемы толерантности Екатеринбург, 2003
- Шибутани 1969 –
- Якобсон 1985 – *Р. Якобсон*. Избранные работы М, 1985
- Douglas 1986 – *M. Douglas*. *Haw institutions think*. Syracuse, 1986
- Keller 1995 – *R. Keller*. Rationalität, Relevanz und Kooperation // Implikaturen: grammatische und pragmatische Analysen / Hrsg von F. Liedtke Tübingen, 1995.
- Kellerman, Park 2001 – *K. Kellerman, H. Park*. Situational urgency and conversational retreat when politeness and efficiency matter // *Communicational research*. 2001 V. 28/1.
- Lakoff 1995 – *R.T. Lakoff*. Conversational implicature // *Handbook of pragmatics* / Ed. by Verschueren, J. Ostman, J. Blommaert. Amsterdam; Philadelphia, 1995
- Leech 1983 – *G.N. Leech*. Principles of pragmatics London, 1983
- Leech, Thomas 1990 – *G.N. Leech, J. Thomas*. Language, meaning and context pragmatics // N.E. Colledge. An encyclopedia of language. London, New York, 1990.
- Malinowski 1972 – *B. Malinowski*. Phatic communion // *Communication in face-to-face interaction* Harmondsworth, 1972
- Terry Hogg, White 1999 – *D. Terry, M. Hogg, K. White*. The theory of planned behavior: Self-identity social identity and group norms // *British journal of social psychology* 1999, V. 38
- Fraser 1996 – *B. Fraser*. Pragmatic markers // *Pragmatics* 1996, V. 6(2).
- Levinson 1983 – *S.C. Levinson*. Pragmatics. Cambridge, 1983
- Sperber, Wilson 1982 – *D. Sperber, D. Wilson*. Mutual knowledge and relevance in theories of comprehension // *Mutual knowledge*. London, 1982.
- Strawson 1991 – *P.F. Strawson*. Intention and convention in speech acts // *Pragmatics: A reader*. Oxford; New York, 1991

РЕЦЕНЗИИ

**А.Е. Кибрик. Константы и переменные языка.** Санкт-Петербург: Алетейя, 2003. 719 с

Когда в 1983 г. А. Е. Кибрик опубликовал дискуссионную статью «Лингвистические постулаты» [Кибрик 1983], обозначившую смену ориентиров в его исследовательском мировоззрении, он был уже признанным специалистом в области грамматики, типологии, прикладной лингвистики и кавказских языков. Поворот от описательного языкознания в идейных рамках позднего структурализма или модели «Смысл ↔ Текст» к объяснительной теории и от формальной грамматики к функционализму не был только фактом личной биографии автора – он совпал с важнейшим вектором развития мировой лингвистики. Рецензируемая книга показывает, каким образом была реализована намеченная в те годы исследовательская программа (итоги первого десятилетия были подведены в монографии А. Е. Кибрика [Кибрик 1992]).

Основная тема книги – универсальность и вариативность в естественном языке, границы языкового многообразия. Различия между естественными языками настолько велики, что, на первый взгляд, подрывают доверие к любой попытке построения универсальной грамматики. С другой стороны, еще более поразительны сходства между языками, предельно далеко отстоящими друг от друга в отношении родства, географического распространения и по типологическим признакам. Попытки игнорировать проблему универсального в языке как «металингвистическую» и остаться в рамках чисто описательной методологии обречены на неудачу уже по той причине, что любой лингвистический термин, применяемый к разным языкам, базируется на определенной теории (хотя и не всегда эксплицитно сформулированной). Как отмечает автор в предисловии, в современной лингвистике представлены два основных подхода к проблеме ограничений (констант), задающих пространство типологических возможностей варьирования (т.е. пространство переменных) естественного языка – формализм Н. Хомского и его последователей и функционализм Т. Гивона, С. Дика, Р. Ван Валина, Дж. Лаккоффа и многих других авторов. А. Е. Кибрик принимает за основу «когнитивную функцио-

нально-семиотическую парадигму», которая основывается на двух методологических принципах. Во-первых, структура естественного языка должна не только описываться, но и объясняться – требованию, в котором едины различные и в остальном несогласные друг с другом направления американской и западноевропейской лингвистики, но до сих пор отвергаемое или скорее игнорируемое многими российскими авторами. Во-вторых, объяснение языковых феноменов следует искать в функциональной и семиотической стороне языка. В основе языкового многообразия, как полагает автор, лежат универсальные шкалы, ограничивающие возможное разнообразие языков, притом не дискретные, а непрерывные, ввиду чего межязыковые различия могут оказываться сколь угодно малыми.

В части I («Лингвистическое знание») рассматриваются проблемы лингвистической методологии. Приведены примеры различных видов лингвистических знаний, А. Е. Кибрик сопоставляет ценность «документальной» и «теоретической» информации о языке. К первой относятся сведения о конкретных словах, морфемах, конструкциях и т.д., ко второй – обобщения типа «в русском языке имеется 6 падежей у существительного» или типа «в каждом языке имеются существительные и глаголы», «в каждом языке имеются члены предложения». Эта классификация лишь частично соответствует противопоставлению наблюдательных, дескриптивно значимых и объяснительных обобщений у Н. Хомского. По мнению автора, документальные знания имеют ряд преимуществ над теоретическими: во-первых, они несравненно медленнее устаиваются, а, во-вторых, задача документирования некоторой области фактов, например, создание словаря, репрезентативного корпуса морфологически проанализированных текстов, полных таблиц парадигм (кроме, может быть, полисинтетических языков), практически разрешима, в то время как задача полного теоретического осмысления языковых фактов подобна убегающей от наблюдателя линии горизонта. Впрочем, чисто документальных и чисто теоретических научных работ не

существует.. документирование всегда опирается на некоторую . систему допущений (с. 37–38)

Замечу однако, что при переходе от ограниченных множеств фактов (фонемы морфологические парадигмы, аффиксы и т.д.) к неограниченным, открытым множествам, например предложениям, документирование в несравненно большей степени попадает в зависимость от теории. В качестве примера укажем на огромный объем фактов по синтаксису арчинского языка, документированных в исследовании А.Е. Кибрика [Кибрик 1977]. За последующие годы синтаксическая типология развивалась так быстро, что даже для краткой типологической анкеты по синтаксису дагестанских языков, разработанной А.Е. Кибриком в начале 1980-х гг., собранных ранее арчинских фактов, несмотря на их качество и объем, оказалось недостаточно. Поэтому в 'Материалах по типологии эргативности' предварительно опубликованных в 1979–1981 гг. и переизданных в рецензируемой книге, парадоксальным образом наиболее изученный к тому времени арчинский синтаксис представлен в ряде отношений менее полно. Наконец, в свете наших сегодняшних представлений о типологии и грамматике дагестанских языков потребовался бы новый сбор фактов арчинского языка, чтобы ответить на новые вопросы. Например, в книге 1977 г. арчинское местоимение *inʒ* характеризовалось как личное местоимение, обычно обозначающее при глаголах речи один из актанта глагола, зависящего от глагола говорения: *low inʒ wirx, dērsi ewdi* 'Он, (что) он поработал, говорил'. А.Е. Кибрик не исходил тогда ни из какой теории анафорических местоимений, потому что в 1977 г. такой теории не существовало. Ожидалось, что в принципе анафорическое местоимение может обнаружить и такие синтаксические свойства, и любые другие. За прошедшие годы мы узнали, что свойства анафорических местоимений далеко не произвольны и не случайны; в терминах нынешних классификаций скорее можно предположить, что арчинское *inʒ* относится не к личным местоимениям, но к логофорическим дистантным рефлексивам. Недостаточна уже и синтаксическая анкета 1980-х гг. – современному уровню знаний отвечает скорее анкета Е.А. Лютиковой по анафорическим местоимениям, опробованная, в частности, под руководством А.Е. Кибрика на материале дагестанских языков [Лютикова 2002]. Таким образом, мы видим, что при исследовании синтаксиса и семантики фактический материал, сколь это ни обидно, устаревает вместе с теоретическими предпосылками, которые положены в основу

анализа. Устаревание, впрочем не отменяет научного значения фактов, оно лишь обнаруживает их неполноту.

Лингвистика 1950–1960-х гг. характеризовалась стремлением применить к языку естественнонаучные методы, и, признавая, что этот подход привел к большим успехам, автор в то же время подчеркивает, что со временем стали очевидны его ограничения, так как язык далеко не только естественный природный объект, но также объект психической, социальной, культурной и т.д. природы. Решение прикладной проблемы общения человека с машиной на естественном языке оказалось невыполненным и – даже на сегодняшнем уровне наших знаний – невыполнимым обещанием. Под "лингвистикой 1950–1960-х гг." А.Е. Кибрик подразумевает в первую очередь модель "Смысл ↔ Текст" и ранние варианты порождающей грамматики Н. Хомского, точнее, то понимание ее, которое было распространено в российской лингвистике (в действительности Хомский с самого начала резко критически относился к структуралистской методологии с ее культом строгого описания и считал влияние прикладных моделей не только бесполезным, но даже вредным для теоретических исследований). Формальные модели не есть единственный инструмент развития лингвистической теории, они применимы лишь к некоторым аспектам языка. Альтернатива формально-описательной лингвистике – когнитивно ориентированная типология, которая исходит из того предположения, что "пределы межъязыкового варьирования в конечном счете обуславливаются особенностями человеческого интеллекта и коммуникации, то есть когнитивной способностью человека" (с. 44). Там, где формальный подход видит в языке хаотическую усложненность, когнитивно ориентированный подход способен увидеть логику и последовательность: например, отсутствие множественного числа у обозначений собирательных совокупностей (*морковь, брусника*), но наличие у них форм сингулятива (*морковка брусничина*) обнаруживает проявление когнитивного принципа разграничения нормальных и выделенных ситуаций.

В части 2 ("Современная лингвистика в исторической перспективе") рассматриваются некоторые не утратившие актуальность вопросы истории лингвистики. В главе, посвященной Э. Сепиру, американский ученый характеризуется как опередивший свое время создатель интегрального подхода к языку и культуре, для которого языки являются "культурными хранилищами. . . сетей психических процессов" [Сепир 1993: 255]. В очерках,

посвященных И.А. Мельчуку и истории Отделения структурной (ныне – теоретической) и прикладной лингвистики филологического факультета МГУ, объединены личные воспоминания автора, его исторические изыскания и оценки перспектив развития науки о языке. Яркий выразительный портрет "харизматической" личности, выдающегося лингвиста И.А. Мельчука, во многом определившего развитие российской лингвистики в 1960–1970-х гг., сопровождается рассказом о конфликте его с тогдашней академической средой. Во втором историческом очерке автор подчеркивает, что начиная с 1960-х гг. система перешла от наступления к обороне, и в закрытии кафедры структурной и прикладной лингвистики МГУ в 1982 г. проявилась уже не столько борьба с "чуждой идеологией", сколько откровенный цинизм – "увлеченность делом, энтузиазм и стремление к разумной деятельности становились все более подозрительными и предосудительными – это... ровняло тень на тех, кто лишь имитировал деятельность и энтузиазм" (с. 87).

Оценка А.Е. Кибрика, согласно которой модель Мельчука "значительно опережала теорию трансформационной порождающей грамматики" (с. 77), отражает мнение, распространенное в то время среди российских лингвистов. Это мнение когда-то разделял и рецензент; однако сегодня мне кажется, что Н. Хомский и И.А. Мельчук настолько поразному представляют себе смысл, цель и методы лингвистической работы, что трудно найти какую-нибудь основу для сравнения их концепций, даже с чисто "технической" точки зрения.

В части 3 ("Теория элементарного предложения") подводится итог многолетним исследованиям А.Е. Кибрика в области типологии предикативной конструкции. Центральное место здесь занимает 10 глава "Реляционная структура элементарного предложения", в которой языки, использующие технику синтаксических отношений (членов предложения) представлены как частный случай типологии, опирающейся на несколько фундаментальных прагматических и семиотических принципов. Трудности с выделением подлежащего в языках с неаккузативным типом конструкции вызваны не тем, что соответствующие аналитические критерии мало разработаны, а тем, что во многих языках отсутствует уровень ядерных синтаксических отношений, таких, как подлежащее, прямое и не прямое дополнения. Исходными семантическими ролями ядерных актантов двухместного глагола являются переходный агент и переходный пациент (А и О/Р в принятой у типологов нотации).

При расширении исходных ролей, когда имеют значение не абсолютные, а относительные значения ролевых признаков, возникают гиперроли – агентив (тот участник ситуации, который наиболее похож на агенса), актер, принципал, претерпевающий и др.

Кроме ролевого измерения, используется также коммуникативное (тема/рема и сходные категории) и дейктическое (говорящий/слушающий/прочие) измерения. Иерархия измерений: ролевое > коммуникативное > дейктическое > прочие обладает предсказующей силой, ограничивая множество языковых типов и объясняя неравномерность их статистического распределения. Выделяются нейтральная (отсутствие формы), сепаратистская (одна форма – одно значение) и кумулятивная (одна форма – несколько значений) стратегии кодирования. Языки по синтаксическому типу подразделяются на безосевые, т.е. такие, которые игнорируют ролевые, коммуникативные и дейктические концепты при оформлении актантной структуры (одним из возможных кандидатов выступает яриу индонезийский, согласно описанию Д. Гила [Gil 1994], одноосевые, т.е. чисто ролевые (навахо, арчинский), последовательно ориентированные на выражение коммуникативных категорий (лису), последовательно дейктически ориентированные – вероятность существования последнего типа невысока, см. выше иерархию измерений, отражающую количественное распределение языков по типам, возможным кандидатом выступает южноамериканский язык авантит. Тагальский язык представляет сепаратистский коммуникативно-ролевой тип, папуасский язык йимас – дейктически-ролевой, сепаратистским дейктически-коммуникативно-ролевым можно признать юкагирский язык.

Кумулятивная техника предполагает наличие особого посредствующего уровня между значениями и формами – синтаксическое уровня (подлежащее и разные виды дополнений), причем "амальгамирование" характеристик именных групп происходит в соответствии с иерархией измерений слева направо: ролевые признаки формально объединяются с коммуникативными и дейктическими. К многоосевым кумулятивным языкам относятся хорошо известные в синтаксической типологии синтаксически аккумулятивные (русский) и синтаксически эргативные (австралийский язык дирбал и филиппинский язык капампан). А.Е. Кибрик указывает на некоторые корреляции между типами и морфосинтаксическими средствами кодирования: так, безосевые языки предпочитают изолирующую морфологию и свободный порядок слов, кумулятивные языки – флективную морфологию

или жесткий порядок слов и т.д. Наиболее ценный, на наш взгляд, результат предложенной типологии заключается в том, что она, с одной стороны, верно предсказывает редкость некоторых типов (например, безосевого или чисто действительного) и, с другой стороны, допускает их принципиальную возможность. Такая исследовательская стратегия, позволяющая интегрировать "исключения" в общую картину в качестве "рецессивного" типа, представляет собой закономерный шаг вперед в методологии типологических исследований.

Идея неуниверсальности подлежащего и других синтаксических отношений находит, как и в более ранних работах А.Е. Кибрика, опору в материале дагестанских языков. На наш взгляд, в этих языках (как, вероятно, и в других "сепаратистских") точнее было бы говорить не об отсутствии кумулятивной стратегии, а о ее периферийности.

Так, в аварском языке единственный обнаруженный нами признак грамматического приоритета, ориентированный на подлежащее – контроль рефлексивных местоимений: *Расулаца живго сияхI-алда хъв-ана* 'Расул-ЭРГ себя.НОМ в.список-ЛОК записал-АОР'; \**Расул жин-цаго сияхI-алда хъв-ана*, букв. 'Расула.НОМ сам-ЭРГ в.список-ЛОК записал-АОР'; ср. с непереходным глаголом *Вас жин-дихъго валагъ-ана* 'Мальчик.НОМ на.себя-ЛОК посмотрел-АОР'; \**Вас-асухъ живго валагъ-ана*, букв. 'На.мальчика-ЛОК сам.НОМ посмотрел-АОР'. В цахурском языке, кроме контроля локальных рефлексивов, подлежащее контролирует также употребление указательных местоимений в анафорической функции: они не могут контролироваться подлежащим никакого элементарного предложения, в которое они входят. В абхазском языке одна из самых употребительных нефинитных глагольных форм – деепричастие на *-ны* проявляет избирательность, аналогичную поведению русского деепричастия: подлежащие главной предикации и субъект деепричастного оборота должны совпадать. При этом морфологических критериев выделения подлежащего не обнаруживается: в абхазском языке отсутствуют синтаксические падежи, а глагольное согласование эргативно, т.е. ориентировано на разграничение агенса переходного глагола и абсолютива.

А.Е. Кибрик оценивает факты приведенного выше типа как указывающие на некоторую роль, которую может играть в грамматике "бесподлежащих" языков семантическая гиперроль актора, или принципала – «главный участник, "герой" события, который в первую очередь ответственен за то, что собы-

тие имеет место» (с. 147). Основным аргумент в пользу такой гиперроли – отсутствие в восточно- и западнокавказских языках диатезных преобразований, затрагивающих позицию подлежащего (таких, как пассив), в результате чего глагольное управление в целом последовательно отражает ролевую структуру ситуации. Однако сам факт наличия пассивной конструкции, если она не взаимодействует в обязательном порядке с другими синтаксическими конструкциями, существенно не влияет на грамматические свойства актантов – так, бацбийский язык, в котором пассив есть, по структуре предложения, очевидно, мало отличается от родственных восточнокавказских языков.

В части 4 ("Типология и теория языка") в основном на материале морфологии автор демонстрирует взаимосвязь между типологическим и теоретическим подходами к исследуемому материалу. А.Е. Кибрик показывает, что для целей типологического исследования важно привлекать материал не только языков разных семей и ареалов, но и групп родственных языков – это самый удобный способ выявить пространство типологических возможностей вариативных, неустойчивых и структурно сложных параметров. Примером такого подхода выступает исследование именного словоизменения в дагестанских языках. Здесь особо надо отметить 1) разграничение дефолтного и атрибутивного склонения; 2) понятие "маркированного корня", помогающее решить проблему гетероклитических типов; 3) анализ признаков, составляющих понятие регулярности; 4) разбор проблемы "словоизменение или словообразование" и обоснование гипотезы "словоизменительно-словообразовательного континуума"; 5) анализ лакун в парадигме и их мотивации. Предложенная автором классификация дагестанских языков на основании грамматических признаков в точности соответствует "неглубоким" генетическим объединениям (с уровнем предполагаемого расхождения праязыков не ранее I-го тысячелетия до н.э.), когда, например, лезгинская группа разделяется на арчинский, удинский, шахдагские и центральнолезгинские языки.

Исследуя аномалии личного спряжения на материале даргинского, сванского, алюторского языков и языка ймаса (Новая Гвинея). А.Е. Кибрик приходит к выводу, что грамматические значения, относящиеся к ролевому (агенса, пациенс и т.д.) и действительному (1 лицо, 2 лицо,...) компонентам, кодируются не автономно, а с учетом естественности или ожидаемости комбинации таких значений, причем ролевая иерархия меняет направление маркированности в зависимости от действитель-

ской характеристики актанта. Как показывает автор, постулирование нулей в грамматической структуре может отражать неверную позицию исследователя, который во что бы то ни стало стремится удержать в силе семиотический принцип прямой вычислимости отношений между формой и значением, опирающийся на свободную комбинаторику граммем минус сочетаемостные ограничения. Проявление дейктической иерархии, когда "нормальной" и немаркированной является ситуация при которой агенс занимает на этой иерархии более высокое положение, чем пациенс, можно было бы вначале проиллюстрировать на материале тех языков, где оно более прозрачно и очевидно, чем в йимасе и алюторском, например, в алгонкинских, адыгских или тибето-бирманских языках

Часть 5 ("Теория языка и языки") представляет собой семь очерков, иллюстрирующих связь некоторой грамматической проблемы с задачами теории 1) о внешнем possessore в русском языке (*В глазах у него ( ? в его глазах) потемнело*), 2) о связанных употреблении лексемы *сам*, 3) о неканоническом кодировании ядерных актантов на материале арчинского языка; 4) "морфологическая реконструкция когнитивной структуры на материале сферы личного дейксиса в алюторском языке; 5) базисный синтаксис алюторского языка, 6)–7) исследование стратегий согласования в цахурском и в багвалинском языках В каждом случае А.Е. Кибрик стремится выявить универсальную стратегию, которая лежит в основе наблюдаемой группы явлений Например, исследование конструкции с внешним possessором приводит автора к тому выводу, что выбор этой конструкции регулируется 'факторами, взятыми из универсального репертуара', а специфика русского языка проявляется в их конкретном взаимодействии В результате становятся понятными как межъязыковые сходства, так и различия подобных конструкций

В отличие от других разделов книги, первые варианты которых были опубликованы в 1990-е гг., часть 6 ("Материалы к типологии эргативности") представляет собрание кратких очерков синтаксической структуры дагестанских языков и диалектов, опубликованных значительно ранее и отразивших теоретические и типологические взгляды, лежавшие в основе работы последних лингвистических экспедиций МГУ перед вынужденным перерывом в середине 1980-х гг. Каждый очерк включает краткую характеристику падежной маркировки базовых конструкций и согласования, рефлексивизации, построения сентенциальных актантов, сочине-

ния предложений и каузативизации. Несмотря на некоторые неточности в записи и неизбежно предварительный характер сделанных автором выводов, каждый очерк может служить отправной точкой для более глубокого исследования грамматики соответствующего языка

Рецензируемая книга – несомненно, одна из наиболее важных теоретических и типологических работ, созданных в идейных рамках когнитивно-функционального направления Круг рассматриваемых в книге вопросов относится к тем, которые сегодня наиболее активно обсуждаются в типологии и теории грамматики Однако А.Е. Кибрик здесь, как всегда, выражает собственную позицию, не заимствуя в готовом виде исходные предпосылки, исследовательскую повестку дня и методы у какой-либо популярной исследовательской программы Разнообразие и богатство материала гармонически уравнивается единством и последовательностью авторского подхода Сколько бы сложным и 'экзотическим' ни был исследуемый материал, А.Е. Кибрик прежде всего стремится выявить в нем и подчеркнуть фундаментальные принципы, определяющие структуру естественных языков. Выход в свет книги "Константы и переменные языка" представляет собой значительное событие не только для российской лингвистики.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Кибрик 1977 – А.Е. Кибрик Опыт структурного описания арчинского языка Т. III Динамическая грамматика. М., 1977
- Кибрик 1983 – А.Е. Кибрик Лингвистические постулаты // Механизм вывода и обработки знаний в системах понимания текста Труды по искусственному интеллекту Тарту, 1983
- Кибрик 1992 – А.Е. Кибрик Очерки по общим и прикладным вопросам языкознания М, 1992
- Лютикова 2002 – Е.А. Лютикова Когнитивная типология: рефлексивы и интенсификаторы М, 2002
- Сепир 1993 – Э. Сепир Избранные труды по языкознанию и культурологии М, 1993
- Gil 1994 – D. Gil The structure of Riau Indonesian // Nordic journal of linguistics 1994. V 17



Рецензируемая книга – о структуре именной группы и кванторных словах. Кванторным словам посвящена огромная литература. Особенность данной книги составляет ее метод – это типологическое исследование, которое опирается на данные нескольких десятков языков.

В центре внимания автора взаимоотношение между универсальными кванторными словами типа *всякий каждый, любой, все* и неопределенными местоимениями типа *кто-то, кто-нибудь*. Как при огромном разнообразии средств выражения этих значений в разных языках, увидеть за ними единую систему? Этими словами занимались не только в лингвистике, но и в логике. Много проблем, однако, осталось. В чем, например, различие между *Возьми какую-нибудь книгу* и *Возьми любую книгу*? Почему нормально *Он решит любую задачу*, но сомнительно *всякую*? Почему англ. *any* можно перевести словом *любой* в контексте *Take any apple*, но не в *He doesn't know any poem*?

Основная проблема в грамматической типологии (а кванторные слова, как и детерминативы, можно считать разделом грамматики) – как связаны друг с другом грамматические значения и выражающие их языковые формы. Для естественного языка нормально, чтобы одна и та же форма выражала разные значения: многозначность в природе языка. Можно, однако, исходить из того, что значения каждой данной формы так или иначе близки друг к другу. На этой идее основано вошедшее недавно в типологию понятие семантической карты, на которой семантическое пространство той или иной категории по-разному покрывается грамматическими формами разных языков.

На сегодняшний день известно уже немало такого рода карт. Примерами могут служить карта значений модальности 'возможно' из [Auwera, Plungian 1998] (точками на карте являются модальные значения, по-разному покрываемые наклонениями и модальными словами разных языков), карта медиальных значений из [Kemmer 1993] и, конечно, карта для неопределенных местоимений из [Haspelmath 1997], которая теперь несомненно является отправным пунктом для всех, кто занимается словами этого рода.

Значения на карте могут быть заданы через контексты, в которых эти значения проявляются. Например, в карте С. Кеммер точки задаются лексическими основами глаголов, в контексте которых возникает, соответствен-

но, значение движения: декаузативное значение, взаимное, пассивное и т.д. Результатом данного типологического исследования тоже является семантическая карта.

С.Г. Татевосов делит кванторные слова на два класса: универсальные и неопределенные, и вначале рассматривает каждый из этих классов в отдельности, для того чтобы в последних разделах книги сделать и убедительно обосновать вывод о том, что кванторные слова образуют единую систему.

Изучение кванторных слов в логике и в лингвистике началось с кванторных прилагательных и субстантивов. К настоящему моменту собран большой материал по квантификации: различается D-квантификация, в составе именной группы (от *determiner* 'детерминатив'), и A-квантификация в составе глагольной (от *adverbial* 'адвербиал'), см [Patee 1995]. Книга С.Г. Татевосова посвящена именной группе и, следовательно, ограничена D-квантификацией.

В главах 3–5 рассматривается универсальная квантификация (как в *Every cloud has a silver lining*), родовая (как в *Человек смертен*) и квантификация единичных существительных (как в *Весь арбуз сгнил*). Автор останавливается на неоднозначности слов типа *все*, которые в одних контекстах кодируют универсальную референцию (*Все люди смертны*), а в других – референцию к конкретным множествам (*Я позвал пятерых. Все пришли*). Глава 4 посвящена дистрибутивности и способам выражения отношения дистрибутивности, которое тоже может развертываться на универсальных и конкретно-референтных множествах.

Гораздо более проблемными являются неопределенные местоимения (главы 5 и 6). Взять хотя бы загадочное англ. *any*. Оно не просто неоднозначно, а совмещает значения, которые каждый человек хоть сколько-нибудь знакомый с логикой, сочтет впрямую противоположными по значению: словари дают для *any* с одной стороны, значение 'one, no matter which', соответствующее квантору существования, а с другой – 'every', которое логика трактует как квантор общности. Нельзя сказать, чтобы лингвистическая семантика не сталкивалась с энантиосемией такого рода в других лексических сферах. Но в любом случае совмещение противоположных значений в одном слове требует объяснения.

Математическая логика предлагает решение некоторых из загадок кванторных слов. Скажем, *никакой x не P* средствами логики

предикатов первого порядка можно представить как неверно, что хоть какой-нибудь  $x$   $P$  и как 'все  $x$  не  $P$ ', но эти два выражения, в одном из которых  $x$  связан квантором общности, а в другом – квантором существования, признаются логически эквивалентными – дело в том, что кванторы различаются сферой действия

$$\forall x \neg P(x) \equiv \exists x P(x)$$

Аналогично в контексте импликации – Как бы ни был  $x$ , если он обладает свойством  $P$ , то верно  $Q$  эквивалентно Если какой-нибудь  $x$  обладает свойством  $P$ , то верно  $Q$  (в предположении, что  $Q$  не содержит  $x$ )

$$\forall x (P(x) \rightarrow Q) \equiv \exists x P(x) \rightarrow Q$$

Однако этого недостаточно логическая эквивалентность – это еще не синонимия, и механизмы семантических переходов (в силу которых у слова в разных контекстах возникают разные значения, производные значения разных слов сближаются) нуждаются в изучении Г Рейхенбах предложил трактовать англ *any* во всех контекстах, в частности, в (1) и (2), как свободную переменную

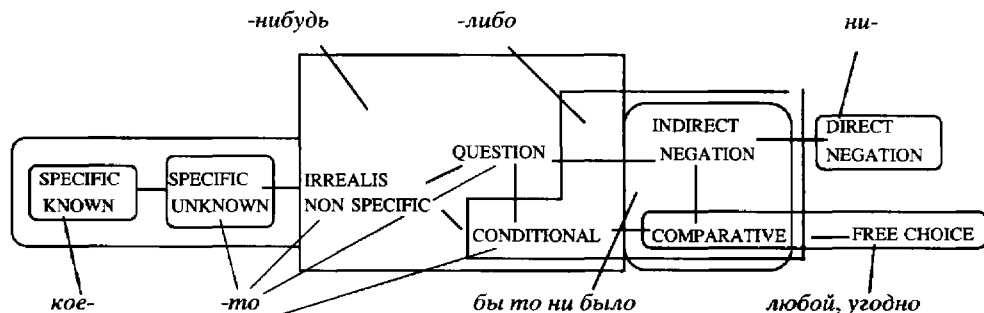
- (1) Do you see *any* advantages? 'видите ли вы *какие-нибудь* преимущества',
- (2) Take *any* apple возьми *любое* яблоко'

М Хаспельмат [Haspelmath 1997 91] называет эту трактовку "desired unitary treatment" Носителю русского языка кажется очевидным, что у *any* два разных значения – 'какой-нибудь' в (1) и 'любый' в (2), хотя в принципе на этот счет могут быть разные точки зрения В любом случае, заветной целью для лингвиста является, скорее, не единое значение, а система значений, которая объясняет, как одно значение связано с другим (О Даль [Dahl 1999] справедливо замечает, впрочем что *какой-нибудь* и *любый* могли бы значить одно и то же и в русском языке, ср др -русск *къто ни буди* ≈ 'любой')

При анализе неопределенных местоимений СГ Татевосов опирается на книгу [Haspelmath 1997], которая, как уже было сказано оказалась большим влиянием на исследование в этой области. Хаспельмат различает девять "функций" неопределенного местоимения

- 1 Референтное слабоопределенное (SPECIFIC KNOWN)  
Кое-кто злорадствует, узнав о провале нашего проекта
- 2 Референтное местоимение неизвестности (SPECIFIC UNKNOWN).  
Открой, кто-то стучит
- 3 Нереферентное в контексте ирреальности (IRREALIS NON-SPECIFIC), см примеры (3а) – (3г) ниже
- 4 Нереферентное в контексте вопроса (QUESTION)  
Ему кто-нибудь помогал?
- 5 Нереферентное в контексте условия (CONDITION)  
Если кто-нибудь мне поможет, я буду рад
- 6 Нереферентное в контексте сравнения (COMPARISON)  
Он знает это лучше, чем кто-либо.
- 7 Нереферентное в контексте неопределенного отрицания (INDIRECT NEGATION)  
Не думаю, чтобы кто-либо его знал
- 8 Нереферентное в контексте сопредикатного отрицания (DIRECT NEGATION).  
Никто не приходил
- 9 Местоимение свободного выбора (FREE CHOICE)  
Можешь взять *любую* книгу с этой полки

М Хаспельмат строит из этих функций типологическую карту, так что неопределенные местоимения разных языков покрывают каждое некий связный фрагмент этой карты Для русского языка покрытие имеет следующий вид



Работа С.Г. Татевосова предлагает ряд правок к хаспельматовской карте неопределенных местоимений. Так, 'функция' 3 IRREALIS NON-SPECIFIC соответствует, на самом деле, целому ряду различных контекстов:

- 3а Он принесет *что-нибудь* послушать [будущее время].
- 3б. Дай мне *какую-нибудь* книжку [императив],
- 3в Он хочет жениться на *какой-нибудь* иностранке [модальные глаголы],
- 3г Наверно *кто-нибудь* здесь уже побывал [гипотетическая модальность];
- 3д Каждый день приезжает *какой-нибудь* курьер из министерства [узуальность, дистрибутивность]

В принципе, разные контексты могут требовать в разных языках разных неопределенных местоимений, так что обобщенная функция, предлагаемая картой, не позволит провести необходимой дифференциации открытий И в самом деле, в немецком языке в контекстах (3а)–(3в) будет употреблено *irgendet*, а в (3г) (3д) – скорее *jemand*

"Функция 8 INDIRECT NEGATION тоже объединяет разные контексты в частности, отрицание в подчиняющем предложении и внутрилексемное отрицание. На с. 138 С.Г. Татевосов приводит в качестве примера немецкое *jeder*, которое приемлемо в контексте имплицитного отрицания, но невозможно в контексте отрицания в главном предложении (т.е. в контекстах типа *Я не думаю...*) В русском языке в контексте внутрилексемного отрицания иногда нужно употребить местоимение на *-либо*, иногда – на *бы то ни было* (см. об этом [Падучева 1974: 109; 1985: 218]) последнее имеет, однако, более широкую дистрибуцию

- Он отказывается *что-либо* / *что бы то ни было* объяснять,
- Мало кто имел *какое-либо* / *какое бы то ни было* представление о предмете;
- Это конец *какой бы то ни было* (\**какой-либо*) свободной экономике.

Большие сомнения вызывает на мой взгляд, последняя из точек на семантической карте М. Хаспельмата – FREE CHOICE. Как мы видели в картах, построенных к настоящему времени, точка должна соответствовать какому-то значению быть может, выражаемому данным местоимением в данном контексте. Между тем функция FREE CHOICE этим свойством не обладает, что ясно видно из материалов С.Г. Татевосова. Посмотрим на на-

бор функций неопределенных местоимений с более общей точки зрения

Функции 1 и 2 соответствуют референтным именованным группам (ИГ) так или иначе, которые, наряду с именами собственными и другими ИГ референтного статуса, могут входить в состав пропозиций, выражающих единичные конкретные ситуации с глаголом в прош или наст. актуальном *кто-то злорадствует*, *кто-то стучит* – это как *Ваня злорадствует*, *Ваня стучит*. Далее местоимения типа 3–8 – это показатели экзистенциальной квантификации. Они оформляют нереферентные (non-specific indefinite) ИГ и возможны в естественном языке только в сфере действия того или иного подчиняющего оператора. В сущности, все типы с 3-го по 8-й являются контекстными вариантами типа 3 – IRREALIS NON-SPECIFIC (см. [Dahl 2001]).

Между тем местоимения FREE CHOICE – это можно думать (хотя на этот счет есть разные точки зрения), показатели универсальной квантификации. Они возможны в том числе и в тех же контекстах, что IRREALIS NON-SPECIFIC. Так, в примерах (4) и (5) говорящему в обоих случаях предоставляется выбор местоимения, и разница ни в чем ином, как в типе выражаемой квантификации

- (4) Можешь взять *какую-нибудь* =  $\exists x$  ВОЗМОЖНО  $\exists x$  (ты возьмешь  $x$ ),
- (5) Можешь взять *любую* =  $\forall x$  ВОЗМОЖНО (ты возьмешь  $x$ )

Собственно семантика точки FREE CHOICE в [Haspelmath 1997] не описана. Так что неясно даже, каким образом исследователь устанавливает, какие слова разных языков выражают именно эту 'функцию'. В некоторых (но не во всех) контекстах FREE CHOICE можно трактовать как квантор общности, включающий в свою сферу действия оператор ВОЗМОЖНО, см. (5). Судя по примерам, это то значение (точнее, совокупность значений), которое в русском языке выражается словом *любой* а в английском – тем *any* которое НЕ находится в контексте подчиненного отрицания. Так что название FREE CHOICE до некоторой степени условно.

В книге С.Г. Татевосова рассмотрены разнообразные контексты употребления местоимений FREE CHOICE. Приводится материал различных языков, но поскольку нам интересна семантическая сторона явления, я ограничусь, для упрощения изложения, русскими переводами

- 1) Модальный глагол со значением возможности:  
Эту задачу может решить *любой*.
- 2) Императив с иллюкутивной функцией разрешения:  
– Какой стул принести? – Мне все равно, принеси *любой*.

3) Будущее время. В связи с контекстом буд. времени читателю предлагается на рассмотрение интересный факт грамматики голдберинского языка, в котором различается обычное и проспективное будущее; последнее описывает ситуацию в будущем, для которой в момент речи присутствуют условия, способствующие ее возникновению. Так вот, фраза с глаголом в будущем обычном, смысл которой можно передать как 'Гуссейн съест любое яблоко (даже гнилое)', возможна, а предложение с будущим проспективным, означающее приблизительно 'Гуссейн собирается съесть любое яблоко', недопустимо. В англ. языке примерно то же значение передается противопоставлением допустимого *My dog will chase any cat* и невозможного *\*My dog is going to chase any cat*.

- 4) Гипотетические и контрфактические контексты:  
Я заплатил бы *любые* деньги, чтобы это увидеть.
- 5) Контекст узуального действия и свойства:

(6) *Любой* человек в какое-то время суток спит; *Любой* мальчик любит футбол.

Подобно экзистенциальным местоимениям, FREE CHOICE невозможны в контексте единичного события в прошлом или настоящем (обозначаемой глаголом в перфекте или прогрессиве).

В контексте императива и будущего времени местоимения типа *любой* и типа *какой-нибудь* отчетливо противопоставлены:

- (7) принеси *любую* книгу ≠ *какую-нибудь*;
- (8) принесу *любую* книгу ≠ *какую-нибудь*.

Поскольку эти местоимения имеют разный смысл в одном и том же контексте, ясно, что они выражают разный тип референции. На с. 152 обсуждается различное поведение *какой-нибудь* и *любой* в контексте должествования: *любой* неуместно в контексте приказа и соответствующей ему модальности должествования:

<sup>9</sup>Ты должен принести *любой* стул.

Неподходящий контекст для местоимений FREE CHOICE составляют глаголы со значением 'хотеть' (в контексте *любой* глагол *хотеть*, если он возможен, означает уже не желание, а готовность, уступку):

Он хочет жениться на *какой-нибудь* иностранке;  
<sup>9</sup>Он хочет жениться на *любой* иностранке.

Итак, *любой* – в контекстах типа (б) это очевидно – выражает универсальную квантификацию. Отсюда Татевосов делает справедливый вывод, что отдельная семантическая карта для неопределенных местоимений представляет общую структуру именной группы в естественном языке в искаженном свете: местоимения типа *любой* связывают экзистенциальную референцию с универсальной; далее, слова типа *все* связывают универсальную референцию с конкретной референцией к множеству:

- (9) *Любой* человек смертен – *Все* люди смертны – *Все* участники конференции собрались в зале.

Книга С.Г. Татевосова убедительно показывает, что универсальные кванторные слова и неопределенные местоимения составляют единое семантическое пространство. Оно представлено картами на с. 167 и далее.

В принципе, возможность построения семантической карты, где местоимения всех языков можно представить как занимающие связный участок, надо рассматривать как чудо. В карте на с. 169 точка COMPARISON, как кажется, тоже должна входить в область, покрываемую местоимением *весь/все*, поскольку сравнительная конструкция бывает не только с союзом *чем*, но и с род. падежом. Можно сказать не только (а), но и (б):

- (а) Маша умнее, чем *кто-либо* в ее классе;
- (б) Маша умнее *всех/любого* в ее классе.

Как говорит Татевосов, универсальные местоимения "врываються" в области, покрываемые неопределенными.

Отрицательные местоимения Татевосов, вслед за Хаспельматом, трактует как слова с отрицательной поляризацией – в контексте отрицания при сопредикатном глаголе *-нибудь* заменяется на *ни-* :

\*Он не высказет *каких-нибудь* возражений ⇒ Он не высказет *никаких* возражений.

Эта трактовка не кажется для русского языка единственно возможной. В самом де-

ле, ведь семантически (логически) не местоимение попадает в контекст отрицательного глагола, а глагол – в контекст отрицаемого квантора существования. (В английском языке отрицательное местоимение вообще не требует отрицания при глаголе: *He will offer no objections.*) В принципе, никакой можно трактовать как универсальное местоимение типа *любой*, в сферу действия которого входит отрицательный предикат

\*Он не высказет *любых* возражений ⇒  
Он не высказет *никаких* возражений

Отрицательная поляризация – явление сложное и не до конца изученное. Понятно, что значит *не пошевелить пальцем* в (10). Между тем *пошевелить пальцем* в (11), которое формально проще, поскольку не содержит отрицания, семантически более сложно (см. об отрицательной поляризации в русском языке в [Апресян 1978]): возникает шкала, и шевеление пальцем на этой шкале выступает как минимальное из возможных действий:

(10) Он *пальцем не пошевелит*, чтобы тебе помочь;

(11) Не думаю, что он хоть *пальцем пошевелит*, чтобы тебе помочь

Имея семантическую карту, в которой отражены одновременно неопределенные местоимения и универсальные кванторные слова, мы можем теперь вернуться к универсальной квантификации.

Следуя Хаспельмату, Татевосов рассматривает, в гл. 4, дистрибутивность отдельно – как отдельное отношение между распределяющими и распределяемыми множествами: в результате чего *каждый* выпадает из универсальных кванторных слов, а дистрибутивность – из числа контекстов для местоимений на *-нибудь*. Между тем *каждый*, нормально тяготеющее к конечным множествам, в контексте дистрибутивности способно выражать также универсальную квантификацию заведомо бесконечных множеств (см. о *каждый* в [Падучева 1989]):

(12) *Каждый* должен нести свой крест.

Вендлер, говоря об англ. *each*, отмечает в его семантике компонент 'возможность перебрать элементы множества по одному'. В семантике русского языка *каждый* этот компонент работает как бы расширительно. Из всех бесконечных множеств *каждый* сочетается только с именами временных отрезков:

*каждую осень, каждый вторник*; возможно, естественный порядок, заданный на временных отрезках, делает их обозримыми, т.е. допускающими перебор по одному. Но если у такой сочетаемости слова *каждый* есть семантическое обоснование, то эта черта должна где-то повториться. Эту гипотезу интересно было бы проверить.

\* \* \*

Типология – это активно развивающаяся область лингвистики, которая заключает в себе большие возможности, причем поиск универсалий – лишь одна из них. Несомненно, что рассмотрение каждого данного языка в типологической перспективе тоже имеет смысл и позволяет выявить в языке нечто интересное и незаметное изнутри (например, при подходе к русскому языку с типологической меркой можно выявить в нем эффект эвиденциальности: оказывается, что генитивная конструкция отрицательного предложения может трактоваться как способ выражения такого значения, которое в других языках подпадает под категорию эвиденциальности). Посмотрим же, что дает семантическая карта неопределенных местоимений для русского языка. Хотя карта в целом представляется безусловно привлекательным инструментом исследования, нельзя не признать, что про отдельные русские местоимения сейчас известно гораздо больше, чем можно узнать из этой карты. Возьмем, например, местоимения на *-нибудь*.

Нереферентное неопределенное местоимение (non-specific indefinite), типа *какой-нибудь*, употребляется исключительно в контексте снятой утвердительности [Weinreich 1966/1 970: 173; Падучева 1985: 94; 215–220] когда квантор существования  $\exists$  попадает в контекст подчиняющего оператора. Более точно, местоимения типа *какой-нибудь* выражают тот факт, что одна возможность (альтернатива) рассматривается на фоне других. Такой фон может возникать: (а) у ситуации, отнесенной к будущему; (б) у ситуаци-альтернативы – в том числе, отнесенной к прошедшему или настоящему; (в) в контексте дистрибутивности. Получаем следующую картину.

(а) *будущее.*

ГРАММАТИЧЕСКОЕ БУД. ВРЕМЯ:

Он высказет *какие-нибудь* возражения: Мы встретимся *где-нибудь*.

УСТАНОВКИ НА БУДУЩЕЕ. В ЧАСТНОСТИ, ПРОСЬБЫ:

Он хочет *куда-нибудь* поехать; стремится *что-нибудь* узнать о тебе; ищет *что-нибудь*

интересное для тебя; просит *что-нибудь* почитать.

**ИМПЕРАТИВ, ОСОБЕННО В КОНТЕКСТЕ РЕЧЕВОГО АКТА РАЗРЕШЕНИЯ:**

Скажи *что-нибудь!* Спойте нам *какой-нибудь* романс!

**МОДАЛЬНОСТЬ ВОЗМОЖНОСТИ И НЕОБХОДИМОСТИ:**

Он *может/должен кого-нибудь* пригласить; придется *кому-нибудь* звонить; необходимо *кого-нибудь* пригласить.

**СОСЛАГАТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ, ОПТАТИВ:**

Хорошо бы он *что-нибудь* принес поесть; Я согласен *что-нибудь* для него сделать.

**ЦЕЛЬ:**

Чтобы *что-нибудь* сделать, нужны деньги.

**(б) альтернатива.**

**(НЕ)УВЕРЕННОСТЬ, ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНОСТЬ, НЕРЕАЛЬНОСТЬ:**

Не думаю, что он *что-нибудь* об этом знал; сомневаюсь, что он *что-нибудь* сделал; Едва ли они *куда-нибудь* уехали; Заведомо его *кто-нибудь* пригласил; Странно, чтобы он *что-нибудь* нашел.

**ВОПРОС – В ТОМ ЧИСЛЕ, РИТОРИЧЕСКИЙ; ВОПРОСИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ:**

*Кто-нибудь* приходил? Неужели у *кого-нибудь* есть сомнения, что это так?

**ДИЗЪЮНКЦИЯ:**

Он взял с собой Машу или *кого-нибудь* из ее подруг.

**УСЛОВИЕ:**

Если он *что-нибудь* утаил, он за это заплатится; Если бы он *что-нибудь* принес (вчера)!

**ЭПИСТЕМИЧЕСКАЯ МОДАЛЬНОСТЬ:**

*Кто-нибудь* мог ее обидеть.

**(в) дистрибутивность.**

Каждый *кого-нибудь* приведет с собой; Всякая именная группа обозначает *какой-нибудь* объект.

Вне этих трех типов контекстов остается только *какой-нибудь* в значении 'незначительный':

Не хватило *каких-нибудь* десяти минут [= 'не хватило десяти минут, и это мало'].

Сгруппированный таким образом перечень контекстов позволяет увидеть общность в множестве значений (контекстов употребления) местоимений на *-нибудь*: это всегда ситуация-альтернатива на фоне других. Между тем на карте эта общность не видна; дизъ-

юнкция и дистрибутивность отсутствуют вообще, что для русского языка кажется упущением. Насколько это влияет на общую типологическую задачу, нам трудно судить.

В заключение – несколько более формальных моментов, касающихся книги С.Г. Татевосова.

Автор существенно опирается на англоязычную терминологию. Перед ним острая проблема перевода терминов на русский язык. Иногда выбор сделан неудачно. Так, *negative polarity* – это скорее *отрицательная поляризация*, чем *отрицательная полярность* (см. использование термина *отрицательная поляризация* в [Апресян 1978, Богуславский 2001]); *free choice* – это именно *свободный*, а не *произвольный* выбор. Для термина *progressive* есть соответствие – актуально-длительное значение. Можно, пожалуй, приветствовать введение в русскую аспектологию термина "прогрессив", но сочетание "прогрессивное значение" еще долго будет производить комический эффект. Для *habitualis* есть синоним *узальное значение* (впрочем, тут неудобно то, что отсутствует "узалис"). И, конечно, не *модельно-теоретическая*, а *теоретико-модельная семантика*.

Неприятный сюрприз, который ожидает читателя этой книги, – огромное количество опечаток. Конечно, для русского текста опечатки – дело поправимое. Но как быть с несколькими десятками малоизвестных языков? Отмечу разночтение в венгерском слове: *каждый* выглядит по-венгерски то как *mindegyik*, то как *mindengyik*. Лучше было бы придерживаться одного варианта, более принятого. Словосочетание *два мужчины* на с. 96 и 97 можно пока что трактовать как опечатку. Хотя, кто знает, может быть, это русский язык будущего?\*

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Апресян 1978 – Ю.Д. *Апресян* Языковая аномалия и логическое противоречие // *Tekst. Język. Poetyka. Zbiór studiów Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk*, 1978.
- Богуславский 2001 – И.М. *Богуславский* Модальность, сравнительность и отрицание // *Русский язык в научном освещении*. 2001. № 1.
- Падучева 1974 – Е.В. *Падучева* О семантике синтаксиса. М., 1974.

\* Автор благодарен Барбаре Парти и В.Б. Борщеву за советы и помощь.

- Падучева 1985 – *Е.В. Падучева*. Высказывание и его соотносительность с действительностью М, 1985.
- Падучева 1989 – *Е.В. Падучева* Идея всеобщности в логике и в естественном языке // ВЯ. 1989 № 2
- Auwera, Plungian 1998 – *J. van der Auwera V.A. Plungian*. Modality's semantic map // Fr Plank (ed.) Linguistic typology. Berlin, New York, 1998
- Dahl 1999 – *O. Dahl* [Review on]: M Haspelmath. Indefinite pronouns. Oxford, 1997 // Linguistics and philosophy V. 22 1999.
- Haspelmath 1997 – *M. Haspelmath* Indefinite pronouns Oxford, 1977.
- Kemmer 1993 – *S. Kemmer* The middle voice Amsterdam, 1993.
- Partee 1995 – *B.H. Partee*. Quantificational structures and compositionality // E. Bach, E. Jelinek, A. Kratzer and B.H. Partee (eds.) Quantification in natural language, Dordrecht, 1995
- Weinreich 1966/1970 – *U. Weinreich* Explorations in semantic theory // T.A. Sebeok (ed.) Current trends in linguistics V. 3 London The Hague: P., 1966. (Русск. пер.: У. Вейнрейх Опыт семантической теории // Новое в зарубежной лингвистике Вып 10 Современная лингвистическая семантика / Ред В.А. Звегинцев. М., 1981.

*Е.В. Падучева*

**A. Carstairs-McCarthy. The origins of complex language. An inquiry into the evolutionary beginnings of sentences, syllables, and truth** Oxford: Oxford University Press, 1999. X + 260 p

Со времени выхода рецензируемой монографии прошло почти пять лет – немалый срок для научного сочинения. Тем не менее, мы полагаем, что эта книга заслуживает внимания российских языковедов. Ее автор – проживающий и работающий в Новой Зеландии Эндрю Карстейрс-Маккарти – почти неизвестен у нас, при том что за рубежом он считается одним из наиболее авторитетных и уважаемых специалистов в области морфологии (см. хотя бы [Carstairs 1987; Carstairs-McCarthy 1994; 1998]).

Однако рецензируемая книга посвящена не морфологии, а происхождению и эволюции языка – проблеме, приобретшей в последние два десятилетия необыкновенную популярность (см. только за последние десять лет [Николаева 1996, Hauser 1996, Noble, Davidson 1996; Deacon 1997, Hurford et al. 1998; Kirby 1999; Барулин 2000; Givón, Malle 2002; Christiansen, Kirby 2003; Шур и др 2004; Бурлак, Старостин (в печати)] и многие другие). Существует довольно большое число разнообразных теорий, посвященных этому вопросу, анализировать которые здесь не место.

С самого начала необходимо обратить внимание читателя на то, что в центре рассмотрения Э. Карстейрса-Маккарти оказывается не весь комплекс изменений (включая анатомические, психологические, собственно лингвистические и др.), приведших к возникновению человеческого языка. Автора интересует лишь вопрос о том, почему определенные аспекты грамматического устройства, которые он полагает универсальными, т.е. присущими

всем без исключения языкам, таковы, каковы они есть. Э. Карстейрса-Маккарти особенно занимает вопрос о происхождении различия между именными группами и предложениями и иерархической организации последних (противопоставления подлежащего и дополнений).

Монография состоит из семи глав и нескольких приложений. В первой главе (Introduction) ставится основная проблема книги: какими свойствами мог обладать язык на ранней стадии своего развития? Для ответа на этот вопрос Э. Карстейрс-Маккарти предлагает читателю принять точку зрения, "внешнюю" по отношению к привычным и кажущимся самоочевидными свойствам человеческого языка, и представить себе возможные сценарии эволюции, в результате которых могли бы возникнуть языковые формы, принципиальным образом отличающиеся от существующих.

Во второй главе (Three peculiarities of language) обсуждаются три интересных автора характеристики языка: (практически неограниченный) объем словаря, двойное членение (ср. [Мартине 1963: 381, Хоккет 1970: 57, 58, 61, 62]), синтаксическое различие между предложениями и именными группами (ИГ). Почему человеческий язык обладает этими свойствами, которые, как старается показать автор, вовсе не являются "необходимыми" для эффективного выполнения коммуникативных и когнитивных задач, стоявших перед Homo sapiens в ранний период его истории? Особый интерес представляет собой присущее всем языкам различие между предложениями и

ИГ. Э. Карстейрс-Маккарти не только полагает, что язык, лишенный этой характеристики, можно себе представить, но и утверждает, что такой язык мог бы служить эффективным средством коммуникации. Он рассматривает три возможных альтернативных способа организации грамматики: (i) "язык без синтаксиса" (*Asyntactic*), в котором слова могут размещаться в любом порядке, а предикатно-аргументные отношения устанавливаются на основании семантики и контекста; (ii) "пространственно-временной" (*Spatiotemporal*), где каждое правильно построенное высказывание содержит указание на Место, Время и Объект или Ситуацию; "он отличается от английского языка и вообще всех языков тем, что предложения и ИГ не имеют в нем прямых ответов" (с. 20, 21); (iii) "монокатегориальный" (*Monocategorial*), в котором все "правильно построенные выражения имеют одинаковый синтаксический статус, т.е. могут фигурировать в одних и тех же синтаксических контекстах" (с. 22); в таком языке вопрос о различии предложений и ИГ просто не имеет смысла. По мнению Э. Карстейрса-Маккарти, все эти гипотетические языки были бы столь же хорошо пригодны для всех человеческих коммуникативных и когнитивных нужд, сколь и реально существующие языки.

Традиционное (в самом широком смысле этого слова) языковедение на вопрос о том, для чего нужно деление правильно построенных выражений человеческого языка на предложения и ИГ, отвечает так: различие между ИГ и предложениями отражает фундаментальное противопоставление референции и (соотнесения языкового выражения с объектами действительности; при этом у языкового выражения либо есть референт, либо нет, как у ИГ *нынешний король Франции*) и предикации (соотнесения языкового выражения с некоторой внеязыковой ситуацией, которое может либо соответствовать действительности, либо нет) – двух важнейших когнитивных и коммуникативных функций языковых выражений (см. подробное обсуждение этого вопроса в [Croft 1991: Ch. 2, 3]). Но, как замечает Э. Карстейрс-Маккарти, в языке "существует много различий, которые грамматика могла бы отражать, но которые она, как правило, не замечает" (с. 28), и для того, чтобы ответить на вопрос, почему из всех возможных семантических и прагматических различий именно противопоставление референции и предикации повсеместно отражено в языке, автор предлагает свою оригинальную концепцию языковой эволюции.

Третья глава (*Truth and reference*) посвящена демонстрации того, что указанное противопос-

тавление, столь фундаментальное для философии и лингвистики, на самом деле не имеет никаких существенных экстралингвистических оснований. Автор анализирует посвященные этой проблеме работы Платона, Г. Фреге, Л. Витгенштейна и П. Стросона и приходит к выводу, что вся их аргументация в пользу такого различия неубедительна и, по сути, основана на структуре языка, навязывающего такое противопоставление.

В четвертой главе (*Attempts to solve the problems*) Э. Карстейрс-Маккарти рассматривает предшествующие попытки ответить на вопросы, находящиеся в центре внимания его исследования, и отвергает их как неудовлетворительные. В частности, он показывает, что нельзя сводить различие предложений и ИГ к предикатно-аргументным отношениям, как сделано, например, в известной статье [Pinker, Bloom 1990], поскольку эти отношения могут быть без проблем выражены хотя бы "монокатегориальным" языком. Также автор отвергает мотивацию разделения предложений и ИГ, основанную на противопоставлении объектов и ситуаций (ср. [Croft 1991]), и прагматическую мотивацию, связывающую это различие с дихотомией темы и ремы [Tomlin 1986]. Все эти объяснения, по его мнению, страдают одним общим недостатком: из них никак не вытекает, что язык должен был развиваться именно тем путем, который в результате привел к реально существующим базовым синтаксическим структурам.

Наконец, в пятой главе (*A different solution*) автор формулирует свое оригинальное решение поставленной проблем и объяснение трех "странностей" человеческого языка.

Это объяснение базируется на двух, казалось бы, никак не связанных между собой группах явлений: (i) на открытых в последние десятилетия универсальных принципах усвоения лексики детьми и (ii) на известном факте изменения позиции гортани у наших далеких предков, которое существенно расширило их артикуляторные возможности. Остановимся на этих факторах подробнее.

Лексика естественного языка обладает следующей чрезвычайно важной при усвоении языка детьми особенностью: в языке практически нет точных синонимов: даже если два слова обозначают один и тот же объект (например, *бегемот* и *гиппопотам*), они, как правило, различаются стилистически или имеют разные коннотации. Как было показано известным специалистом по психолингвистике и, в частности, по детской речи Е. Кларк [Clark 1993], при усвоении языка дети исходят из прагматического Принципа Контраста: любые два слова различаются значениями.



Изменение положения гортани у человека по сравнению с другими приматами – приобретение, на самом деле, сомнительного адаптивного характера, ведь из-за него взрослые люди не могут одновременно есть или пить и дышать, не опасаясь задохнуться. Тем не менее, снижение гортани, вне всякого сомнения, является важнейшей вехой в становлении артикуляторного аппарата человека – именно низкое положение гортани позволяет произносить гласные звуки различного тембра.

Э. Карстейрс-Маккарти выдвигает гипотезу о том, какова могла бы быть коммуникативная система, промежуточная между бедными "языками" обезьян и современным естественным языком. Носители этой системы, уже способные произносить большое количество звуков, по мнению автора, стояли бы перед следующей дилеммой: "с одной стороны, Принцип Контраста порождает ожидание, что различные вокализации будут различаться по своему содержанию... С другой стороны, ограниченные возможности памяти делают невозможным запомнить более, чем небольшой фрагмент всего множества потенциальных вокализаций" (с. 131).

Решение этой дилеммы автор видит в том, чтобы наши предки увеличивали число вокализаций. Для резкого расширения словарного запаса, не только количественного, но и качественного – превращения набора вокализаций из закрытого в открытый – потребовалась система, которая позволяла бы создавать сложные сигналы из простых, иначе запомнить такое количество не имеющих между собой ничего общего вокализаций было бы просто невозможно. Так, по мнению автора, возникли двойное членение (вокализации стали анализироваться на дискретные единицы, не имеющие собственного значения) и синтаксис (вокализации стали сопологаться, а смысл сочетаний вычисляться по некоторым общим правилам). Однако, как мы уже видели выше, грамматическая организация языка вовсе не обязана быть такой, какова она есть. Э. Карстейрс-Маккарти задает вопрос: почему язык эволюционировал именно так, что в нем появилось противопоставление предложений и ИГ, существительных и глаголов, подлежащих и дополнений?

В качестве ответа автор выдвигает гипотезу о том, что базовые свойства синтаксиса человеческого языка (противопоставления ИГ и предложения, глагола и его аргументов, выделение одного из аргументов как более важного и т.п.) обусловлены вовсе не коммуникативными, прагматическими или семантическими факторами, но были заимствованы из уже имевшейся, по мысли автора, в тот пери-

од структуры важнейшей фонологической единицы – слога<sup>1</sup>, который обладает иерархической структурой такого вида:



Внутри слога существует три вида асимметрии: между ядром и периферией (последняя включает инициаль и коду); между инициальной (как более привилегированной составляющей слога) и кодой; между слогом в целом и его составляющими.

Такая структура слога находит непосредственные параллели в тех синтаксических структурах, которые принято вводить в наиболее влиятельной за рубежом синтаксической теории – Порождающей грамматике Н. Хомского (см. хотя бы [Тестелец 2001: 148, 149, 554–663]). Однако Э. Карстейрс-Маккарти находит параллели между устройством слога и синтаксическими структурами вне зависимости от какой-либо конкретной синтаксической теории. Эти сходства, возникшие, по его мнению, в результате "применения структуры слога к структуре цепочки слов" (с. 148), таковы (с. 151):

- всякий текст можно разбить на предложения так, чтобы каждое предложение обязательно содержало ядерную (= предикатную) позицию;
- ядерная позиция заполняется словами, существенно отличающимися по своим свойствам от слов, заполняющих периферийные позиции (т.е. финитными глаголами);
- слова, заполняющие периферийные позиции (т.е. ИГ), одинаковы по своей природе;
- некоторая неядерная составляющая предложения (ИГ) является привилегированной (например, является подлежащим).

Не вдаваясь в дальнейшие подробности аргументации Э. Карстейрса-Маккарти, ука-

<sup>1</sup> Здесь необходимо отметить, что идея о изоморфизме структур слога и предложения была высказана еще Е. Куриловичем [Курилович 1962а; 1962б], причем в терминах, очень близких к тому, о чем пойдет речь ниже; в связи с этим нам представляется очень странным отсутствие в рецензируемой монографии ссылок на эти классические работы.

жем, что, как он полагает, его гипотеза объясняет возникновение многих общих и частных структурных особенностей человеческого языка, вопрос об эволюции которых в рамках других концепций вообще не ставился

В шестой главе (*Apes, anthropology, and the brain*) рассматриваются данные трех областей науки, наиболее тесно связанных с проблематикой эволюции языка, – эволюционной антропологии, исследований коммуникации высших приматов и нейрофизиологии. Как показывает автор, эти данные либо подтверждают его теорию, либо, по крайней мере, не противоречат ей

Важнейшим свидетельством в пользу гипотезы о заимствовании структуры слога в качестве модели для синтаксиса служит тот факт, что зоны коры головного мозга, ответственные за грамматическую организацию высказываний (зона Брока), соседствуют с участками контролирующими артикуляторный аппарат (с 196, 197). Не меньший интерес представляют и данные исследований афазии, оказывается что афатики (носители английского языка) с поражениями зоны Брока способны оценивать как грамматичные или неграмматичные предложения, в которых нарушены некоторые конкретно-языковые аспекты синтаксического устройства, но не замечают отклонений от правил, связанных с предикатно-аргументной структурой и понятием подлежащего. Из этого Э Карстейрс-Маккарти делает вывод о том, что зона Брока регулирует как раз те аспекты синтаксиса, которые базируются на 'слоговой модели' и являются наиболее древними (с 196–203)

Еще один важный факт, который Э Карстейрс-Маккарти приводит в подтверждение своей теории, – наблюдения, свидетельствующие о том, что следование Принципу Контраста при усвоении знаковых систем не является уникальным свойством *Homo sapiens*, но характерно для всех высших приматов (с 216–218). Исследования коммуникации шимпанзе также показывают, что, обучаясь языку жестов, те оказываются не способны создавать синтаксические единицы, которые были бы противопоставлены подобно предложениям и ИГ человеческого языка

Седьмая глава представляет собой заключение, в котором Э Карстейрс-Маккарти говорит, что если дальнейшие исследования в области эволюции языка покажут, что его гипотеза верна, то человеческий язык окажется лишь побочным продуктом изменения речевого аппарата, вызванного переходом наших предков к двуногому образу жизни (с 226). Такой вывод нельзя не считать сенсационным. Тем не менее, как мы постараемся пока-

зать ниже, оснований для него гораздо меньше, чем полагает Э Карстейрс-Маккарти.

Несомненным достоинством книги является то, что она написана живым языком, изложение ведется в манере, доступной для читателей – неспециалистов как в лингвистике, так и в эволюционной биологии. Автор безусловно эрудирован не только в собственно языковедческой проблематике, но также и в биологии и философии (хотя приходится констатировать избирательный подход автора к библиографии по этим областям). Нельзя не отметить и оригинальности разработки проблемы. Очень плодотворным в подходе Э Карстейрса-Маккарти представляется то, что он предлагает читателю отказаться от мысли, будто человеческий язык – единственно возможная коммуникативная система столь высокого уровня, и представить потенциальные альтернативы. Нельзя не отметить также практически безупречной с логической точки зрения структуры выдвигаемой в монографии теории.

Тем не менее, исходные предпосылки концепции, излагаемой в рецензируемой монографии, представляются нам спорными. Во-первых, трудно согласиться с тем, что занимающее принципиальное место в теории Э Карстейрса-Маккарти противопоставления предложений и ИГ, имен и глаголов, подлежащего и других ИГ не могут быть мотивированы никакими семантическими или функциональными принципами и что для того, чтобы объяснить их возникновение, необходимо постулировать изоморфизм структур предложения и слога. Проблема мотивации данных противопоставлений активно рассматривалась на материале большого количества самых разных языков в рамках функционально-типологического направления в лингвистике, достижения которого, как нам представляется, автор не уделяет должного внимания.

Многочисленные исследования (см. хотя бы [L1 1976, Foley, Van Valin 1977, 1984, Plank 1984, Croft 1991, Foley 1993, Dryer 1997, Givón 1984 – 1990, 1995<sup>2</sup>, Кибрик 2003: Ч 3], ср. также обзор в [Кибрик, Плуныян 2002]) показывают, что такие категории, как существительное и глагол, подлежащее и 'дополнение' и т.п. имеют вполне четко выделяемое универсальное ядро и значительно более

<sup>2</sup> Нельзя не отметить, что в монографии [Givón 1995] имеется целая глава, посвященная эволюции языка, и отсутствие в рецензируемой книге ссылки на этого авторитетнейшего автора представляется нам по меньшей мере странным.

размытую и подверженную типологическому варьированию "периферию". При таком подходе отвергнутое теоретической лингвистикой как несостоятельное определение частей речи на основании их семантики получает разумную интерпретацию. Существительные (и формируемые на их основе ИГ) прототипически обозначают дискретные, стабильные во времени объекты, в то время как глаголы (и тем самым, предложения) прототипически обозначают положения вещей подверженных изменению во времени

Что же касается иерархии ИГ в предложении, подобной асимметрии подлежащего и дополнений в языках "среднеевропейского стандарта", то здесь нужно сделать следующие два замечания. С одной стороны, в тех языках, где иерархия ИГ представлена, она мотивирована семантическими, коммуникативными и дискурсивными факторами (см. хотя бы уже упоминавшиеся работы). С другой стороны, как теперь известно лингвистам нет никаких оснований считать такую асимметрию универсальным свойством человеческого языка и, следовательно, выдвигать возможные сценарии ее происхождения (т.к. в значительной части языков мира разные факторы выделяют в качестве привилегированных разные ИГ, что противоречит гипотезе о существовании единственной главной структурной позиции см. хотя бы [Кибрик 2003 гл. 10])

Во-вторых, нам представляется что Э. Карстейрс-Маккарти несколько преувеличивает центральный и универсальный характер противопоставления предложений и ИГ. Конституирующим ядром предложения является не "обозначение действия", а та составляющая, которая содержит информацию о времени, модальности и т.д. (из недавних работ см. [Калинина 2001, Тестелец 2001: 229 и сл.]; ср. также [Nordlinger, Saulwick 2003]). Эта составляющая – как правило, глагол, поскольку именно для обозначения действия наиболее свойственно содержать такого рода информацию. Это однако, необязательно, ср. например турецкое *bu kalemd* "это было перо", ненецкое *тыкы манась* "это был я", где показатели времени оформляют ИГ. Центральная же роль времени и других предикативных категорий для конструкции предложения происходит, скорее всего, из того, что одна из важнейших целей любой коммуникации – модифицировать поведение адресата, а этой цели наиболее отвечают сообщения о ситуациях меняющихся во времени. Косвенным подтверждением этого может служить тот факт, что в дискурсе ключевую роль играют предложения с динамическими глаголами, кото-

рые, согласно [Croft 1991: 87–93], преобладают статистически

В-третьих, изоморфизм структуры слога и структуры предложения, подробно аргументируемый в монографии, далеко не очевиден. Структура слога принципиально линейна, элементы слога не могут быть переставлены никаким образом без катастрофического нарушения структуры. Напротив, организация предложения принципиально нелинейна, его элементы могут быть переставлены с большей или меньшей свободой. Более того, имеются существенные основания предполагать (см. [Hopper 1987, Hopper, Traugott 1993, Givón 1995, Bybee 2002]), что строго фиксированный и грамматически детерминированный порядок составляющих возникает в результате грамматикализации конструкции со свободным порядком слов, зависящим от прагматических и стилистических факторов.

Вообще, следует отметить, что для концепции Э. Карстейрса-Маккарти теория грамматикализации представляет трудноразрешимую проблему, поскольку она утверждает [Lehmann 1995, Heine et al. 1991, Hopper, Traugott 1993], что практически все аспекты грамматического устройства естественных языков возникают в результате конвенционализации семантических и прагматических факторов. Эта конвенционализация, механизмы которой универсальны и к настоящему моменту довольно хорошо изучены, происходит согласно наиболее общим принципам когнитивной организации и не является чем-то, свойственным исключительно человеческому языку [Hauman 1998].

Помимо возражений общетеоретического характера, есть также и более частные замечания, из которых мы укажем лишь наиболее существенные.

Во-первых, мнение автора, что двойное членение свойственно исключительно человеческому языку, не представляется нам верным. По-видимому, всякая достаточно развитая система произвольных знаков приходит в результате внутренней структуризации к двойному членению того или иного вида. Для этого необходимо лишь, чтобы приток новых иконических знаков был пренебрежимо мал по сравнению с количеством уже существующих знаков. Этим характеристикам в той или иной степени отвечают, помимо устного языка, также некоторые жестовые знаковые системы [Крейдлин 2002], ряд коммуникативных систем животных (см. [Бурлак, Старостин в печати, гл. 4.3]), шумерская клинопись и китайская иероглифика. Трагтовка на с. 14 китайской иероглифики как не обладающей дуальностью, заимствованная авто-

ром из работы [Pulleyblank 1989], попросту неверна как известно каждому китаисту или японисту, любой иероглиф состоит из фиксированного числа черт, а множество самих этих черт содержит лишь чуть более десяти элементов. Эволюция иероглифических систем письма – как китайской, так и переднеазиатской [Borger 1988 1] – как раз являет яркий пример возникновения двойного членения при переходе от преимущественно иконической к преимущественно символической организации знаковой системы

Во-вторых, анализ данных афазии на с 195–203 также не представляется нам во всем обоснованным. Если бы зона Брока действительно отвечала за те аспекты синтаксиса, которые якобы непосредственно выводятся из структуры слога, то при поражении этой зоны и соседних участков мозга следовало бы ожидать не только определенных видов аграмматизма, но и нарушения слоговой структуры, чего, тем не менее, как правило, не происходит. Что же касается самого анализируемого автором материала афазии, то для того, чтобы он мог рассцениваться как свидетельство в пользу той или иной гипотезы о происхождении языка, необходимо располагать корпусом аналогичных данных для языков различных типов, в частности языков со свободным порядком слов (например, русского) и языков с принципиально иным устройством простого предложения (синтаксически и семантически эргативных или активных, топиальных и т.п.). Приведенные данные, на наш взгляд, могут свидетельствовать только о том, что зона Брока отвечает за исполнение последовательностей речевых действий, поэтому с ее разрушением человек утрачивает способность как производить длинные цепочки слов, так и анализировать их структуру (по крайней мере, в некоторых аспектах, о гипотезе, согласно которой первичной является не иерархическая, а линейная структура речевых произведений, см [Вубе 2002])

В-третьих, неточным является утверждение автора о том, что принципиальная возможность расширения словаря сигналов присуща только человеку (с 8–12), на самом деле этим свойством мы обладаем наравне со всеми человекообразными обезьянами (см описания опытов с шимпанзе и бонобо, например в [Резникова 1997, Зорина и др 1999])

Несмотря на отмеченные фактические неточности и ряд спорных теоретических положений, книга Э Карстейрса-Маккарти обладает несомненными достоинствами. Так, нельзя не отметить, с нашей точки зрения, совершенно правильного отрицания автором какого-либо внесязыкового основания у фи-

лософских и лингвистических понятий истина" и "референция", подробно обсуждаемых им в первой и второй главах. По мнению автора, это различие вовсе не является "необходимым" свойством мышления и проистекает из разницы между ИГ используемыми преимущественно для референции и предложениями, основная функция которых (по крайней мере, повествовательных) – предикация И истинность, и референция, согласно Э Карстейрсу-Маккарти суть не более чем разновидности одного и того же свойства языковых единиц – их способности соответствовать или не соответствовать реальному миру. Подчеркнем, однако, еще раз, что из этого факта, по нашему мнению, вовсе не следует, что само по себе различие между предложениями и ИГ никак не мотивировано.

Не менее важным, на наш взгляд, является и то, что автор придает первостепенное значение в процессе эволюции языка принципам избегания синонимии (с 108–125), которые, как он сам подчеркивает (с 216–218), не являются уникальным свойством человека, но характерны для всех высших приматов (и, возможно, для всех животных, обладающих сколько-нибудь развитыми системами коммуникации)

Завершая данную рецензию нам хочется подчеркнуть, что, при всех серьезных недостатках концепции Э Карстейрса-Маккарти, его книга, вне всякого сомнения, заслуживает внимания российских лингвистов. В заключение нам кажется нелишним процитировать резко критическую рецензию самого Э. Карстейрса-Маккарти на знаменитую книгу С Андерсона "A-morphous morphology" [Carstairs-McCarthy 1993 231]. От Андерсона, даже когда он неправ, можно получить больше, чем от большинства других лингвистов, даже когда они правы. Это высказывание в полной мере применимо и к самому Э Карстейрсу-Маккарти

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Барулин 2000 – *А Н Барулин* Основания семиотики. Знаки, знаковые системы, коммуникация. Ч I М, 2000
- Бурлак, Старостин (в печати) – *С А Бурлак*, *С А Старостин* Введение в сравнительно-историческое языкознание (в печати)
- Зорина и др 1999 – *З А Зорина, И И Полетаева, Ж И Резникова* Основы этологии и генетики поведения М 1999
- Калинина 2001 – *Е Ю Калинина* Нефинитные сказуемые в независимом предложении М, 2001

- Кибрик 2003 – *A E Кибрик* Константы и переменные языка СПб. 2003
- Кибрик, Плузгян 2002 – *А А Кибрик В А Плузгян* Функционализм // Современная американская лингвистика: фундаментальные направления / Под ред. А А Кибрика, И М. Кобозевой И А Секериной М. 2002
- Крейдлин 2002 – *Г.Е Крейдлин* Невербальная семиотика. Язык тела и естественный язык. М. 2002
- Курилович 1962а – *Е Курилович* Лингвистика и теория знака // Е. Курилович Очерки по лингвистике М. 1962
- Курилович 1962б – *Е Курилович* Понятие изоморфизма // Е. Курилович Очерки по лингвистике М., 1962
- Мартине 1963 – *А Мартине* Основы общей лингвистики // Новое в лингвистике Вып III / Под ред В А Звегинцева М., 1963
- Николаева 1996 – *Т.М. Николаева* Теории происхождения языка и его эволюции – новое направление в современном языкознании // ВЯ. 1996 № 2
- Резникова 1997 – *Ж И Резникова* Экология, этология, эволюция Новосибирск 1997
- Тестелец 2001 – *Я Г Тестелец* Введение в общий синтаксис М., 2001
- Хоккет 1970 – *Ч Ф Хоккет* Проблема языковых универсалий // Новое в лингвистике. Вып V Языковые универсалии / Под ред Б А Успенского М., 1970
- Шур и др. 2004 – *Я А Шур, Л Б Вишняцкий, Н С Бледнова* Происхождение знакового поведения М., 2004
- Borger 1988 – *R Borger* Assyrisch-Babylonische Zeichenlist Munchen, 1988
- Bybee 2002 – *J L Bybee* Sequentiality as the basis of constituent structure // The evolution of language out of pre-language / Ed by T Givón, B E Malle Amsterdam, Philadelphia, 2002
- Carstairs 1987 – *A Carstairs* Allomorphy in inflexion London 1987
- Carstairs-McCarthy 1993 – *A Carstairs-McCarthy* Morphology without word-internal constituents a review of Stephen R. Anderson's A-morphous morphology // Yearbook of morphology 1992 / Ed. by G. Booij, J van Marle Dordrecht, 1993
- Carstairs-McCarthy 1994 – *A Carstairs-McCarthy* Inflection classes gender, and principle of contrast // Language V 70 1994, № 4
- Carstairs-McCarthy 1998 – *A Carstairs-McCarthy* How lexical semantics constrains inflectional allomorphy // Yearbook of morphology 1997 / Ed by G. Booij, J van Marle. Dordrecht, 1998
- Christiansen Kirby 2003 – *M H Christiansen S Kirby (eds)* Language evolution Oxford, 2003
- Clark 1993 – *E V Clark* The lexicon in acquisition Cambridge, 1993
- Croft 1991 – *W Croft* Syntactic categories and grammatical relations The cognitive organization of information Chicago, London, 1991
- Deacon 1997 – *T W Deacon* The symbolic species The co-evolution of language and the human brain London, 1997
- Dryer 1997 – *M Dryer* Are grammatical relations universal? // Essays on language function and language type dedicated to T Givón / Ed by J Bybee, J Haiman, S A Thompson Amsterdam, Philadelphia, 1997
- Foley 1993 – *W A Foley (ed)* The conceptual basis of grammatical relations // The role of theory in linguistic description Berlin, New York, 1993
- Foley, Van Valin 1977 – *W A Foley R D Van Valin, Jr* On the viability of the notion of subject' in universal grammar // Proceedings of the 3<sup>rd</sup> annual meeting of the Berkeley linguistics society Berkeley, 1977
- Foley, Van Valin 1984 – *W A Foley R D Van Valin Jr* Functional syntax and universal grammar Cambridge, 1984
- Givón 1984 – 1990 – *T Givon* Syntax A functional-typological introduction V I, II Amsterdam, Philadelphia, 1984–1990
- Givón 1995 – *T Givón* Functionalism and grammar Amsterdam, Philadelphia, 1995
- Givón, Malle 2002 – *T Givon, B E Malle (eds)* The evolution of language out of pre-language Amsterdam, Philadelphia, 2002
- Haiman 1998 – *J Haiman* Talk is cheap sarcasm alienation, and the evolution of language Oxford, 1998
- Hauser 1996 – *M D Hauser* The evolution of communication Cambridge (Mass), 1996
- Heine et al 1991 – *B Heine, U Claudi, F Hunnemeyer* Grammaticalization A conceptual framework Chicago, London, 1991
- Hopper 1987 – *P J Hopper* Emergent grammar // Proceedings of the 13<sup>th</sup> annual meeting of the Berkeley linguistics society Berkeley, 1987
- Hopper, Traugott 1993 – *P J Hopper, E C Traugott* Grammaticalization Cambridge, 1993
- Hurford et al 1998 – *J R Hurford, M G Studert-Kennedy, Chr Knight (eds)* Approaches to the evolution of language Social and cognitive bases Cambridge, 1998
- Kirby 1999 – *S Kirby* Function, selection, and innateness The emergence of language universals Oxford, 1999
- Lehmann 1995 – *Chr Lehmann* Thoughts on grammaticalization. Munchen, Newcastle, 1995
- Li 1976 – *Ch Li (ed)* Subject and topic New York, 1976

Noble, Davidson 1996 – *W. Noble, I. Davidson*. Human evolution, language and mind: A psychological and archeological inquiry. Cambridge, 1996.

Nordlinger, Saulwick 2003 – *R. Nordlinger, A. Saulwick*. Finite noun phrases. Ms. 2003.

Pinker, Bloom 1990 – *S. Pinker, P. Bloom*. Natural language and natural selection // Behavioral and brain sciences. V. 13. 1990.

Plank 1984 – *F. Plank (ed.)*. Objects: Towards a theory of grammatical relations. London etc., 1984.

Pulleyblank 1989 – *E.G. Pulleyblank*. The meaning of duality of patterning and its importance in language evolution // Studies in language origins. V. 1 / Ed. by J. Wind et al. Amsterdam; Philadelphia, 1989.

Tomlin 1986 – *R. S. Tomlin*. Basic word order: Functional principles. London, 1986.

*П. М. Аркадьев.  
С. А. Бурак*

**R. Benacchio. I dialetti sloveni del Friuli tra periferia e contatto.** Udine: Società filologica Friulana. 2002. 196 p.

Название книги итальянского слависта Розанны Бенаккьо (которое может быть переведено на русский приблизительно как "Словенские диалекты Фриули: между языковой периферией и языковыми контактами") обращает внимание на два аспекта изучаемых диалектов, делающие их уникальным явлением в славянском языковом ареале и обеспечивающие устойчивый интерес к ним со стороны славистов на протяжении уже более полутора веков. Действительно, диалекты, о которых идет речь, с одной стороны, расположены на периферии славянского мира и, более того, в относительной изоляции от последнего (большей или меньшей для разных диалектов), с другой, издавна находятся в контакте с романской языковой средой (степень которого также сильно варьирует у того или иного диалекта). Отсюда наличие в них множества редких лингвистических архаизмов и в то же время довольно сильная интерференция с соседними романскими говорами, – сочетание, заставлявшее многие поколения лингвистов ломать голову над загадками словенских диалектов итальянской области Фриули.

Среди словенских диалектов Северной Италии наиболее интересен и знаменит резьянский, носители которого живут в долине Резья. Как указывает Р. Бенаккьо, предки резьян-словенцев заселили долину не позднее XI в. С тех пор, в силу особенностей географического положения долины, ее жители относительно мало контактировали как со словенцами, так и с романским населением. Следствием многовекковой изоляции стало сохранение в резьянском диалекте множества архаических черт, представляющих исключительный интерес как для истории словенского языка, так и для славистики в целом. Неудивительно, что этот диалект, насчитывающий всего око-

ло 1300 носителей, отнюдь не обделен вниманием специалистов.

Открытый в конце XVIII в. графом Яном Потоцким, записавшим во время одного из своих путешествий первые образцы резьянской речи, диалект привлек внимание таких основоположников славистики, как Й. Добровский, В. Копитар, П.И. Шафарик. Впоследствии его изучением занялся И.И. Срезневский. Однако основателем резьянологии как научной дисциплины по праву считается И.А. Бодуэн де Куртенэ, совершивший ряд экспедиций в Резьянскую долину, собравший и опубликовавший массу ценного материала и посвятивший языку резьян докторскую диссертацию "Опыт фонетики резьянских говоров" [Бодуэн де Куртенэ 1875]. После Бодуэна изучение резьянского диалекта велось в основном в рамках словенистики (особенно важны работы выдающегося словенского диалектолога Ф. Рамовша). Однако конец прошлого столетия ознаменовался новым всплеском интереса к резьянскому диалекту со стороны ученых разных стран. Результатом стало проведение в 1991 г. в Резье международной конференции "Основы практической резьянской грамматики", материалы которой вышли отдельным томом в 1993 г. [Steenwijk (ed.) 1993], ср. обзор в [Дуличенко 1995]. Большая заслуга в изучении резьянского диалекта принадлежит голландскому исследователю Хану Стенвейку, который дал подробное монографическое описание одного из резьянских говоров ([Steenwijk 1992]; также рассматривается в обзоре [Дуличенко 1995]), разработал правила резьянской орфографии [Steenwijk 1994] и предпринял много-томное издание практической грамматики резьянского языка [Steenwijk 1999].

Хотя обитатели Резьянской долины не могут пожаловаться на недостаток интереса к своему языку, отнюдь не все его аспекты в достаточной мере изучены. Со времен классических работ Бодуэна де Куртенэ основное внимание уделялось фонетике и лексике резьянских говоров, в то время как морфология и синтаксис оставались в тени. Рецензируемая работа Р. Бенаккьо призвана отчасти восполнить эту лагуну. Кроме того, речь в ней идет не только о резьянском, но и о других словенских диалектах Фриули.

Книга состоит из четырех глав. Из них первые две ранее публиковались в виде статей, две другие – новые. В приложении приводятся диалектные тексты с переводом на итальянский. Книга снабжена подробной аннотацией на словенском и немецком языках.

Первая глава носит вводный характер. В ней перечислены наиболее любопытные морфосинтаксические особенности резьянского диалекта, в частности: утрата двойственного числа и среднего рода; использование простых претеритов; прекращение действия закона Ваккернагеля для местоименных клитик; употребление искомого указательного местоимения в качестве определенного артикля; предпочтительное использование окончаний \*и-склонения с одушевленными существительными; семантически мотивированное противопоставление кратких и полных прилагательных (аналогичное тому, что наблюдается в сербохорватском, и обратное ситуации в русском) и т.д. Некоторые из перечисленных явлений (наряду с другими) подробно разбираются в следующих главах.

На протяжении всей книги автор подчеркивает мысль о необходимости искать внутренние причины наблюдаемых явлений и процессов, прежде чем списывать их на счет романского влияния. Последовательно используя данный подход, Р. Бенаккьо показывает, что во многих случаях иноязычное влияние лишь подкрепляет внутренние тенденции в рассматриваемых диалектах. Большим подспорьем здесь оказывается типологический материал (как славянский, так и иной), нередко указывающий на аналогичные процессы в языках, не подверженных романскому влиянию. В этой связи исследователь сочувственно цитирует известное высказывание Р. Якобсона: "La langue n'accepte des éléments de structure étrangère que quand ils correspondent à ses tendances de développement" [Jakobson 1949: 359].

Подтверждение этому тезису можно найти, в частности, во второй главе, где на материале старейшего из дошедших до нас резьянских письменных памятников – катехизиса

конца XVIII в. (обнаруженного и опубликованного Бодуэном де Куртенэ) – рассматривается формирование в резьянском определенного артикля на базе указательного местоимения, восходящего к праславянскому \*гь, \*га, \*го. По мнению автора книги, сравнение процессов в резьянском с ситуацией в других славянских языках и диалектах (ср., например, болгарский, северно-русские диалекты, а также словенские диалекты на территории самой Словении) свидетельствует скорее о независимом развитии в нем категории артикля, чем об (исключительном) романском влиянии.

В катехизисе определенный артикль используется главным образом с прилагательными – как в адъективном, так и в субстантивном значении: лишь примерно в четверти случаев он ставится перед существительным без прилагательного. Р. Бенаккьо объясняет это тем, что категория артикля в резьянском (а также в некоторых других славянских языках и диалектах) приходит на смену семантическому противопоставлению между краткими и полными формами прилагательных, некогда имевшему прямое отношение к категории определенности. Эта гипотеза хорошо согласуется с общими представлениями о циклической природе процессов грамматикализации.

В третьей главе рецензируемой работы резьянский диалект анализируется в сравнении с двумя другими словенскими диалектами Фриули, распространенными, соответственно, в долинах Торре и Натизоне. Последние менее консервативны, чем резьянский: для диалекта Торре характерны более тесные контакты с фриульскими диалектами итальянского, а для диалекта Натизоне – со словенскими диалектами, он ближе всех к литературному словенскому языку.

Как отмечает Р. Бенаккьо, все три диалекта склонны к утрате среднего рода (особенно во множественном числе) и двойственного числа, причем, по мнению исследователя, в обоих случаях речь идет не столько о романском влиянии, сколько об общеславянских тенденциях. Напротив, только в резьянском, хотя и в очень слабой степени, сохранилось употребление простых прошедших времен. Точнее, в современном языке аорист уже полностью утрачен, но в конце XIX в. Бодуэн де Куртенэ еще застал sporadическое его употребление в речи пожилых людей. Имперфект в настоящее время образуется лишь от 7-ми глаголов, из которых 4 модальных (опять же, в XIX в. фиксировалось более широкое употребление); он используется практически только в модальных контекстах, в том числе в аподосисе условных конструк-

ций. Большую "живучесть" имперфекта по сравнению с аористом в резьянском, по-видимому, надо отнести на счет романского влияния: в диалектах севера Италии (как, впрочем, и в разговорном регистре литературного языка) аорист (*passato remoto*) утрачен, в то время как имперфект широко используется – в частности, в условных конструкциях; в славянских же языках (по замечанию Р. Бенаккьо) наблюдается скорее противоположная тенденция – аорист сохраняется дольше, чем имперфект<sup>1</sup>.

Сложнее обстоит дело с употреблением клитик: во всех трех диалектах клитики могут занимать первое место во фразе, т. е. не подчиняются закону Ваккернагеля. Этим словенские диалекты Фриули отличаются от большинства славянских языков, имеющих клитики. Как полагает Р. Бенаккьо, здесь также могло сказаться романское влияние; с другой стороны, подобное явление характерно и для словенских диалектов вне зоны контакта с итальянским.

Чрезвычайно любопытны приводимые Р. Бенаккьо сведения о плюсквамперфекте в рассматриваемых диалектах. При этом трактовка материала является, на наш взгляд, спорной. В резьянском представлены два грамматических показателя плюсквамперфекта: оба состоят из вспомогательного глагола "быть" и причастия на *-l*, но в первом связка имеет форму имперфекта, а во втором – перфекта (так называемая "сверхсложная" форма плюсквамперфекта). Имперфектный плюсквамперфект используется только в условных конструкциях с гипотетическим значением (и в *protasis*, и в *apodosis*). Что же касается сверхсложной формы, то она, по мнению Р. Бенаккьо, "не имеет специальных модальных значений и выполняет лишь темпоральную функцию, обозначая либо давнопрошедшее, либо непосредственное предшествование точке отсчета в прошлом" (с. 87). Отсюда можно заключить, что сверхсложный плюсквамперфект в резьянском диалекте, в сущности, имеет классическое таксисное значение предшествования другому событию в прошлом (плюс часто – но не всегда оправданно – приписываемое плюсквамперфекту

значение давнопрошедшего). Тем не менее, в справедливости данной трактовки заставляют усомниться как известные из типологии сведения о семантике сверхсложных форм, так и примеры, которые приводит Р. Бенаккьо.

Как показала исследование Д.В. Сичинавы [Сичинава 2002], сверхсложные формы плюсквамперфекта (со вспомогательным глаголом "иметь" или "быть" в форме перфекта) имеются в целом ряде европейских языков, причем все их отличает одна семантическая особенность, а именно, способность передавать значение "аннулированного" или недостигнутого результата (см. об этом значении [Плунгян 2001]). В частности, к таким показателям относится французский *passé surcomposé* (*j'ai eu lu*), который в литературном языке имеет таксисное значение, но в южнофранцузских диалектах обозначает действие с аннулированным результатом или "прекращенную ситуацию". Аналогичные формы отмечены также, например, в сербохорватском, литературном немецком и шорихском диалекте немецкого. Существование таких показателей обычно происходит на фоне утраты семантического противопоставления между аористом и перфектом, вытеснения первого вторым и, как следствие, разрушения старой системы прошедших времен: так, во французском *passé surcomposé* вошел в употребление в XVI в., когда в разговорном языке *passé composé* стал вытеснять *passé simple*. Аналогичная форма имела и в древнерусском: это так называемый "русский плюсквамперфект" (*есмь былъ шель*), из которого, по мнению Г.А. Хабургаева [Хабургаев 1978], произошла современная русская конструкция с частицей *было* – с тем же значением аннулированного или недостигнутого результата.

Разумеется, в рамках настоящей рецензии невозможно углубляться в данный вопрос, но, судя по примерам, приведенным в рецензируемой монографии, а также в тех работах, на которые ссылается Р. Бенаккьо, резьянская сверхсложная форма плюсквамперфекта вполне может пополнить вышеприведенный список. Так, на с. 87 Р. Бенаккьо приводит следующий пример из [Steenwijk 1992: 182]: *si bila wap raklä wže te drügi vijäč* 'я вам уже говорила (об этом) в прошлый раз' (комментарий Х. Стэнвейка: за 17 дней до того). Х. Стэнвейк, а вслед за ним и Р. Бенаккьо, интерпретируют это употребление как давнопрошедшее. Однако говорящая в данном случае подчеркивает не давность разговора, а то, что сказанное ею было забыто. Другой пример: *na jě muknula; an bil pusikal din fregul* 'она так и остолбенела: он только лишь чуть-чуть покосил'. Р. Бенаккьо вслед за Х. Стэнвейком трактует здесь значе-

<sup>1</sup> Р. Бенаккьо ссылается, в частности, на данные древнерусского языка (с. 81–82), однако отнюдь не очевидно, что в восточнославянском, равно как и в западнославянских языках, имперфект вообще когда-либо существовал и не был всего лишь книжным заимствованием из образцовых южнославянских текстов, ср. [Хабургаев 1991].



ние плюсквамперфекта как предпрошедшее. К сожалению, отсутствие более широкого контекста не позволяет судить с полной уверенностью, но, скорее всего, предполагалось, что работа должна была быть выполнена полностью: вместо этого она была едва начата; таким образом, опять-таки подчеркивается отсутствие результата. Характерно, что И.А. Бодуэн де Куртенэ всегда переводит данный показатель с помощью русской частицы *было*, ср.: *Ja si bil šal jitàn* 'Я шел было туда' [Бодуэн де Куртенэ 1875: 37].

Что же касается имперфектного плюсквамперфекта в резьянском диалекте, то ограниченность его употребления условными конструкциями тоже вполне предсказуема с типологической точки зрения: именно так обычно ведут себя "старые" показатели плюсквамперфекта (ср. [Сичинава 2004]).

Если ситуация в диалекте Резьи представляется типологически вполне закономерной, то этого нельзя сказать о двух других словенских диалектах Фриули – долин Торре и Натионе. В этих диалектах имеется только сверхсложный показатель плюсквамперфекта, который, как пишет Р. Бенаккьо (с. 87), имеет как модальные, так и чисто временные значения (впрочем, приведены лишь условные конструкции). В данном случае, на наш взгляд, логично предполагать романское влияние: возможно, диалектная словенская форма просто "поставлена в соответствие" итальянскому плюсквамперфекту.

Как кажется, нельзя безоговорочно согласиться с гипотезой Р. Бенаккьо о том, что консервация (хотя и довольно фрагментарная) в словенских диалектах Фриули старой системы прошедших времен связана со слабой развитостью в них категории глагольного вида (с. 88). Эта достаточно часто высказываемая (по отношению к разным языкам) идея традиционно парируется примером болгарского языка, где присутствие полного набора претеритов не помешало развитию категории вида, ни в чем не уступающей, например, русскому языку (ср. [Dickey 2000]).

Четвертая глава книги посвящена специфической резьянской клитике *ta*, всегда присоединяемой к следующему за ней предлогу и выступающей в пространственно-временных обстоятельствах (в литературе она называется то частицей, то наречием места; Р. Бенаккьо предпочитает говорить о "форме *ta*"). Со времен И.И. Срезневского принято считать, что форма *ta*, как и резьянский "определенный артикль", восходит к праславянскому указательному местоимению *\*tъ*, *\*ta*, *\*to*. Р. Бенаккьо предложила новую, оригинальную и в то же время вполне убедительную этимологию:

данная форма происходит из праславянского наречия *\*tato* (которое, помимо 'там', могло означать также 'туда'). Показано, каким образом *\*tato* фонетически (в результате ассимиляции с последующими предлогами и переразложения) преобразовалось в *ta*. В подтверждение своей гипотезы автор приводит целый ряд наблюдений, в частности, тот факт, что форма *ta* всегда отсутствует, если перед предлогом стоит наречие места.

Как и во многих других случаях, развитие формы *ta* в резьянском могло стимулироваться наличием аналогичных конструкций в итальянских диалектах Фриули. Тем не менее, Р. Бенаккьо полагает, что, несмотря на возможное романское влияние, и здесь мы имеем дело с явлением, возникшим в силу внутренней логики развития рассматриваемого диалекта и характерным также для других славянских языков и диалектов.

Очевидно, в силу того, что книга составлена из статей, в разное время написанных и посвященных разным вопросам, она обнаруживает некоторую внешнюю непоследовательность изложения. Так, несколько "запоздалым" выглядит предисловие к третьей главе, где излагаются общие сведения о словенских диалектах Фриули и истории их носителей, тем более, что эти сведения во многом повторяют информацию, содержащуюся в первой главе. Впрочем, в целом книгу отличает ясность и простота изложения.

На наш взгляд, работа Р. Бенаккьо является важным вкладом в изучение словенских диалектов Италии и представляет безусловный интерес не только для словенистов, но и для специалистов в самых разных областях славистики, а также для типологов.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Бодуэн де Куртенэ 1875 – И.А. Бодуэн де Куртенэ. Опыт фонетики резьянских говоров. Варшава; Петербург, 1875.
- Дуличенко 1995 – А.Д. Дуличенко. Резьянология как раздел словенистики (в связи с выходом монографии Х. Стэнвейка "Словенский диалект Резьи Сан Джоржио" и сборника "Основы практической резьянской грамматики") // ВЯ. 1995. № 2.
- Плунгян 2001 – В.А. Плунгян. Антрезультатив: до и после результата // В.А. Плунгян (ред.). Исследования по теории грамматики. Вып. 1: Глагольные категории. М., 2001.
- Сичинава 2002 – Д.В. Сичинава. Типология глагольных систем с несколькими формами плюсквамперфекта. (Дипломная работа. МГУ). М., 2002.

Сичинава 2004 – Д.В. Сичинава К проблеме происхождения славянского условного наклонения // Ю.А. Ландер, В.А. Плунгян, А.Ю. Урманчиева (ред.). Исследования по теории грамматики. Вып. 3: Ирреалис и вирреальность. М., 2004.

Хабургаев 1978 – Г.А. Хабургаев. Судьба вспомогательного глагола древних славянских аналитических форм в русском языке // Вестник МГУ. Сер. 9: Филология. 1978. № 4.

Хабургаев 1991 – Г.А. Хабургаев Древнерусский и древнепольский глагол в сравнении со старославянским (К реконструкции праславянской системы претеритов) // Г.А. Хабургаев, А. Бартошевич (ред.). Исследования по глаголу в славянских языках. История славянского глагола. М., 1991.

Dickey 2000 – S. Dickey Parameters of Slavic aspect: a cognitive approach. Stanford, 2000.

Jakobson 1949 – R. Jakobson. Sur la théorie des affinités phonologiques entre les langue // N.S. Trubeckoj. Principes de phonologie. Paris, 1949.

Steenwijk 1992 – H. Steenwijk. The Slovene dialect of Resia. San Giorgio (Studies in Slavic and general linguistics, 18). Amsterdam; Atlanta, 1992.

Steenwijk (ed.) 1993 – H. Steenwijk, a cura di. Fondamenti per una grammatica pratica resiana (Atti della Conferenza Internazionale tenutasi a Prato di Resia (UD), 11–13.XII.1991). Padova, 1993.

Steenwijk 1994 – H. Steenwijk. Ortografia resiana. Tò jošt rozajanské. Padova, 1994.

Steenwijk 1999 – H. Steenwijk. Grammatica pratica resiana. Il sostantivo. Padova, 1999.

П.В. Петрухин

Е.У. Chirkova. In search of time in Peking Mandarin. Leiden, 2003. 127 p.

Традиционно сильные и, соответственно, хорошо изученные стороны китайской диалектологии – фонетика и лексика. Результатами кропотливых исследований китайских ученых являются диалектные словари, фиксирующие чтение лексемы/иероглифа в данном диалекте, а также ее значение – отличное или схожее с другими диалектами. Грамматика диалектов в течение долгого времени изучалась фрагментарно как китайскими, так и зарубежными лингвистами. Ситуация изменилась только в начале 90-х годов прошлого века – в КНР началась настоящая "диалектная революция", вдохновителем которой стал Чжу Деси (ср. [Zhang 1998: 167]). Однако многие грамматические явления в разных диалектах не приведены в систему и до сих пор требуют серьезного исследования.

В этом контексте книга молодой исследовательницы Е.Ю. Чирковой (получившей образование в Москве и Пекине и в настоящее время работающей в Нидерландах) представляет несомненный интерес. Работа "В поисках времени в пекинском диалекте китайского языка" была задумана, по признанию автора, как вестороннее исследование средств выражения категории времени в пекинском диалекте, но впоследствии автор сосредоточился на более детальном описании так называемых "аспектуальных частиц (aspectual particles), употребляемых в пекинском диалекте <...> для выражения временных отношений" (с. 2, 124).

Как представляется, эта книга может привлечь внимание не только китайстов, вообще говоря, неплохо знакомых с ее основной проблематикой (служебные слова *le* и *de* являются лидерами по упоминанию в китаистической лингвистической литературе), но и значительно более широкого круга лингвистов – диалектологов, типологов, компаративистов, так как в ней собран уникальный фактический материал.

Основой исследования является база данных, составленная Е.Ю. Чирковой в течение трех лет работы с информантами – коренными жителями Пекина, возраст которых варьирует от 12 до 86 лет. В базу данных входит 17 844 предложений. Автор стремился записывать "неформальные беседы" со своими консультантами на свободные темы (с. 10), что является несомненным достоинством исследования. Принципы работы с информантами, их возрастные, социальные и т.п. характеристики описаны в первой главе. Там же приводится краткая история пекинского диалекта и отмечаются некоторые его особенности.

Во второй главе ("Лексические и синтаксические средства выражения времени") дается краткий обзор лингвистической литературы по данному вопросу и подчеркивается, что "в пекинском диалекте <...> возможно выражение как темпоральных, так и аспектуальных противопоставлений" (Peking Mandarin, as attested in the corpus, can express

both temporal and aspectual distinctions, с. 20). В этой же главе перечисляются средства выражения таких значений, иллюстрируемые примерами. Наиболее подробно описаны следующие "аспектуальные частицы": показатель перфектива *le*, экспириенциальный показатель *guo*, показатели дуратива *ne* и *zhe*, показатель прогрессива *zai*, subordinативная частица *de* в аспектуальном значении, а также показатели немедленного прошедшего (recent past) *laizhe* и *laide*. Именно в употреблении этих частиц автор отмечает определенные отличия от путунхуа – нормативного общенационального языка КНР. В главах 3–5 эти различия описываются более детально. Третья глава посвящена частице *le* четвертая глава – самая объемная в книге – частице *de*. Глава 5 описывает immediateные показатели *laizhe* и его вариант *laide*, характерные именно для пекинского диалекта и отсутствующие в современном разговорном общенациональном языке.

Е.Ю. Чиркова опиралась прежде всего на тот языковой материал, который содержался в собранной ею базе данных, т.е. проделала путь от дескриптивной практики к теоретическим обобщениям. При этом основным справочным пособием для нее служил фундаментальный труд Чжао Юаньжэня "Грамматика разговорного китайского языка" [Chao 1968], вышедший 35 лет назад, но "до сих пор не утративший актуальности" (с. 1–2).

Следует особо подчеркнуть нетривиальность проблем, стоявших перед Е.Ю. Чирковой в процессе исследования. Одной из важных задач автора было выделение сходств и тонких различий между разговорным путунхуа и пекинским диалектом. Но помимо этого приходилось принимать во внимание, что и разговорному общенациональному языку присущи некоторые отличные от литературного языка черты, которые до сих пор изучены явно недостаточно. Все это создавало дополнительные сложности для не-носителя языка, каждый раз при обнаружении неизвестных фактов вынужденного дополнительно проверять, принадлежат ли они разговорному путунхуа или же являются особенностями собственно пекинского диалекта (при этом следует учесть, что именно пекинский диалект в свое время послужил базой для формирования путунхуа).

Как уже говорилось, в главах 3–5 большое внимание уделено тем значениям служебных частиц, которые описаны в лингвистической литературе и характерны именно для пекинского диалекта. В главе 3 разбирается употребление частицы *le* при перечислении и в качестве маркера топика. В заключении главы рассматриваются взаимоотношения между различными значениями *le* и

делается вывод, что они полисемичны. К сожалению, автором не используется функционально-семантический подход, т.е. предложения не рассматриваются с точки зрения их синтаксической структуры и акционального класса предиката. Между тем, для китайского языка "установление способа действия глагола и глагольного предиката помогает определить участие различных средств, в том числе и служебных слов, в формировании актуального значения высказывания" [Тань 2002: 148]. Так например, при описании частицы *le* как "топикальной", т.е. маркирующей топик (с. 35–36, 39–44), на с. 40–41 даны предложения "состояния" с глаголом-связкой *shu* 'быть' и без него, а также с глаголом *you* 'иметь(ся)'. Было бы интересно произвести сравнительный анализ таких предложений. Также не очень убедительной кажется аргументация в пользу рассмотрения элемента *ai* в качестве показателя топика (с. 42–43), тем более, что в рассуждениях на эту тему не указана статистика подобных употреблений, а оба приведенных в главе примера даны одним информантом и имеют по две различных интерпретации.

Глава 4 посвящена анализу функции частицы *de* в позиции между глаголом и объектом. Е.Ю. Чирковой дан краткий обзор ключевых работ прошлого столетия по этимологии и исследованию функциональных характеристик частицы *de* (особое внимание уделено работам А.А. Драгунова, Чжао Юаньжэня, Чжу Дэси, Люй Шусяня). Несмотря на различие подходов, большинство исследователей признают частицу *de* в постглагольной позиции перед локативом характерной для разговорной речи и выражающей значение глаголов *zai* ('находиться') или *dao* ('достигать'). Е.Ю. Чиркова предлагает считать, что в позиции между глаголом и прямым объектом частица *de* является аспектуальной и "сигнализирует о ситуации, которая является результатом события, предшествующего моменту речи" (с. 91).

Несомненной ценностью работы является иллюстрация абсолютно всех положений примерами из базы данных. Для полноты картины, правда, хотелось бы видеть в конце книги и несколько связанных текстов – отрывков из полевых записей.

Как у многих полевых исследователей, первая книга Е.Ю. Чирковой является результатом первоначального обобщения, систематизации собранного материала, и целью ее является скорее постановка вопросов, чем их решение. Однако работа выходит за рамки описательной диалектологии и представляется во многих отношениях полезной. Автором в "Заключении" подчеркивается, что данная книга – это первый шаг к решению проблемы категориального выражения вре-

менных отношений в пекинском диалекте (с. 102–103). С такой характеристикой вполне можно согласиться

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Chao 1968 – *Chao Yuen Ren. A grammar of spoken Chinese. Berkeley, 1968*

Zhang 1998 – *Zhang Bohui. "Fangyan" ershi nian shuping [Обзор журнала "Диалекты" за 20 лет]. № 3. Fangyan. 1998.*

Тань 2002 – *Тань Аошунан. Проблемы скрытой грамматики: синтаксис, семантика и прагматика языка изолирующего строя (на примере китайского языка). М., 2002.*

Т. В. Михайлова

**Т. В. Дорофеева. История письменного малайского языка (VII – начала XX веков). М.: "Гуманитарий". 2001. 298 с.**

Книга Т. В. Дорофеевой совмещает жанры монографии и учебного руководства. С одной стороны, в ней предлагается проблемный обзор письменной истории малайского языка на протяжении более 1200 лет (со многими ссылками на различные публикации). В этом плане книга полезна для неспециалиста (лишь немногие малайские слова и пассажи, цитированные в тексте, оставлены без перевода) и, поскольку больше внимания в ней уделено внешней истории языка, может служить вкладом в общую социолингвистику. С другой стороны, формулировки автора отличаются ясностью и определенностью и доступны студенту. Приложения содержат, наряду с иллюстрациями и картой-схемой, образцы малайских текстов разных периодов, жанров и стилей, придавая книге наглядность и занимательность.

Роль малайского языка в современную эпоху несколько завуалирована тем, что в одной из крупнейших стран мира – Индонезии – государственный язык, основанный на малайской литературной традиции, в XX в. стал именоваться индонезийским, сохранив в Малайзии, Сингапуре и Брунеее прежнее название малайского. Этот язык имеет во всех четырех государствах общую латинскую графику и орфографию, но между его вариантами в разных странах есть различия, которые объясняются различиями устной и письменной диалектно-языковой базы и источников инозаимствований в новое время. – преимущественно нидерландского языка в Индонезии и английского в трех других (эти различия призвана если не устранить, то по крайней мере уменьшить особая межгосударственная комиссия). Общее число носителей вариантов малайско-индонезийского языкового комплекса в качестве первого или второго языка составляет, по оценке, около 250 млн., что обеспечивает этому комплексу весьма видное место на лингвистической карте мира [Collins 1998]. В истории малайский язык-по-

средник сыграл роль объединителя малайско-индонезийского культурного ареала, или, как его еще называют, Нусантары, населенного множеством крупных и мелких этносов. В этом качестве языка высокой культуры он в эпоху географических открытий стал известен на Западе, о чем характерным образом свидетельствует приведенный в книге факт написания на нем стихов английским ученым XVII в. Т. Хайдом.

Современное положение малайского языка хорошо знакомо автору книги. Т. В. Дорофеевой принадлежат исследования его развития и функционирования в Малайзии, где ей неоднократно довелось бывать, учиться, работать и преподавателем, и членом Международного совета по малайскому языку. Эти исследования, наблюдения над ролью языка в Сингапуре, опыт компетентного социолингвиста в рецензируемой книге сочетается с внимательным освоением и объективной оценкой научной литературы – западной (начиная с первой голландской грамматики XVII в.), российской, – не столь обширной, но оригинальной, – а также малайзийской и индонезийской. Освещается и внешняя история языка, и его структурные изменения, дающие основу для предложенной периодизации: древнемалайский язык VII–XIV вв., классический малайский XV–XIX вв. и частично синхронный последнему язык переходного периода XIX – начала XX в. Этим трем периодам соответствуют три главы. Используя термин "классический" (язык, период), автор не отвергает альтернативный термин "традиционный малайский язык", но придает последнему более широкое значение.

В главе I впервые в мировой малаистике представлен полный свод разрозненных сведений об эпиграфических памятниках языка, сформировавшегося в буддийском государстве Шривиджайя. Оно в период своего расцвета в XI–XII вв. контролировало морские торговые пути, доминировало на Суматре, Малаккском полуострове, а еще раньше оказывало влия-

ние на Яву, сказавшееся и на древнеяванском языке. Древнемалайских рукописей не сохранилось, но особенности эпиграфики указывают, что таковые могли существовать. Источниковая скудость периода делает данную сводку, а также отдельные характеристики надписей по содержанию и языку особенно ценными. В этой главе предлагаются существенные соображения о связях истории и языков Нусантары, принадлежащие как автору, так и ее предшественникам. Дан обзор аффиксации, служебных слов и лексики, прослеживается отраженное в языке обратное яванское влияние на Суматре в XIII–XIV вв., отмечается первое в надписях упоминание лингвонима "малайский", наделенного, по мнению некоторых исследователей [Ismail Hussein 1993: 18], коннотациями знатности происхождения и элитарной культуры. В целом данная глава – наиболее полный в науке обзор состояния наших знаний о древнемалайском языке.

Элитарность усвоения буддизма в малайских землях, отмечает автор, стала причиной того, что он не оставил в языке столь глубокого отпечатка, как индуизм (инду-буддизм) в яванском. Это обстоятельство в последующее время облегчило использование именно малайского языка как проводника мусульманской религии и даже символа ислама. Об этом речь идет в главе II. Здесь мы находим много фактических данных о традиционных центрах малайской литературы на Суматре, в полуостровном султанате Малакка и других владениях, складывании с расцветом морской торговли исламизированной и политехнической "прибрежной культуры" Нусантары с малайским языком-посредником, употреблявшимся во всей приморской Юго-Восточной Азии. Говорится об усвоении арабского письма и связанных с этим трудностях, о восприятии арабской и персидской лексики, калькировании арабских синтаксических моделей и сложении двух стилевых направлений в малайских текстах: беллетристического ("хикаятный" стиль) и религиозно-ученого ("китабный" стиль). Констатируется разрыв в хронологии объекта историко-лингвистического исследования в связи с тем, что ранние памятники классического периода в оригинальных рукописях не сохранились, а последние при неоднократной переписке редактировались согласно изменявшимся литературным вкусам и другим соображениям. Характеризуются особенности старейших рукописей (начиная с XVI в.). Подробно рассматривается вопрос о норме классического периода, которая в прошлом считалась атрибутом лишь одной группы текстов, связанной с султанатом Джохор и центром литературной деятельности на архипелаге Риау в XVIII–XIX вв. Подробно раскрывается понятие раннеклассических (предклассических) особенностей письменных памятников.

В главе III рассказывается о создании письменной формы так называемого "низкого" малайского языка-посредника. Рассмотрев имеющиеся данные, автор приходит к выводу, что оно было инициировано христианскими миссионерами и колониальными администраторами, главным образом, в Индонезии, тогда как в Малайе ее создателями была небольшая группа потомков китайских иммигрантов. На Яве с середины XIX в. эта письменная форма развивалась в интересах расширившегося круга городских читателей, не связанных с традиционными придворными и религиозными литературными центрами, которые продолжали существовать до начала XX в. и позже. В главе, на наш взгляд, не хватает объяснений характерных лингвистических деталей (о некоторых из них лишь упоминается скороговоркой). Несколько заниженной нам показалась оценка грамотности населения в XIX в., возможно, здесь следовало бы подчеркнуть разнообразие читательских континентов. В районах, мало затронутых модернизацией, сохранялась традиционная любовь к письменному тексту (см., например [Ревуненкова 1991] о традиционных религиозных школах), а в городах, о чем упоминает и автор, спросом пользовались платные библиотечки.

В этой и других главах есть некоторые редакционные недочеты, а в списке литературы – отдельные пропуски. Фактических неточностей в работе очень немного.

Емкая по мысли книга Т.В. Дорофеевой содержит множество достоверных фактических данных и обоснованные заключения, являясь уникальным в современной лингвистике обобщением истории "огромного лингвистического феномена", каким, несомненно, является малайский язык. Она ориентирует заинтересованного читателя в большом массиве многоязычной научной литературы, а для преподавателя-малайста или индонезиста уже стала необходимым учебным пособием.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Ревуненкова 1991 – *Е.В. Ревуненкова*. Роль традиционных институтов в современной Малайзии (бомах, пондок) // Малайцы: этногенез, государственность, традиционная культура. (Малайско-индонезийские исследования. IV) / Сост., отв. ред Б.Б. Парникель. М., 1991.
- Collins 1998 – *J.T. Collins*. Malay, world Language. Kuala Lumpur, 1998.
- Ismail Hussein 1993 – *Ismail Hussein*. Antara dunia Melayu dengan dunia kebangsaan [Между миром малайским и миром национальным]. Bangi, 1993.

Русско-английский словарь Софии Иосифовны Лубенской (далее – Словарь), безусловно, заслуживает внимания лингвистов, занимающихся исследованием фразеологии. Это не только самый полный русско-английский фразеологический словарь (около 13 000 фразеологизмов и 6 900 словарных статей), но и практически единственное лексикографическое описание русской фразеологии в сопоставлении с английской, основанное на современных представлениях о лингвистических значимых особенностях идиоматики<sup>1</sup>. До нынешнего года Словарь был практически недоступен в России. Его английская версия вышла в 1995 году в Нью-Йорке [Lubensky 1995], а его первое русское издание [РАФС] 1997 года давно стало библиографической редкостью.

Понятно, что любой лексикографический труд, в основе которого лежит некая единая научная концепция, представляет интерес не только как инструмент получения информации о значении и особенностях употребления той или иной лексической единицы, но и как материал для развития теоретических знаний о природе соответствующего фрагмента лексикона. Так, Словарь дает богатый материал для размышлений над устройством межязыковой эквивалентности в области идиоматики.

Рамки рецензии позволяют обсудить лишь некоторые аспекты концепции, лежащей в основе Словаря, и его основные отличительные особенности. В первой части рецензии я кратко опишу структуру словарной статьи, прежде всего те ее зоны, которые отличают Словарь от традиционных двуязычных фразеологических словарей. Во второй части я остановлюсь на некоторых моментах, представляющихся мне спорными, а в третьей части – на тех общих вопросах сопоставительного описания фразеологии, которые определяют основные параметры структуры двуязычного фразеологического словаря.

1. Словарная статья построена таким образом, что отвечает требованиям, предъявляемым как к переводным, так и к учебным

словарям. Помимо английских эквивалентов, она содержит развернутую информацию о семантике, синтактике и прагматике описываемых выражений, необходимую для их активного употребления человеком, для которого русский язык не является родным.

Грамматическая зона словарной статьи открывается указанием на морфосинтаксический класс фразеологизма (например, VP – для глагольных, NP – для именных, PrerP – для предложных групп). При идиомах-именных группах в необходимых случаях указывается падеж. Так, маркер NP<sub>gen</sub> при идиоме *ни уха ни рыла* означает, что это выражение фиксировано в родительном падеже и в других падежах не употребляется. Далее, в грамматической зоне приводится информация о релевантных морфологических и синтаксических ограничениях. Например, сокращение *Invar* означает, что идиома не допускает варьирования, *sing only* – что она употребляется только в единственном числе (*демяновай уха*), *usu. sing* – что единственное число предпочтительно (*чертова перенчица*), *fixed WO* – что порядок слов фиксирован (ср. *на козе не подьедешь (к кому)*, в отличие от *дать дуба*, где порядок слов свободен: *он дал дуба vs. он дуба дал*). В ряде случаев указывается синтаксическая позиция, которую данный фразеологизм может занимать в предложении: например, подлежащее (*subj*) или дополнение (*obj*). При фразеологизмах-предикатах сообщается, каким лексическим материалом (хотя бы с точностью до семантической категории) насыщаются синтаксические валентности. Ср. *навязнуть в зубы* – *subj: usu. abstr* (подлежащее – как правило, абстрактное существительное), *ничего не значить* – *subj: abstr, human, or collect* (подлежащее – абстрактное существительное, обозначение лица или собирательное существительное)<sup>2</sup>.

Информация, записываемая в грамматической зоне, представляет значительный теоретический интерес, так как позволяет выделить синтаксические структуры, типичные

<sup>1</sup> "Краткий русско-английский фразеологический словарь" ([Гуревич, Дозорец 1995] – первое издание вышло в 1988 году) – очень полезный лексикографический источник, но не может быть сравним со Словарем ни по объему, ни по тщательности исполнения (особенно в подборе английских эквивалентов и иллюстративных примеров).

<sup>2</sup> Отметим, что информация о семантической категории существительных крайне полезна для иностранных читателей, причем не только с точки зрения правильного заполнения синтаксических валентностей, но и с точки зрения предотвращения соответствующих грамматических ошибок.

для русской фразеологии, очертить границы лексического варьирования и заставляет задуматься над причинами ограничений на те или иные синтаксические модификации. Внимательное изучение материала Словаря показывает, что помимо узуальных конвенций, лежащих в самой природе фразеологии, противопоставленной "свободным" словосочетаниям, причиной существующих ограничений часто оказывается специфика внутренней формы соответствующего фразеологизма. Так, например, неспособность идиомы образовывать пассив (при том что ее актуальное значение вполне допускает такую трансформацию) может объясняться тем, что лежащая в ее основе метафора не допускает агентивно-транзитивную интерпретацию (см. подробнее [Dobrovolskij 2000a]). Грамматическая информация, представленная в Словаре, имеет и чисто практическое значение, так как дает пользователю возможность разобраться в особенностях устройства и употребления каждого фразеологизма.

Например, запись [хоть + VP<sub>импер.</sub>; Invar; indep. or subord clause; usu. this WO] при идиоме *хоть кол на голове теши* (кому) означает:

- что в структуре этой идиомы содержится императивная глагольная группа (эта информация существенна с практической точки зрения, так как форма *теши* может представлять для изучающих русский язык определенные трудности и вообще не осмысливаться как императив от редкого самого по себе глагола *тесать*);
- что компонентный состав идиомы строго фиксирован и не допускает ни лексического, ни синтаксического варьирования;
- что идиома (при заполненной дативной валентности) употребляется либо как самостоятельное высказывание (*Ему хоть кол на голове теши!*), либо как придаточное предложение (*Ему хоть кол на голове теши, он все равно не в состоянии понять, чем подлежащее отличается от сказуемого*);
- что данный порядок слов является предпочтительным; ср. явно менее узуальное *Ему на голове хоть кол теши!*

Идиомам-предикатам сопоставляется их пропозициональная форма. Эта информация записывается в отдельной зоне словарной статьи, например: *ни в зуб ногой* (в чём, по чему) – *в Y-e X ни в зуб ногой*. По сравнению с традиционным обозначением переменных (*кто-л в чём-л.*) такая форма записи, видимо, более удобна для двуязычного словаря, так как позволяет без дополнительных комментариев сопоставить соответствующему русскому фразеологизму его английские эквиваленты с раз-

ными диатезами. Ср. *в Y-e X ни в зуб ногой* ≈ *X doesn't know beans <the first thing, a damn thing> about Y: Y is a closed book to X*. Эти модели даются в той видо-временной форме, в которой идиома чаще всего употребляется.

Еще одно существенное отличие Словаря от подобных лексикографических источников – это наличие толкований. Написанные до-английски толкования помогают пользователю понять значение каждого русского фразеологизма "изнутри", то есть без наложения дополнительных (и часто уводящих в сторону) признаков, содержащихся в плане содержания соответствующих английских эквивалентов. Толкования чрезвычайно полезны для переводчиков. Ни один словарь не может предложить все возможные варианты перевода того или иного фразеологизма, поскольку эти варианты, в силу самой природы перевода, всегда зависят от контекста, а охватить все потенциальные контексты невозможно в принципе. Толкование позволяет переводчику найти свой эквивалент, наиболее подходящий в каждом конкретном случае.

Приводимые в отдельной зоне словарной статьи эквиваленты редко совпадают с толкуемым русским фразеологизмом по всем релевантным параметрам. Английские эквиваленты особенно полезны для русскоязычного пользователя, так как даже при отсутствии полного совпадения с соответствующей русской идиомой в семантическом, синтаксическом и прагматическом поведении они дают представление о том, как данное понятие может быть выражено с помощью фразеологических средств английского языка (примеры см. ниже). Больше всего эквивалентов и иллюстративных примеров приводится для идиом-междометий типа *надо же!*, поскольку они в наибольшей степени чувствительны к контексту.

Зона иллюстративных примеров (один из важнейших компонентов любого словаря) содержит либо контексты из произведений художественной литературы, либо контексты, сконструированные автором (ср. приводимую ниже статью идиомы *носить воду решетом*). Все контексты переводятся на английский язык, причем при литературных примерах используются существующие переводы соответствующих произведений, часто предлагающие нетривиальные эквиваленты. Примеры такого рода, с одной стороны, показывают пользователю, что возможности перевода идиом на другой язык выходят за рамки "словарных эквивалентов", так как ни один словарь в принципе не может учесть все допустимые контекстно-обусловленные способы перифразирования высказываний с

данной лексической единицей, а с другой – предоставляет в распоряжение исследователя богатый материал для изучения влияния контекста на способ перевода фразеологических единиц, а также различных переводческих стратегий. Некоторые словарные статьи вообще не содержат примеров, что может рассматриваться как определенный недостаток Словаря, который, впрочем, может быть легко устранен в последующих изданиях.

В заключение этого раздела приведем в качестве иллюстрации пример полной словарной статьи.

**НОСИТЬ <ТАСКАТЬ, ЧЕРПАТЬ> ВОДУ РЕШЕТОМ; НОСИТЬ <ТАСКАТЬ> ВОДУ В РЕШЕТЕ** *all coll, iron or humor* [VP; subj: human; usu. infin after всё равно что or то же самое, что] to do sth. knowing that one's efforts, actions are in vain, will bring no results; делать X – всё равно что воду решето носить = **doing X is like trying to carry <draw> water in a sieve; doing X is like plowing the sands.** Дмитрий человек упрямый, спорить с ним – все равно что воду решето носить. *Dmitry is a stubborn person: arguing with him is like trying to carry water in a sieve.*

Из примера видно, что помимо описанных выше зон, словарная статья содержит и другие – более или менее традиционные для двуязычных фразеологических словарей – типы информации. Сюда относятся сведения о варьировании отдельных компонентов, о (приблизительных) английских эквивалентах, а также стилистические пометы (подробнее ниже). Некоторые фразеологизмы снабжены этимологическими комментариями; например: *отставной козы барабаник, козел отпущения, положение хуже губернаторского.*

2. Некоторые черты Словаря кажутся мне дискуссионными. В первую очередь, это касается состава словника. Словарь содержит достаточное количество единиц, по тем или иным параметрам маргинальных для фразеологической системы, и в этом смысле явно претендует на полноту. Ср., с одной стороны, такие малоизвестные – часто крайне устаревшие – идиомы, как *темна вода во облацех, охулки на руку не класть, выделять мыслете*, и такие слабоидиоматичные выражения, как *брать пример, брать в расчет / в соображение, отдавать / выходить замуж, войти в доверие / в привычку / в положение / в свои права, поставить под вопрос, не без основания* – с другой. Последние традиционно описываются не во фразеологических словарях, а в словарях сочетаемости. Этому есть вполне естественное объяснение: "классичес-

кие" идиомы представляют собой относительно обозримый инвентарь единиц лексической системы<sup>3</sup>, количество коллокаций такого рода превышает количество слов, по крайней мере, в 10 раз<sup>4</sup>, что делает описание коллокаций отдельной задачей. Ср. принятое в ТКС решение описывать коллокации в рамках словарной статьи соответствующего слова (то есть относиться к ним скорее как к сочетаниям лексических единиц, чем как к целостным лексическим единицам)<sup>5</sup>. При том, что Словарь включает указанные единицы, в нем нет вполне употребительных идиом типа *(чей-л.) путь не усыпан розами, тьму-таракань; седина в бороду, (а) бес в ребро; под дулом автомата <пистолета>* (ср. *Да я и под дулом пистолета не соглашусь на эти условия*). Понятно, что подобные претензии, часто предъявляемые к лексикографическим источникам, выглядят не вполне академично. Любой лингвист знает, что абсолютно полных словарей нет и не может быть в принципе. Включение-невключение той или иной единицы в словник зависит от целого ряда объективных и субъективных факторов, в том числе не в последнюю очередь от языковой интуиции автора. Тем не менее, от словаря столь высокого класса можно было бы ожидать большей точности в этом вопросе. Вполне допустимо, например, исключить из рассмотрения все коллокации и пословицы, оставив в словнике только идиомы. Можно ограничиться при этом

<sup>3</sup> По имеющимся оценкам количество идиом, реально употребляемых в каждый конкретный период развития языка, составляет в языках с развитой литературной традицией порядка 10 000.

<sup>4</sup> Ср. следующее наблюдение И.А. Мельчука: "they outnumber words at least 10 to 1, the lion's share of their inventory being collocations" [Mel'cuk (in print)].

<sup>5</sup> Если исходить из того, что лексический состав коллокаций часто довольно непредсказуем и информация такого рода полезна читателю, включение определенных коллокаций во фразеологический словарь (особенно адресованный иностранному пользователю) может оказаться целесообразным с практической точки зрения. Однако и в этом случае стоит ограничиться по-настоящему "непредсказуемыми" коллокациями типа *возлагать надежды* или *одержать победу* (этой коллокации в Словаре, кстати, нет), исключив семантически прозрачные квазипродуктивные сочетания (см. подробнее [Апресян 2004]).



лишь тем материалом, который представлен в современных текстах (такая стратегия выбрана в [Тезаурус (в печати)]). Допустимо ввести ограничения стилистического или даже прескриптивно-нормативного характера, исключив из словника все грубые, неприличные и нецензурные идиомы. По этому параметру Словарь также не обнаруживает последовательности. В Словаре есть подобные идиомы, даже две нецензурных (ср. словарную статью под номером М 50)<sup>6</sup>. Спрашивается, почему из всего богатого репертуара идиом с обсценным компонентом выбраны именно эти. Почему при этом отсутствуют известные идиомы с гораздо более невинным компонентным составом, такие, например, как зафиксированное в [Ожегов, Шведова 1992] выражение *из говна конфетку сделать*?

Следующий пункт, заслуживающий обсуждения, – это толкования. Оговорю сразу, что в большинстве случаев они точны и написаны удивительно простым и ясным языком, в очередной раз доказывая, что простота и доступность словарного описания не только не снижает его научного уровня, но скорее свидетельствует о строгости мышления лексикографа. Однако встречаются толкования, которые можно было бы уточнить. Возьмем уже обсуждавшийся выше пример – идиому *носить воду решетом*. Толкование "to do sth. knowing that one's efforts, actions are in vain, will bring no results" (=делать что-л., зная, что собственные усилия, действия напрасны, не принесут результатов) представляется не вполне точным. Ведь тот, кто *носит воду решетом*, совсем не обязательно знает, что его усилия напрасны. Более того, как правило, он этого знать не должен. Это знает говорящий, о чем свидетельствует тот факт, что он выбрал для описания соответствующей ситуации именно эту идиому<sup>7</sup>. Ср., например, довольно типичный контекст (1):

(1) <...> число правонарушений несовершеннолетних по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 12%. И все же 100% охвата детей обучением мы пока добиться не можем. <...> Главная задача –

предупредить сам факт отсутствия надзора, при этом бороться только полицейскими методами – все равно, что *носить воду в решете* (Публицистика Интернета).

Из примера (1) видно, что оценка усилий / действий субъекта как напрасных, нерезультативных принадлежит не самому субъекту (иначе он бы этого не делал), а говорящему. Видно также, что причина тщетности усилий субъекта – неправильно выбранный метод ("инструмент" в широком смысле). Эта идея заложена во внутренней форме идиомы (решето – явно неподходящий инструмент для ношения воды) и – как и во многих подобных случаях – отражается в ее актуальном значении (см. подробнее [Баранов, Добровольский 1998]). Соответственно, я бы предложил для этой идиомы такое толкование: 'to try to achieve a goal using a totally inappropriate means for achieving this goal, which inevitably leads to failure' (=пытаться достичь некоей цели, используя для этого совершенно неподходящие средства, что неизбежно ведет к неудаче'). Именно заложённая во внутренней форме<sup>8</sup> идея "неподходящего средства" отличает эту идиому от других выражений семантического поля ТИЧЕТНЫЕ УСИЛИЯ. Ср. идиому *толочь воду (в ступе)*, в фокусе которой находится абсурдность и бессмысленность совершаемого действия, *искать иголку в стоге сена*, фокусирующей идею чрезмерной сложности задачи по поиску кого-либо или чего-либо, что делает усилия, затрачиваемые на ее решение, малоэффективными, или *биться как рыба об лед*, где в фокусе оказывается идея отчаянной борьбы субъекта с непреодолимыми (в силу неблагоприятных объективных обстоятельств) трудностями. Эти примеры показывают, что толкования в большей степени опирающиеся на внутреннюю форму и признающие за образной составляющей статус особого компонента значения, оказываются более точными (см. [Добровольский 1996]). В одних случаях толкования Словаря учитывают образную составляющую, в других – не вполне<sup>9</sup>.

<sup>8</sup> Ср. понятие "этимологической памяти" в [Апресян 1995].

<sup>9</sup> Ср. *толочь воду (в ступе)* – "to do something absolutely fruitless, useless for a long period of time (often used in situations when one engages in empty talk instead of taking action in some matter)"; *биться как рыба об лед* "to strive in vain to cope with one's low standard of living, work very hard to survive", *как иголка в стогу <в стоге> сена* "(a person, thing etc that has vanished and is) very difficult or almost impossible to find".

<sup>6</sup> Эти идиомы, кстати, обладают весьма сложной семантической структурой, обнаруживая развитую полисемию, ср. [Буй 1995]. В Словаре они не протолкованы. Содержащееся в этой словарной статье указание "a very strong expletive" (=ставное/бранное выражение), естественно, не может считаться толкованием.

<sup>7</sup> Понятно, что в некоторых контекстах субъект действия и говорящий могут совпадать, но такое совпадение не является обязательным.

Некоторые толкования оказываются трудно верифицируемыми, особенно если речь идет об устаревшем выражении, а соответствующая словарная статья не содержит примеров. Ср. идиому *с царём в голове*, толкуемую в Словаре как "one is clever, practical, one knows how to get things done etc.". В отличие от антонимичной идиомы *без царя в голове*, это выражение практически полностью вышло из употребления. Современные контексты, которые удается найти, оказываются в той или иной степени игровыми и / или отталкиваются от семантики идиомы *без царя в голове*. Ср. контекст (2), где выражение *с царем в голове* осмысливается как что-то вроде "не совсем уж бесплодный".

(2) <...> от водителя не требуется квалификации "формульного" пилота, чтобы укротить автомобиль. <...> постоянный полный привод, довольно "мягкое" сцепление и 6-ступенчатая КПП вполне подвластны даже новичку, разумеется, если он *с царем в голове* – вольности прощаются, но далеко не любые (Публицистика Интернета).

Доступные мне примеры из литературы XIX века также оказываются недостаточными для верификации предложенного толкования. Ср. (3):

(3) Хотя и действительно он имел и практику, и опыт в житейских делах, и некоторые очень замечательные способности, но он любил выставлять себя более исполнителем чужой идеи, чем *с своим царем в голове*, человеком "без лести преданным", и – куда нейдет век? – даже русским и сердечным (Ф.М. Достоевский. Идиот).

Особого внимания заслуживает предлагаемая в Словаре система стилистических помет, отражающая не только стилевые регистры (от *elev* "высокое" до *vulg* "вульгарное" и *taboo* "табуированное"), временные характеристики (от *obs* "устаревшее" до *recent* "новое"), но и пометы характера речи типа *humor* "шутливое", *impol* "невежливое", *derog* "уничажительное", а также пометы, указывающие на соответствующий тип дискурса (*offic* "официальное", *lit* "книжное", *folk poet* "народно-поэтическое"). Тем не менее, даже столь хорошо развитая система помет в некоторых случаях оказывается недостаточной для разграничения выражений с явно несовпадающими прагматическими характеристиками. Ср., например, идиомы *за семь верст киселя хлебать* и *на задворках (чего-л.)*. И то и другое выражение получает в Словаре помету *coll* = "разговорное". Интуитивно это представля-

ется не вполне точным, так как первое из этих выражений воспринимается как "народное", то есть обладающее национально-специфичными коннотациями (оно, например, вряд ли уместно в текстах, переведенных с других языков), в то время как второе, действительно, просто разговорное.

Далее, не совсем ясна практическая ценность пометы *folk poet* "народно-поэтическое". Эта помета используется в Словаре крайне редко и приписывается таким идиомам, как *в некотором царстве, в некотором государстве*. Представляется более целесообразным ввести помету народное и последовательно приписывать ее выражениям, обнаруживающим национально-специфическими коннотации, вне зависимости от того, воспринимаются ли они как элементы фольклорной поэтики (ср. *мать сыра земля, для милого дружка семь верст не околица*)<sup>10</sup> или относятся скорее к сфере традиционного – "негородского" – разговорного дискурса: ср. *Федот, да не тот; мели, Емеля, твоя неделя; ни в мать, ни в отца, а в проезжего молодца; по усам стекло, (а) в рот не попало; раздать всем сестрам по серьгам; на тебе, боже, что нам негоже* (примеры из [Тезаурус (в печати)]).

Маркировать такие единицы с помощью специальной пометы представляется весьма желательным, особенно в двуязычных словарях, так как подобные выражения могут восприниматься странно в устах людей, для которых русский язык не является родным.

Понятно, что область стилистических помет представляет собой наименее операционализируемый компонент словарного описания лексических единиц. Практически любые решения, принимаемые в этой области, основываются на интуиции исследователя, его индивидуальном языковом опыте или опираются на существующую лексикографическую традицию, поэтому дискуссии по поводу того, правильно или неправильно приписана та или иная помета в каждом конкретном случае, малопродуктивны. Очевидно, однако, что в этом направлении должны вестись дальнейшие поиски. В этом смысле стилистическая концепция Словаря – безусловно, шаг вперед по сравнению с пометами, принятыми в традиционной русской лексикографии. Сопоставление системы помет Словаря с другими современными подходами (ср., например, [НОСС 2004; Тезаурус (в печати)]) может дать инте-

<sup>10</sup> Первое из этих выражений в Словаре отсутствует, второе дается без пометы.

ресные теоретические и практические результаты.

3. С точки зрения развития теории фразеологии Словарь интересен, в первую очередь, тем, что по-новому ставит вопрос межъязыковой эквивалентности в области фразеологии. Уже само наличие в Словаре толкований, помимо обычных для двуязычных словарей переводных эквивалентов, указывает на то, что в основе его концепции лежит представление о практической невозможности передать значение и особенности употребления фразеологизма языка-источника с помощью квазиэквивалентных ему фразеологизмов языка-цели. Эта идея представляется глубоко верной. Идиомы (как, впрочем, и конвенциональные метафоры других типов) – это настолько сложно устроенные единицы лексикона, что трудно ожидать полного совпадения на первый взгляд похожих выражений разных языков. Хотя бы по одному из трех базовых семиотических измерений – семантике, синтактике или прагматике – внешне схожие идиомы языка-источника и языка-цели, как правило, обнаруживают различия, значимые для их реального функционирования в речи (подробнее об этом [Dobrovol'skij 2000b]). Приведем лишь два примера.

Русская идиома *пускать козла в огород* внешне очень похожа на немецкую идиоку *den Bock zum Gärtner machen* (букв. "делать / назначать козла садовником"). Неудивительно, что все известные мне русско-немецкие и немецко-русские словари описывают эти идиомы как полностью эквивалентные. Обращение к контекстам показывает, однако, что это не так. Русская идиома *пускать козла в огород* может быть приблизительно протолкована следующим образом: "доверить кому-л. контроль над определенной сферой деятельности, при том что это лицо способно причинить в этой сфере деятельности серьезный вред и будет использовать свое положение в личных интересах"<sup>11</sup>. Немецкая идиома *den Bock zum Gärtner machen* отгиается от русской на компонент значения 'использовать свое положение в личных интересах'. Иными словами, она встречается в контекстах, в которых речь идет о назначении на ту или иную должность человека, не обладающего соот-

ветствующей компетенцией и, следовательно, неспособного эффективно работать в этой должности. Заметим, что эти межъязыковые различия могут быть (по крайней мере, до известной степени) объяснены в терминах образной составляющей. В основе внутренней формы русской идиомы лежит метафора допуска "потенциального вредителя" к некоторому ресурсу, при том что о "вредителе" известно, что он в силу своей природы будет использовать этот ресурс в личных интересах. Внутренняя форма немецкой идиомы не профилирует идею допуска к ресурсу, она основана на метафоре "абсурдного назначения".

Этот пример показывает, что словарная статья, предусматривающая лишь зону перевода, в принципе не может отразить подобные межъязыковые различия, существенные для правильного употребления идиом. Разумеется, формат описания, предложенный в Словаре, не единственно возможный. Можно представить себе и более привычное для двуязычных словарей распределение материала, при котором основной является не зона толкования, а зона перевода. При таком способе подачи материала все существенные различия между идиомой языка-источника и ее квазиэквивалентами могут быть указаны в комментариях. Важно лишь, чтобы межъязыковые различия такого рода были исследованы, описаны и представлены в доступной для пользователя лексикографической форме.

Во многих случаях переводные соответствия – это лишь схожие с описываемой идиомой по актуальному значению и / или внутренней форме единицы, а не эквиваленты в строгом смысле. Они могут употребляться при переводе текстов с русского языка на английский лишь в контекстах нейтрализации значимых различий. Причем некоторые из подобных "эквивалентов" практически никогда не могут быть использованы в качестве таковых при переводе реальных (а не учебных) текстов. Для них в Словаре предусмотрен оператор *cf.* "сравни". Так, идиома *в Тулу со своим самоваром не ездят*, протолкованная как "there is no need to bring sth. to a place that already has an abundance of it" содержит в качестве приблизительного эквивалента английское выражение *≈ why <don't> carry water to the river*, а в качестве сопоставимого по семантике (но неэквивалентного) фразеологизма, вводимого оператором *cf.* выражение *it's useless to carry <it would be like carrying> coals to Newcastle*, содержащее явные национально-специфические коннотации. Важно отметить, что препятствием для подлинной эквивалентности являются не

<sup>11</sup> Ср. сходное по сути толкование этой идиомы в Словаре: "to allow s.o. access to some place where he may be esp. harmful or to some thing that he wants to use or exploit for personal gain".

только прагматические факторы (ср. компоненты *Тула* и *самовар*, с одной стороны, и *Newcastle* – с другой), но и чисто семантические особенности этих фразеологизмов. Так, английская идиома *to carry coals to Newcastle* допускает в качестве "оказавшегося ненужным объекта" обозначения нематериальных сущностей, а русское выражение *ездить в Тулу со своим самоваром* – нет. Ср. <sup>2</sup>*Проводовать основы христианства в среде староверов – все равно, что ездить в Тулу со своим самоваром.*

В заключение отметим, что к несомненным достоинствам Словаря относятся и такие, казалось бы, чисто технические моменты, как максимально удобное для читателя расположение фразеологизмов (по наименее изменяемому полнозначному компоненту) и наличие индекса, позволяющего найти искомым фразеологизм по любому из его компонентов. Для англоязычных пользователей, не всегда способных привести найденное в тексте выражение к его лемматизированной форме, такой индекс совершенно необходим.

Все сказанное о Словаре позволяет сделать вывод, что он интересен и полезен для самой широкой аудитории. Словарь помогает изучать и русский и английский язык, он чрезвычайно полезен переводчикам (о чем свидетельствуют многочисленные отклики в журналах и письмах читателей), а также представляет несомненный интерес для профессиональных лингвистов.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Апресян 1995 – Ю.Д. *Апресян*. Коннотации как часть прагматики слова (лексикографический аспект) // Ю.Д. *Апресян*. Избранные труды. Т. 2. М., 1995.
- Апресян 2004 – Ю.Д. *Апресян*. О семантической непустоте и мотивированности лексических функций глаголов // Проблемы русской лексикографии. Тезисы докладов международной конференции "Шестые Шмелевские чтения". М., 2004.

- Баранов, Добровольский 1998 – А.Н. *Баранов*, Д.О. *Добровольский*. Внутренняя форма идиом и проблема толкования // ИАН СЛЯ. 1998. № 1.
- Буй 1995 – В. *Буй*. Русская заветная идиоматика. М., 1995.
- Гуревич, Дозорец 1995 – В.В. *Гуревич*, Ж.А. *Дозорец*. Краткий русско-английский фразеологический словарь. М., 1995.
- Добровольский 1996 – Д.О. *Добровольский*. Образная составляющая в семантике идиом // ВЯ. 1996. № 1.
- НОСС 2004 – Новый объяснительный словарь синонимов русского языка / Под рук. Ю.Д. *Апресяна*. М., 2004.
- Ожегов, Шведова 1992 – С.И. *Ожегов*, Н.Ю. *Шведова*. Толковый словарь русского языка. М., 1992.
- РАФС – С. *Лубенская*. Русско-английский фразеологический словарь. М., 1997.
- Тезаурус (в печати) – А.Н. *Баранов*, Д.О. *Добровольский*, К.Л. *Киселева*, А.Д. *Козеренко*. Словарь-тезаурус современной русской идиоматики. М. (в печати).
- ТКС – И.А. *Мельчук*, А.К. *Жолковский*. Толково-комбинаторный словарь современного русского языка. Wien, 1984.
- Dobrovol'skij 2000a – D. *Dobrovol'skij*. Syntaktische Modifizierbarkeit von Idiomen aus lexikographischer Perspektive // U. *Heid*, S. *Evert*, E. *Lehmann*, C. *Rohrer* (eds.). Proceedings of the ninth Euralex international congress. Stuttgart, 2000.
- Dobrovol'skij 2000b – D. *Dobrovol'skij*. Contrastive idiom analysis: Russian and German idioms in theory and in the bilingual dictionary // International journal of lexicography. V. 13. 2000. № 3.
- Lubensky 1995 – S. *Lubensky*. Random House Russian-English dictionary of idioms. New York, 1995.
- Mel'čuk (in print) – I.A. *Mel'čuk*. Lexical functions and phraseology // H. *Burger*, D. *Dobrovol'skij*, P. *Kühn*, N. *Norricks* (eds.). Handbook phraseology. Berlin; New York (in print).

Д.О. Добровольский

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

22–23 апреля 2004 г. филологический факультет Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова проводил очередную Международную конференцию "Социальные варианты языка-3". Ее цель – проанализировать те языковые явления, которые имеют место в русском языке за последние 15–17 лет: переход жаргонно-арготической лексики в общенародный язык, вульгаризация и варваризация речи СМИ, отражение в языке политико-экономических процессов, лингвистический феномен рекламы, определение статуса социальных вариантов языка, уточнение классификации социальных диалектов, рекомендации по искоренению вульгарных жаргонно-арготических лексем.

В оргкомитет конференции, который возглавил ректор НГЛУ Г.П. Рябов, вошли ведущие кафедрами русского языка ведущих вузов Нижнего Новгорода: М.А. Грачев (Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова), Н.Е. Петрова (Нижегородский государственный педагогический университет им. А.М. Горького), Л.В. Рацибургская (Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского). Конференция проходила при материальной и моральной поддержке администрации г. Нижнего Новгорода, спонсорами конференции были филиал ОАО Внешторгбанка Российской Федерации в г. Нижнем Новгороде и ОАО "Приокское" г. "Нижнего Новгорода".

Филологический факультет НГЛУ, на котором готовят будущих преподавателей и русского, и иностранного языков, объединил лингвистов, занимающихся социальными вариантами различных языков: русского, английского, французского, немецкого. Тем более, что преподаватели кафедры русского языка и общего языкознания данного вуза более двадцати лет занимаются проблемами со-

циальных вариантов языка, несмотря на то, что их исследование в начале 80-х годов было связано с трудностями идеологического характера. Конференция вызвала большой интерес среди ученых-лингвистов.

Так, о намерении участвовать в ней сообщили 169 человек из разных городов России, ближнего и дальнего зарубежья, среди них 118 докторов и кандидатов наук. Среди них: В.И. Беликов (Москва), Э.М. Береговская (Смоленск), А.Т. Липатов (Йошкар-Ола), Т.Г. Никитина (Псков), Л.В. Рацибургская (Нижний Новгород), Ю.С. Язикова (Нижний Новгород) и др. Они представляли ведущие вузы страны. Конференция показала, что сложился устойчивый коллектив ученых, которые участвуют в ней постоянно – третий раз. Данный факт – свидетельство не только заинтересованности ее участников, но и актуальности проблем, решаемых на форуме. Конференцию открыл ректор НГЛУ Г.П. Рябов. Его вступительное слово было посвящено проблемам чистоты и правильности русской речи.

На пленарном заседании выступили следующие ученые: М.А. Грачев (Нижний Новгород) (доклад "Динамика социальных диалектов русского языка"), В.И. Жельвис (доклад "Как слово наше отзовется. Инвектива как орудие самодеструкции: миф или истина?"), В.А. Салеев (доклад "Еще о греческих заимствованиях в русских социолектах"), Ю.С. Язикова (доклад "Статус литературно-языковой нормы на рубеже XX–XXI веков").

На конференции работало восемь секций: 1. "Общие проблемы социальной диалектологии; социальные варианты языка и лексикографии" (руководитель секции О.С. Сапожникова), 2. "Социальное варьирование в области концептосферы языка" (руководители Т.С. Алексеева и А.Д. Зиньков), 3. "Социолекты и литературный язык" (руководитель В.М. Никонов), 4. "Особенности языка отдельных социальных групп" (ру-

ководители А.Т. Липатов, В.С. Захаров), 5. "Языковая личность" (руководитель Т.В. Анисимова), 6. "Отражение социального варьирования языка в рекламе и СМИ" (руководители Н.Е. Петрова и А.А. Негрышев), 7. "История социальных вариантов языка" (руководитель Э.Н. Акимова); 8. "Факторы социального варьирования языка" (руководители И.В. Бугаева, О.В. Карнаухова).

Многие доклады вызвали оживленную дискуссию, в частности те, которые касались проблем русского языка и средств массовой информации, рекламы, взаимодействия социальных диалектов с общенародным языком. Особенно было много вопросов со стороны студентов на первом пленарном заседании, нередко вопросы переходили в дискуссию. Особенностью этой конференции явилось еще и то, что в ней выступали с докладами студенты филологических факультетов ведущих вузов г. Нижнего Новгорода, что свиде-

тельствует о возрастающем интересе к социальным вариантам языка, о приобщении молодого поколения к науке.

Интересными были доклады, посвященные сравнительному анализу русских и иноязычных социальных диалектов.

На заключительном пленарном заседании были высказаны пожелания о регулярности проведения конференций по данной проблематике, а также наметить магистральные направления. Были высказаны предложения о создании широкой информативной базы по изучению социальных вариантов языка.

Материалы конференции были выпущены в апреле 2004 г. Организаторы планируют в апреле 2005 г. проведение Международной конференции "Социальные варианты языка-4".

М.А. Грачев (Нижний Новгород)

24–26 июня 2004 г. в Париже (Université Sorbonne Nouvelle Paris-III) состоялся международный colloquium "Шарль Балли (1865–1947) и историчность лингвистических и дидактических дебатов: стилистика, теория высказывания, кризис французского языка" [Charles Bally (1865–1947). *Historicité des débats linguistiques et historiques. Stylistique, Énonciation, Crise du français*]. В работе colloquium приняли участие исследователи из Франции, Швейцарии, России. Открывая colloquium, один из его организаторов Ж.-Л. Шисс (Франция) отметил, что лингвистическое наследие Ш. Балли – франкоязычного швейцарского лингвиста – столь богато и разнообразно, что значение его работ для развития гуманитарных наук в двадцатом столетии поистине трудно переоценить. Издатель (вместе с А. Сеше) "Курса общей лингвистики" Ф. де Соссюра в 1916 году, премник Соссюра по Женевскому университету с 1913 года, основоположник стилистики как лингвистической дисциплины, предтеча работ по теории высказывания, специалист по французскому и немецкому языкам, теоретик общего языкознания, Балли сыграл важную роль в развитии не только лингвистики, но и психологии и дидактики в первой половине двадцатого столетия. Разработанные им понятия "естественного усваиваемого" и "сознательно выучиваемого" в языке (*langage transmis vs. langage acquis*) сыграли важную

роль в психологических дебатах начала двадцатого века, а также имели прикладное значение в связи с бурными дискуссиями о "кризисе французского языка", в том числе и о кризисе его преподавания во франкоязычной Швейцарии в тридцатые годы двадцатого века (в этих дискуссиях участвовал и сам Балли). Вместе с другими выдающимися лингвистами его эпохи – как, например, М. Бреалем и Ф. Брюно – Балли закладывает основы современной педагогики – обучения языкам, и прежде всего, дидактики французского языка как родного и как иностранного. Поэтому, подчеркнул организатор colloquium, речь, разумеется, не идет об "открытии" или "пере-открытии" забытого или малоизвестного лингвиста, но о прочтении и интерпретации работ Балли в современном контексте, с позиции историков и эпистемологов гуманитарных наук, так как проблемы, интересовавшие Балли – преподавание языков, отношения между языком и языками, языком и мышлением, языком и литературой – остаются актуальными и сегодня.

Тематика докладов colloquium соответствовала разнообразию теоретических интересов самого Балли. Большая часть сообщений была посвящена значению теоретического наследия Балли для развития общей лингвистики в двадцатом веке. Значение работ Балли для современного прочтения или, точнее, перепрочтения текстов Соссюра по общей лингвистике было в центре доклада Ж. Курсиля (Франция). Особое внимание

докладчик уделил тем вопросам в сосюррианской концепции, которые, по его мнению, были "забыты" структуралистами, и прежде всего – положению, согласному которому язык (*la langue*) представлен в памяти говорящих в виде специфической парадигматической системы (*système paradigmatique de valeurs*). В этом смысле язык представляет часть "мнемо-психической системы" говорящих. Этот тезис докладчик связал с предпринятым в работах Балли анализом некоторых языковых функций. О различных подходах к интерпретациям сосюррианского положения о произвольном характере связи означаемого и означающего в языковом знаке в концепциях Ш. Балли и Э. Бенвениста шла речь в докладе французского исследователя П. Дале. Большой интерес собравшихся вызвал доклад швейцарской исследовательницы К. Форель о социолингвистической концепции Балли, так как работы Балли, посвященные социолингвистическим проблемам, сегодня практически неизвестны, если не считать нескольких его статей. В то же время, в течение нескольких лет Балли читал в Женевском университете лекции, посвященные "социологической лингвистике" (*linguistique sociologique*). Анализ до сих пор не опубликованных рукописей Балли, представляющих его записи, планы и конспекты этих лекций, и был представлен в докладе. Тематически примыкало к данному сообщению сообщение другого швейцарского исследователя, Ж. Мезо, рассказавшего о влиянии работ Балли на формирование социолингвистической концепции П. Бурдьё. По мнению докладчика, понятия "разговорного языка" и "литературного языка", широко представленные у Бурдьё, были заимствованы им именно у женевского лингвиста. Значение работ Балли для развития теории высказывания в двадцатом веке было в центре доклада французской исследовательницы М.-К. Лала, сопоставившей, в частности, концепции Балли, О. Дюкро и М. Бахтина (В. Волошинова). А. Менье и М.-А. Морель (Франция) представили обстоятельный анализ разбросанных по разным работам Балли высказываний о фразовой интонации. Е. Вельмезова (Россия – Швейцария) посвятила свое сообщение рецепции и критике работ Балли в СССР и в России, а также о некоторых противоречиях в лингвистической концепции Балли, которые становятся очевидными только при переводе его работ на другой язык, в частности – на русский.

Анализ работ Балли, посвященных дидактике и методике преподавания языков, был представлен в докладах французских истори-

ков лингвистики Ж.-Л. Шисса и Д. Саватоски. В первом докладе речь шла о работах Балли, написанных им в связи с "кризисом французского языка". Само понятие "кризиса языка" было рассмотрено с точек зрения исторического дискурса о языке, истории дидактики и, наконец, эволюции этого концепта в работах самого Балли. Д. Саватовски рассказал о педагогической деятельности Балли, связанной, прежде всего, с преподаванием французского языка как родного. Исследователь подробно рассказал и о том, как именно Балли предполагал реформировать преподавание французского языка во франкоязычной Швейцарии, а также о том, в какой степени этот интеллектуальный проект был связан с исследованиями Балли в области стилистики. Ключевой вопрос доклада был поставлен следующим образом: почему реформы педагогической деятельности по преподаванию французского языка как родного (деятельность, которая должна была, по мнению Балли, способствовать прежде всего формированию сознания учеников), непременно требовали введения в школьную программу комплекса упражнений по риторике.

О "психологической составляющей" лингвистических работ Балли говорилось в докладах К. Пюеша и С. Статьюс (Франция), проанализировавших понятия "естественно усваиваемого" и "сознательно выучиваемого в языке", впервые встречающиеся у Балли в 1921 г. и очевидно заимствованные им у В. Апри. По мнению обоих докладчиков, эти понятия были напрямую связаны с дискуссиями о сознательном и бессознательном в языке в начале двадцатого века.

Наконец, целый ряд докладов был посвящен стилистической концепции Балли. Так, французский исследователь Э. Карабетян представил общий историко-эпистемологический анализ стилистической концепции Балли, формировавшейся в 1905–1929 гг. Как подчеркнул докладчик, появление в 1905 г. работы Балли "*Précis de stylistique*", несомненно, знаменовало начало нового периода в развитии стилистики, которая из литературной, по преимуществу, дисциплины, становится отныне объектом исследования лингвистов. Докладчик подробно остановился на влиянии на формирование взглядов Балли "лингвистической антропологии" В. фон Гумбольдта, Г. Штейнталя и, в особенности, В. Вундта. Отдельная часть доклада была посвящена "сосюррианской составляющей" в стилистической концепции Балли. О значении "Французской стилистики" Балли для развития гуманитарных наук в

двадцатом веке говорилось в докладе французского филолога Д. Комбе. По мнению докладчика, выбор в качестве объекта стилистики "обыденного языка" (а не языка литературных текстов) способствовал разрыву стилистики как особой дисциплины не только с литературной критикой, но и с риторикой. Ученики же Балли — и прежде всего, Ж. Марузо и М. Крессо — смогли вернуться к изучению литературных текстов лишь ценой "измены" доктрине своего учителя. Однако именно это позволило франкоязычной стилистической традиции сблизиться с немецкой, отнюдь не пренебрегавшей риторикой и

анализом литературных текстов. Швейцарский исследователь Ж.-М. Адам в своем сообщении представил сравнительный анализ понятий стиля и стилистики у Балли, а Э. Борда (Франция) рассказал о понятии метафоры во "Французской стилистике".

Основное содержание докладов было представлено в сборнике тезисов, изданных к коллоквиуму на французском языке. Все доклады организаторы коллоквиума планируют издать отдельным сборником.

*Е. Вельмезова (Москва)*



**УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ  
"ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ" в 2004 г.**

**СТАТЬИ**

Андреева С.В. Типология конструктивно-синтаксических единиц в русской речи .....	5
Апресян Ю.Д. О семантической непустоте и мотивированности глагольных лексических функций .....	4
Багана Ж. Морфолого-синтаксическая интерференция в условиях франко-конголезского билингвизма .....	4
Березович Е.Л. К этнолингвистической интерпретации семантических полей.....	6
Богуславская О.Ю., Левонтина И.Б. Смыслы 'причина' и 'цель' в естественном языке .....	2
Бурлак С.А., Иткин И.Б. Тохарский текст А 446: еще одна рукопись тохарской версии <i>Maitreyasamiti-Nāṭaka</i> .....	3
Вендина Т.И. Лексический атлас русских народных говоров (пробный выпуск): предварительные итоги .....	2
Григорьев В.П. Эвристика и 4-мерное пространство языка .....	5
Гуревич В.В. Актуальное членение предложения в его разных проявлениях .....	3
Гуреев В.А. Языковой эгоцентризм в новых парадигмах знания.....	2
Донец П.Н. К вопросу об исследовательской единице межкультурной коммуникации ..	6
Зализняк Анна А. Феномен многозначности и способы его описания.....	2
Зализняк А.А., Носов Е.Н., Янин В.Л. Берестяные грамоты из Новгородских раскопок 2003 г.....	3
Иванова Е.Ю. О перцептивности номинативных предложений .....	1
Казаковская В.В. Вопросо-ответные единства в диалоге "взрослый – ребенок" .....	2
Канеко Ю., Петрухина Е.В. Аспектуальная семантика в глагольных системах русского и японского языков (сопоставительный анализ фрагментов языковой картины мира).....	4
Кошелев А.Д. О концептуальных значениях приставки <i>o-/ob-</i> .....	4
Красавина О.Н. Употребление указательной группы в русском повествовательном дискурсе .....	3
Крейдлин Г.Е., Морозова Е.Б. Внутрязыковая типология невербальных единиц: бытовые поклоны .....	4
Лаптева О.А. Самоорганизация движения языка: внутренние источники преобразований (статья вторая).....	5
Левитская А.А. Аспектуальность в осетинском языке: генетические предпосылки, ареальные связи, типологическое сходство.....	1
Левцкий В.В. Аномальный аблаут в индоевропейском и германском .....	3
Ляшевская О.Н. О семантической числовой парадигме имен существительных (названия пищи в русском языке).....	1
Маньков А.Е. Происхождение категории рода в индоевропейских языках .....	5
Маслова Е.С. Динамика типологических распределений и стабильность языковых типов.....	5
Михайлова Т.А. "Пиктские" этнонимы на карте Птолема: эллиды .....	6
Молдован А.М. Славистика сегодня (о XIII-м Международном съезде славистов в Любляне) .....	3
Мурясов Р.З., Самигуллина А.С., Федорова А.Л. Опыт анализа оценочного высказывания .....	5
Мустайоки А., Копотев М. К вопросу о статусе эквивалентов слова типа <i>потому что, в зависимости от, к сожалению</i> .....	3
Николаева Ю.В. Функциональные и семантические особенности иллюстративных жестов в устной речи (на материале русского языка).....	4

Падучева Е.В. "Накопитель эффекта" и русская аспектология .....	5
Пеньковский А.Б. О развитии скрытых семантических категорий русского языка (от Пушкина до наших дней) .....	1
Рагозина И.Ф. О доказательстве-опровержении в русских и французских высказываниях (опыт контрастивного исследования) .....	6
Радченко О.А., Закуткин А.А. Диалектная картина мира как идиоэтнический феномен .....	6
Рахилина Е.В., Прокофьева И.А. Родственные языки как объект лексической типологии: русские и польские глаголы вращения .....	1
Рахманкулова И.-Э.С. К вопросу о теории аспектуальности .....	1
Санджи-Гаряева З.С. Андрей Платонов и официальный язык .....	1
Таривердиева М.А. Условные периоды в латинском языке (семантико-синтаксический очерк) .....	2
Урысон Е.В. Союзы <i>А</i> и <i>НО</i> и фигура говорящего .....	6
Ханина О.В. Желание: когнитивно-функциональный портрет .....	4

### ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

Алпатов В.М. Лингвистическая концепция А.И. Смирницкого (к 50-летию со дня смерти) .....	5
Потапов В.В. Владимир Николаевич Сидоров (к столетию со дня рождения) .....	1

### КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

#### Обзоры

Калнынь Л.Э., Клепикова Г.П. Вопросы диалектологии на XIII Международном съезде славистов .....	2
Колтунова М.В. Конвенции как прагматический фактор диалогического общения .....	6

#### Рецензии

Алпатов В.М. <i>Shoichi Iwasaki. Japanese</i> .....	5
Алпатов В.М. <i>Suzuko Tamura. The Ainu language</i> .....	3
Алпатов В.М. <i>В. Успенский. Труды по неформальной лингвистике</i> .....	4
Аркадьев П.М. <i>G.T. Stump. Inflectional morphology. A theory of paradigm structure</i> .....	2
Аркадьев П.М., Бурлак С.А. <i>A. Carstairs-McCarthy. The origins of complex language. An inquiry into the evolutionary beginnings of sentences, syllables, and truth</i> .....	6
Арутюнова Н.Д. <i>Тань Аошун. Проблемы скрытой грамматики: синтаксис, семантика и прагматика языка изолирующего строя (на примере китайского языка)</i> .....	3
Болдырев Н.Н., Кубрякова Е.С., Петрухина Е.В. <i>А.В. Бондарко. Теория значения в системе функциональной грамматики: на материале русского языка</i> .....	3
Грунтов И.А. Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Региональные реконструкции .....	2
Гусев В.Ю. <i>Z. Frajzngier. A Grammar of Lele</i> .....	4
Добровольский Д.О. <i>С.И. Лубенская. Большой русско-английский фразеологический словарь</i> .....	6
Елизаренкова Т.Я. <i>M. Mayrhofer. Die Personennamen in der R̥gveda-Samhitā. Sicherer und Zweifelhafte</i> .....	4
Живов В.М. <i>Compendium grammaticae Russicae (1731)</i> .....	1
Зайцева Н.Ю., Пиотровская К.Р. <i>М.А. Марусенко, Б.Л. Бессонов, Л.М. Богданова, М.А. Аникин, Н.Е. Мясоедова. В поисках потерянного автора: Этюды атрибуции</i> .....	4
Иткин И.Б. <i>D.Q. Adams. A dictionary of Tocharian B</i> .....	4
Крючкова Т.Б. <i>The handbook of language variation and change</i> .....	5

Кузнецова А.И. <i>Г.М. Керт. Применение компьютерных технологий в исследовании топонимии (прибалтийско-финская, русская); Г.М. Керт. Очерки по карельскому языку: Исследования и размышления; Прибалтийско-финское языкознание. Сборник статей, посвященный 80-летию Г.М. Керта</i> .....	5
Купина Н.А., Михайлова О.А. Современный русский язык: социальная и функциональная дифференциация .....	3
Ляшевская О.Н. <i>G.G. Corbett. Number</i> .....	2
Майсак Т.А. <i>B.D. Joseph, R.D. Janda (eds.). The handbook of historical linguistics</i> .....	5
Менцель Т. <i>М.В. Шульга. Развитие морфологической системы имени в русском языке</i> ...	5
Михайлова Т.В. <i>Е.У. Chirkova. In search of time in Peking Mandarin</i> .....	6
Оглоблин А.К. <i>Т.В. Дорофеева. История письменного малайского языка (VII – начала XX веков)</i> .....	6
Падучева Е.В. <i>С.Г. Татевосов. Семантика составляющих именной группы: кванторные слова</i> .....	6
Паперно Д.А. <i>R.M.W. Dixon, A.Y. Aikhenvald (eds.). Word: A cross-linguistic typology</i> .....	5
Петрухин П.В. <i>R. Benacchio. I dialetti sloveni del Friuli tra periferia e contatto</i> .....	6
Резникова Т.И. Reported discourse .....	2
Соколянский А.А. <i>Л.Л. Касаткин. Фонетика современного русского литературного языка</i> .....	5
Тестелец Я.Г. <i>А.Е. Кибрик. Константы и переменные языка</i> .....	6
Шагдаров Л.Д., Дондуков У.-Ж.Ш. Большой академический монгольско-русский словарь .....	2
Эдельман Д.И., Коган А.И. <i>H. van Skyhawk. Burushaski-Texte aus Hispar (Materialien zum Verständnis einer archaischen Bergkultur in Nordpakistan)</i> .....	1

#### Научная жизнь

Хроникальные заметки .....	1, 2, 3, 4, 5, 6
----------------------------	---------------------

**СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ РУССКИХ И ИНОСТРАННЫХ ИЗДАНИЙ,  
ПРИНЯТЫХ В ЖУРНАЛЕ "ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ"**

- БЕ – Български език  
ВДИ – Вестник древней истории  
ВИ – Вопросы истории  
ВСЯ – Вопросы славянского языкознания  
ВФ – Вопросы философии  
ВЯ – Вопросы языкознания  
ЕИКЯ – Ежегодник иберийско-кавказского языкознания  
ЖМНП – Журнал Министерства народного просвещения  
ЗВО РАО – Записки Восточного отделения Русского археологического общества  
ИАН СЛЯ – Известия АН СССР. Серия литературы и языка  
ИКЯ – Иберийско-кавказское языкознание  
ИОРЯС – Известия Отделения русского языка и словесности Имп. Акад. наук (Росс. АН), АН СССР  
ИЯШ – Иностранные языки в школе  
РЯНШ – Русский язык в нац. школе  
РЯШ – Русский язык в школе  
СбНУ – Сборник за народни умотворения  
Сб. ОРЯС – Сборник Отделения русского языка и словесности Академии наук  
СТ – Советская тюркология  
ТОДРЛ – Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы Академии наук (Пушкинского дома)  
ФН – Доклады высшей школы. Филологические науки  
ADAW – Abhandl. der Deutschen (Berliner) Akad. der Wissenschaften. Klasse für Sprachen, Literatur und Kunst  
AfsIph – Archiv für slavische Philologie  
AGL – Archivio glottologico Italiano  
AKGW – Abhandl. der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen  
AL – Acta linguistica  
AmA – American anthropologist  
ANF – Arkiv för nordick filologi  
AO – Archiv orientální  
APAW – Abhandl. der Preussischen Akad. der Wissenschaften. Philosoph.-hist. Klasse  
BCLC – Bullétin du Cercle Linguistique de Copenhague  
BPTJ – Biulétyn Polskiego towarzystwa językoznawczego  
BSLP – Bullétin de la Société de linguistique de Paris  
BSOS – Bulletin of the School of Oriental studies  
BzNf – Beiträge zur Namenforschung  
CAJ – Central Asiatic Journal  
CFS – Cahiers F. de Saussure  
CJ – The classical journal  
FPhon – Folia phoniatica  
FuF – Finnisch-ugrische Forschungen  
GL – General linguistics  
HR – Hispanic review  
IF – Indogermanische Forschungen  
IJ – Indo-Iranian journal  
IJAL – International journal of American linguistics  
JA – Journal asiatique  
JASA – Journal of the Acoustical society of America  
JEGPh – Journal of English and Germanic philology  
JL – Journal of linguistics  
JP – Język polski  
JRS – Journal of the Royal Asiatic society  
JSFOu – Journal de la Société finno-ougrienne  
JФ – Јужнословенски филолог

**KZ** – Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiete der indogermanischen Sprachen  
**LaPh** – Linguistics and Philosophy  
**Lg** – Language  
**LIn** – Linguistic Inquiry  
**LM** – Les langues modernes  
**MM** – Maal og minne  
**MSFOu** – Mémoires de la Société finno-ougrienne  
**MSLP** – Mémoires de la Société de linguistique de Paris  
**MSOS** – Mitteilungen des Seminars für orientalische Sprachen zu Berlin  
**NSS** – Nysvenska studier  
**NTS** – Norsk tidsskrift for sprogvidenskap  
**PBB** – Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur  
**PMLA** – Publications of the Modern Language Association of America  
**RES** – The Review of English studies  
**RÉG** – Revue des études grecques  
**RÉSI** – Revue des études slaves  
**RF** – Romanische Forschungen  
**RKJL** – Rozprawy Komisji językowej Łódźk. t-wa naukowego  
**RKJW** – Rozprawy Komisji językowej Wrocławsk. t-wa naukowego  
**RLing** – Russian linguistics  
**RLR** – Revue de linguistique romane  
**RO** – Rocznik orientalistyczny  
**RS** – Rocznik slawistyczny  
**SaS** – Slovo a slovesnost  
**SDAW** – Sitzungsberichte der Deutschen Akad. der Wissenschaften, Phil-hist., Klasse für Sprachen, Literatur und Kunst  
**SL** – Studia linguistica  
**SMS** – Sbornik matice slovenskej pre jazykozpyt, národopies a literárnu históriu  
**SPAW** – Sitzungsberichte der Preussischen Akad. der Wissenschaften  
**StO** – Studia orientalia  
**SWAW** – Sitzungsberichte der Wiener Akad. der Wissenschaften  
**TA** – Traduction automatique  
**TCLC** – Travaux du Cercle linguistique de Copenhague  
**TCLP** – Travaux du Cercle linguistique de Prague  
**TIL** – Travaux de l'Institut de linguistique  
**TPhS** – Transactions of the Philological society  
**UAJb** – Ungarische Jahrbücher  
**VR** – Vox Romanica  
**WW** – Wirkendes Wort  
**ZAS** – Zentralasiatische Studien  
**ZCPh** – Zeitschrift für celtische Philologie  
**ZDA** – Zeitschrift für deutsches Altertum  
**ZDMG** – Zeitschrift der Deutschen morgenländischen Gesellschaft  
**ZDPH** – Zeitschrift für deutsche Philologie  
**ZMaF** – Zeitschrift für Mundartforschung  
**ZNS** – Zeitschrift für neuere Sprachen  
**ZPhon** – Zeitschrift für Phonetik und allgemeine Sprachwissenschaft  
**ZRPH** – Zeitschrift für romanische Philologie  
**ZSL** – Zeitschrift für Slavistik  
**ZSLPh** – Zeitschrift für slavische Philologie

**К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ**

1. *Рукописи* представляются в двух экземплярах: текст и подстрочные примечания *должны быть набраны* через два интервала *на машинке или* через полуторный интервал *в электронном виде*. После подписи указываются сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, место работы, занимаемая должность, ученая степень, домашний адрес, телефон, E-mail адрес.

1.1. Редакция также принимает электронную версию материалов, полностью идентичную напечатанному оригиналу. В состав электронной версии статьи должны входить: файл, содержащий текст статьи, и файл(ы), содержащий(е) иллюстрации. Если текст статьи вместе с иллюстрациями выполнен в виде одного файла, то необходимо дополнительно представить файлы с иллюстрациями. На дискете желательно продублировать материалы в разных каталогах (на случай брака дискеты). Во избежание технических неполадок запись на дискете рекомендуется тестировать и проверять на вирусы.

1.2. *Подготовка электронной версии основного текста.*

Желательно представление основного текста статьи в формате Microsoft Word for Windows. При наборе используйте стандартные Windows True Type шрифты (например, Times New Roman, Courier New, Arial и т.п.). Все использованные в статье шрифты с нестандартными знаками желательно сохранить как отдельные файлы на дискете. Размер шрифта – 12.

Обращаем Ваше внимание на то, что строки текста в пределах абзаца не должны разделяться символом возврата каретки (обычно клавиша Enter). Тексты с разделением строк в пределах абзаца символом возврата каретки не могут быть использованы.

1.3. *Подготовка электронной версии графического материала.*

При подготовке графических файлов мы просим Вас придерживаться следующих рекомендаций:

- для растровых рисунков использовать формат TIF с разрешением 600 dpi, 256 оттенков серого;
- векторные рисунки должны предоставляться в формате программы, в которой они сделаны: CorelDraw (до версии 8.0), Adobe Illustrator (до версии 8.0), FreeHand (до версии 8.0) или в формате EPS.

- для фотографий использовать формат TIF не менее 300 dpi.

Если программа не является распространенной, то желательно дополнительно сохранить файлы рисунков в формате WMF или EPS.

Графические файлы должны быть поименованы таким образом, чтобы был понятен порядок их расположения. Каждый файл должен содержать один рисунок.

2. *Примеры* в журнале принято давать курсивом (подчеркивать в рукописи волнистой чертой), а значения их в кавычках.

3. *Библиография* в журнале оформляется следующим образом:

3.1. Список использованной литературы дается в конце статьи по алфавиту фамилий авторов и оформляется так:

- "Код работы" (фамилия, год выхода цитируемой работы), тире, инициалы и фамилия автора, название работы. В случае, если авторов больше двух, допустимо указывать только одного автора плюс выражение типа "и др." или "et al." .

- Если это монография, то после точки указываются место и год издания, например:

Успенский 1994 – Б.А. Успенский Краткий очерк истории русского литературного языка (XI–XIX вв.). М., 1994.

- Если это статья, то после двойного слэша (//) указывается журнал (допустимы при этом стандартные сокращения) или выходные данные сборника, например:

Трубецкой 1990 – Н.С.Трубецкой. Общеславянский элемент в русской культуре // ВЯ. 1990. № 2, 3.

- Если это сборник или иное аналогичное издание, то "кодом" является одно из двух:

- а) фамилия редактора (или редакторов; допустимы сокращения как и в ссылке на авторскую работу, см. выше) и год, тире, инициалы и фамилия редактора с указанием "ред." (для других языков – ed., hrsg. и т.п.);

б) сокращенное название и год.

Greenberg 1978 – *J. Greenberg (ed.)*. Universals of human language. V. I. Method and theory. Stanford (California), 1978.

Universals 1978 – Universals of human language. V. I. Method and theory. Stanford (California), 1978.

3.2. **В тексте ссылки на литературу** даются в квадратных скобках; фамилия (и инициалы автора, если это необходимо во избежание недоразумений), год публикации работы с указанием цитируемых страниц (если это существенно). Например [В.В. Иванов 1992 : 34], [W. Jones 1890]. Если в библиографии упоминаются несколько работ одного и того же автора и года, используются уточнения типа: [W. James 1890a].

4. **Подстрочные примечания** имеют сквозную нумерацию.

5. Непринятые рукописи не возвращаются.

6. Статьи, опубликованные или направленные в редакции других журналов, не принимаются.

7. Рецензии должны присылаться в редакцию вместе с экземпляром рецензируемой книги (по просьбе автора рецензии книга будет ему возвращена).

**Статьи, оформленные не в соответствии с указанными выше правилами, к рассмотрению в журнале "Вопросы языкознания" не принимаются.**

## CONTENTS

E.L. Berezovič (Ekaterinburg). On the ethnolinguistic interpretation of semantic fields; O.A. Radčenko, N.A. Zakutkina (Moscow). The dialectal "image of the world" as an idioethnic phenomenon; I.F. Ragozina (Dubna). On the proof-refutation in Russian and French utterances (a study in contrastive analysis); E.V. Uryson (Moscow). The Russian conjunctions *a* and *no* and the person of the speaker; M.A. Mixailova (Moscow). The Pict ethnonyms on Ptolemy's map: epidies; P.N. Donec (Kharkov). On the problem of the research unit in intercultural communication; **Surveys:** M.V. Koltunova (Moscow). Conventions as a pragmatic factor of dialogue communication; **Reviews:** Ya.G. Testelec (Moscow). A.E. Kibrik. Constants and variables of language; E.V. Padučeva (Moscow). S.G. Tatevosov. The semantics of the nominal group components: The quantor words; P.M. Arkadiev, S.A. Burlak (Moscow). A. Carstairs-McCarthy. The origins of complex language; T.V. Petrunin (Moscow). R. Benacchio. I dialetti sloveni del Friuli tra periferia e contatto; T.V. Mixailova (Moscow). E.J. Chirkova. In search of time in Peking Mandarin; A.K. Ogloblin (St.-Petersburg). T.V. Dorofeeva. The history of written Malay (VII – the beginning of the XX centuries); D.O. Dobrovol'skij (Moscow). *SI Lubenskaja*. The great Russian-English phraseological dictionary; **Chronicle features. Index of articles published in "Voprosy Jazykoznanija" in 2004.**

---

Сдано в набор 17.08.2004	Подписано к печати 08.10.2004	Формат 70 × 100 <sup>1/16</sup>		
Оффсетная печать	Усл. печ.л. 13,0	Усл. кр.-отг. 19,3 тыс.	Уч.-изд.л. 15,4	Бум. л. 5,0
	Тираж 1457 экз.	Зак. 8828		

---

Свидетельство о регистрации № 0110167 от 4 февраля 1993 г.  
в Министерстве печати и информации Российской Федерации  
Учредитель: Российская академия наук

---

Адрес издателя: 117997, Москва, Профсоюзная, 90  
Адрес редакции: 119019, Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2. Институт русского языка,  
телефон 201-25-16

Оригинал-макет подготовлен МАИК "Наука/Интерпериодика"  
Отпечатано в ППП "Типография "Наука", 121099, Москва, Шубинский пер., 6